

**Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ**

**СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ**

**И МАТЕРИАЛЫ**

**Б**

# Н. Г. Чернышевский

СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ  
И МАТЕРИАЛЫ

5

Под редакцией  
профессора Е. И. Покусаева

Издательство Саратовского университета

1968



В настоящем сборнике поднимается ряд важных вопросов литературного творчества и общественной деятельности Н. Г. Чернышевского. Анализируются эстетические взгляды, некоторые существенные элементы художественной системы писателя. Исследуются традиции Н. Г. Чернышевского в общественно-литературном движении 60—70 годов XIX века. В разделе публикаций освещаются разные периоды биографии великого демократа.

Сборник рассчитан на специалистов, студентов и преподавателей вузов и читателей, интересующихся вопросами литературы.

---

## ОТ РЕДАКТОРА

Предлагаемый читателю пятый выпуск серийного издания исследований и материалов посвящен важным вопросам литературного творчества и общественной деятельности Н. Г. Чернышевского.

В значительной части статей и сообщений анализируются его эстетические взгляды, теоретические принципы критического метода, историко-литературные концепции («Статьи Чернышевского и Добролюбова о Щедрине и вопросы теории критики», «Проблемы научной биографии писателя в трудах Чернышевского», «Чернышевский о художественно-философской прозе в русской литературе сороковых-пятидесятих годов», «Чернышевский и стихотворение Некрасова «Поэт и гражданин»). Некоторые существенные элементы художественной системы Чернышевского-романиста рассматриваются в статьях «О своеобразии психологического анализа в романах Чернышевского» и «О прототипах и «прототипической версии» в изучении художественных произведений Чернышевского».

Главное направление других работ — исследование традиций Чернышевского в общественно-литературном движении шестидесятых и семидесятых годов («Из истории журнальной полемики шестидесятых годов», «Этические проблемы демократической литературы шестидесятых—семидесятых годов», «Чернышевский и литературное народничество»). В последнее время все большее внимание историков и литературоведов привлекают сложные проблемы идейно-литературных связей и преемственности революционной демократии шестидесятых годов и позднейшего народничества. В этой области знаний далеко не все изучено и теоретически прояснено. Высказываются порой несовпадающие и даже резко расходящиеся суждения по одним и тем же вопросам. И в настоящем сборнике читатель отметит такое разноречие, например, в суждениях авторов статей о влиянии революционно-демократической идеологии шестидесятников, Чернышевского на формирование народнических этических и эстетических учений. Обнару-

дование противоположных мнений по вопросам спорным, малоразработанным представляется вполне целесообразным прежде всего в интересах дальнейшего всестороннего и глубокого их изучения.

По тем же мотивам в разделе публикаций, освещающих разные периоды общественно-литературной биографии великого демократа («Новые материалы о Чернышевском — учителе Саратовской гимназии», «Современники об идейной близости Некрасова и Чернышевского», «Чернышевский и цензура», «К. А. Федин о Чернышевском»), помещены полемические материалы на тему: был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Вопрос о принадлежности именно Чернышевскому знаменитой прокламации остается открытым и после проведенного С. А. Рейсером специального изучения истории ее появления<sup>1</sup>. Разного рода скептических точек зрения на этот счет придерживались, как известно, видные советские ученые — В. Е. Чехихин-Ветринский, Ю. М. Стеклов, М. Н. Покровский, одно время М. В. Нечкина и А. М. Панкратова, Н. А. Алексеев. Да и сам С. А. Рейсер, склонный поддерживать атрибутирование прокламации Чернышевскому, формулирует свои заключительные выводы в достаточной мере осторожно. «В результате исследований М. К. Лемке, Б. П. Козьмина и В. В. Нечкиной, — заявляет он, — имя автора прокламации (т. е. Н. Г. Чернышевского — Е. П.) может считаться установленным со значительной степенью вероятности. Впрочем, как и всегда в подобных случаях, при отсутствии совершенно бесспорных аргументов и при неясности и даже противоречивости существующих данных, некоторые сомнения и колебания неизбежно остаются»<sup>2</sup>. Неумолимый исследователь наследия и биографии Чернышевского, великолепный и долгое время единственный знаток его шифра, автор и редактор ценнейших публикаций, относящихся к судебному процессу и ссылке писателя-революционера, Николай Александрович Алексеев и раньше высказывал сомнения в принадлежности прокламации Чернышевскому. Теперь соответствующие материалы и соображения сведены в специальное сообщение, которое и печатается здесь в дискуссионном порядке.

Наряду с саратовскими авторами в данном выпуске участвуют ученые Москвы, Харькова и других городов СССР. В подготовке сборника принимала участие канд. филол. наук Г. Н. Антонова.

Сборник подготовлен к VI Международному съезду славистов.

<sup>1</sup> С. А. Рейсер. Прокламация Н. Г. Чернышевского «Барским крестьянам». (Историография. Текстология). — В сб.: Книга. Исследования и материалы. XIV, М., 1967, стр. 206—235.

<sup>2</sup> Там же, стр. 223.

# I. ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ

М. Г. ЗЕЛЬДОВИЧ

## СТАТЬИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО И Н. А. ДОБРОЛЮБОВА О ЩЕДРИНЕ И ВОПРОСЫ ТЕОРИИ КРИТИКИ

Как это ни парадоксально, но многие произведения классиков русской критики (об авторах второстепенных уже не говорим) меньше всего изучены как явления самой критической мысли с присущими ей специфическими проблемами, исканиями, творческими достижениями. Критическая статья или рецензия как отклик на художественное произведение, оценка его и «комментарий» к нему как отражение борьбы идей — этот угол зрения, разумеется, вполне правомерный, оказывается нередко если не единственным, то полностью господствующим. Едва ли надо доказывать, однако, что при таком подходе более или менее интенсивно идущему накоплению материала далеко не всегда сопутствуют равновеликие успехи в его осмыслении, притом успехи, которые способствовали бы построению теории и истории критики как целостной научной концепции.

В общем, это ощутимо даже в судьбе статей Чернышевского и Добролюбова о «Губернских очерках», хотя они оказались в «привилегированном» положении. Ведь, кроме монографий о Щедрина, они в историко-литературном плане специально изучались в работах Е. И. Покусаева<sup>1</sup> и Г. В. Иванова<sup>2</sup>, а статья Чернышевского исследована со стороны ее методологии, проблематики, мастерства и Б. И. Бурсовым<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Е. И. Покусаев. «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина и обличительная беллетристика 50-х годов в оценке Чернышевского и Добролюбова. — Ученые записки Саратов. пед. ин-та, Саратов, 1940, вып. 5.

<sup>2</sup> Г. В. Иванов. Добролюбов и «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина. — В сб.: Н. А. Добролюбов — критик и историк русской литературы. Л., Изд. Ленинград. ун-та, 1963.

<sup>3</sup> Б. И. Бурсов. Мастерство Чернышевского-критика. Л., «Советский писатель», 1956, стр. 119—121, 212—239 и др.

В предлагаемой работе статьи Чернышевского и Добролюбова рассматриваются как факты собственно русской критики, прослеживается преемственность и вместе с тем своеобразие аналитической мысли великих критиков. Прежде всего это касается творческого применения «идеи социальности» (термин Белинского) и связанной с нею социальной типологии в практике конкретного разбора — от его исходных принципов до логико-композиционной структуры<sup>1</sup>.

## 1

Творческий путь Добролюбова знаменателен обретением синтетического метода, способного сочетать решение различных по своему характеру задач критики в целостном разборе художественного произведения. Уточним: речь идет именно о целостности и многогранности анализа, а не об абсолютном равноправии всех компонентов его. Но это — постепенно и, видимо, без заранее заданной цели формирующееся творческое завоевание Добролюбова. Одна из первых его больших статей о современной литературе, вызванная «Губернскими очерками» Щедрина («Современник», 1857, № 12), — веское свидетельство того, как стремительно двигался Добролюбов к своим вершинным достижениям и какие трудности, противоречия преодолевал на пути к ним.

Статья начинается кратким вступлением чуть ли не фактического характера, посвященным автору «Губернских очерков» и современной *литературе*. Однако незамедлительно происходит смена темы: ею становится современная *общественная жизнь*. И не только для того, чтобы объяснить перемены в литературе и в отношении общества к рассказам в «щедринском роде». Тема современной общественной жизни имеет для Добролюбова прежде всего самостоятельное значение. Больше того: сама литература в данном случае привлекает к себе внимание как своего рода проявитель симптоматических особенностей жизни общества, как средство постичь перемены общественных настроений, исследовать идейно-политические возможности различных социальных групп. И назначение литературного зачина в конечном счете заключается в том, чтобы «вызвать» и ввести в статью ее собственно *публицистическую* тему.

Логика здесь такова. Сперва устанавливается, что литература по-прежнему отважно борется «на поле бескровной битвы» «всемогущим оружием слова» (II, 119). Затем констатируются перемены в отношении общества к столь близко при-

---

<sup>1</sup> Цитаты приводятся по следующим изданиям: Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., М., Гослитиздат, 1939—1953; Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9-ти т., М. — Л., Гослитиздат, 1961—1964; первая цифра в скобках обозначает том, вторая — страницу.

нятым поначалу обличительным стремлениям беллетристов: «теперь нет уже ни в публике, ни в литературе прежнего увлечения, прежней горячности», «многие донашивают теперь сочувствие к общественным вопросам, как старомодное платье» (II, 119). И еще точнее: «в деятельности, в жизни общества мало оказывается результатов от всех восторженных разговоров, чем и доказывается, что большинство наших доморощенных прогрессистов играло до сих пор, по выражению г. Щедрина, «не внутренностями, а кожей» (II, 123—124). В результате критик ставит себя (и читателя) перед необходимостью объяснить столь остро очерченные им перемены, осознать, случайно или закономерно и если закономерно, то чем вызвано поведение «большинства наших доморощенных прогрессистов».

Пока что, однако, задача статьи определилась лишь в плане публицистическом и только в самой общей зависимости от книги Щедрина. Но затем Добролюбов обосновывает и специфическую связь своего публицистического замысла именно с третьим томом «Губернских очерков». Как это сделано? Добролюбов завершает характеристику поведения русского общества за последние два года такими многозначительными словами: «русское общество разыграло в некотором роде талантливую натуру» (II, 124). В том-то и дело, что здесь не простое «применение» формулы, успевшей стать нарицательной<sup>1</sup>, не отдаленная аналогия, но прямое *объяснение* интересующих критика фактов, явлений, процессов, правда, еще нуждающееся в развертывании.

Как бы там ни было, но уже в начале статьи определена конкретная связь особенностей русской жизни последних лет с персонажами Щедрина (хотя генетически зависимость здесь, разумеется, прямо противоположная). Отсюда уже один шаг до обоснования предмета статьи, притом под строго определенным, подготовленным всем предшествующим изложением углом зрения. Наше общество уподобилось «талантливой натуре» — из разряда очерченных Щедриным, так давайте поразмыслим о «сущности этого типа и о значении его в нашем обществе» (II, 125). И вслед за этим — мотивировка уже собственно литературной темы статьи: «Поэтому мы решаемся подробнее рассмотреть эти натуры, в которых, по нашему мнению, довольно ярко выражается господствующий характер нашего общества» (II, 125).

Изучить примечательные тенденции современной общественной жизни через анализ типических художественных обра-

---

<sup>1</sup> Что было, кстати сказать, подготовлено ее предшественницей, формулой Белинского «гениальная натура», повлиявшей, по-видимому, уже на Тургенева, роман которого «Рудин» первоначально, как известно, был озаглавлен именно этой формулой.



зов — так понимает Добролюбов свою задачу. Но были различные способы для ее осуществления — даже в границах уже определившегося общего намерения, которое предвещало господство именно публицистической темы. Во всяком случае творческий опыт Добролюбова в последующие годы принесет разнообразные решения сходных литературно-критических замыслов.

Пока же он имел перед собою пример Чернышевского, написавшего о «Губернских очерках» политически актуальную и вместе с тем литературно-аналитическую статью, проникавшую в самую суть концепции книги. Стоит напомнить, что статья Чернышевского — это работа о методе Щедрина прежде всего. О методе, которым писатель определенным образом связан с действительностью, с помощью которого он воплощает и отношение к ней, и, подспудно по крайней мере, наводит на мысль о предполагаемых и единственно закономерных принципах ее изменения.

Но одновременно статья Чернышевского о Щедрине, это обстоятельство обычно недооценивается, — выступление, чрезвычайно значительное и для самой критики, не только для ее истории, но и для теории. Чем глубже мы постигаем особенности подхода Чернышевского к художественному произведению, найденные им способы осуществления публицистической и собственно литературной задачи, тем яснее методологическое значение его работы.

Об этом отчасти и прямо сказано самим Чернышевским. Сознание необходимости правды в литературе победило, и это большое завоевание школы Гоголя и Белинского. Но завоевание, которое надлежит довести до конца, решая и в каждом отдельном случае и вообще, принципиально по крайней мере один вопрос, возникающий по поводу художественной правды и особенно важный сейчас применительно к произведениям критического направления. «Далеко еще не все согласны в том, какой существенный смысл имеют сочинения, одобряемые всеми за правдивость» (IV,264). Точнее говоря, остается открытым вопрос об *отношении* к художественно правдивым образам прежде всего со стороны писателя, создавшего их, а затем и со стороны читателя, который на этом отношении строит и свои выводы не только о книге, но и об описанной в ней жизни. Само возникновение подобной проблемы по-своему закономерно, ибо вызвано своеобразием художественного познания. «Сущность беллетристической формы, чуждой силлогического построения, чуждой выводов в виде определительных моральных сентенций, оставляет в уме многих читателей сомнение о том, с каким чувством надобно смотреть на лица, представляемые нашему изучению произведениями писателей, идущих по пути, проложенному Гоголем» (IV,264). Закономерность возникновения проблемы оз-



начает и закономерную обязанность критики завершить объяснение жизни, начатое и осуществляемое художником. Но имеются в виду, отнюдь, не просто «эмоции», в окраске которых надо воспринимать литературные образы (здесь как раз и сам художник справится вполне!). Недаром, заговорив о «чувствах», о том, что возбуждают все эти Порфирии Петровичи, Фейеры, Ижбурдины — ненависть или жалость, Чернышевский тут же переводит разговор в иной план и формулирует суть задачи так: «надобно ли считать их людьми дурными по своей натуре, или полагать, что дурные их качества развились вследствие посторонних обстоятельств, независимо от их воли» (IV,265). Иными словами, в центр внимания поставлен сам способ объяснения характера, а в связи с этим и действительности в художественном произведении. Мотивировка здесь имеет одновременно и универсальный, и частный характер. Универсальный, ибо опирается на специфику литературной формы вообще. Частный, поскольку прямо касается все-таки отдельно взятой задачи, а не всей совокупности задач, возникающих при попытке проанализировать структуру и принципы художественного отражения жизни в данной конкретной вещи. Поэтому суждения Чернышевского, в конечном счете обращающие нас к творческому методу писателя, как он, этот метод, практически воплотился в произведении, суждения, которые на деле привели к разбору важнейшего компонента метода Щедрина, не стали теоретическим обоснованием проблемы метода писателя в целом, ее сущности и места в литературно-критическом анализе. Но практически, повторяем, они к этой проблеме привели. Ибо для выяснения природы и смысла художественной правды, способа ее раскрытия, — а именно эта задача скрывалась за проблемой отношения к героям критико-реалистической литературы — потребовалось поставить в центр анализа соотносительность характеров и обстоятельств, то есть основополагающую проблему реалистического метода. Известно, что анализ этот вылился в характеристику «идеи социальности» применительно к «Губернским очеркам». Но в действительности замысел Чернышевского несравненно шире и преследует программные цели. Подчеркнем: на этот раз речь идет не только об объективном значении сделанного Чернышевским, но и о сознательно поставленной им перед собою задаче. Задаче, о масштабах которой он прямо говорит. Разбор книги Щедрина Чернышевский в сущности рассматривает как своего рода эксперимент, призванный, подобно лабораторному опыту, на «частице» материи показать ее общие закономерности.

В самом деле, Чернышевский сперва отвергает мнение, будто образы, созданные «Гоголем и его последователями» (IV,266), то есть всем современным критическим направлением, а не отдельными его представителями, не специально

голько Щедриным, это чудовища, лишённые добрых человеческих чувств. А затем критик следующим образом мотивирует конкретную цель своего обращения к «Губернским очеркам». «Чтобы убедиться в том (в правоте взгляда Чернышевского на природу отрицательных образов в критическом реализме — М. З.), попробуем внимательнее посмотреть на людей, встречающихся нам в рассказах Щедрина. Мы берем его «Губернские очерки» для этого испытания, потому что ни у кого из предшествовавших Щедрину писателей, картины нашего быта не рисовались красками более мрачными. Никто (если употреблять громкие выражения) не карал наших общественных пороков словом, более горьким, не выставлял перед нами наших общественных язв с большею беспощадностью» (IV.266—267. Подчеркнуто нами — М. З.).

Герцен писал, что в «Былом и думах» история отражена в человеке, случайно повстречавшемся ей на пути. Случайность была, однако, только в том (да и то лишь в известном смысле), какой человек столь полно выразил своей биографией движение времени. Но сам принцип воплощения истории в человеке глубоко закономерен. Так и в статье Чернышевского: он относит к случайностям (опять-таки лишь в известном смысле, ибо, не обладай книга Щедрина характерными признаками критического реализма, она в данной связи не попала бы в поле зрения Чернышевского) выбор для анализа именно «Губернских очерков», но зато подчеркивает тем самым общезначимость самой проблемы и принципиальных выводов из рассмотрения ее на «частном случае».

Общезначимостью обладали они — и сама проблема, и методологические выводы из нее — не только для художественного творчества, но и для его анализа, значит — для литературной критики. Разумеется, речь идет прежде всего о той же «идее социальности», на которой построен анализ «Губернских очерков» в статье Чернышевского. В сущности, это была первая работа в русской критике, последовательно осуществившая идею социальности как принцип литературно-критического анализа в целостном и многогранном разборе художественного произведения. Опираясь на идеи Белинского, на его разборы и определившиеся, но не вполне реализованные в них творческие перспективы (уместно напомнить и об известной неудовлетворенности автора «Очерков гоголевского периода» методом своего предшественника), Чернышевский аналитически показал и суть идеи социальности, и таящиеся в ней возможности для критики, возможности, которые он здесь же реализовал.

Статья Чернышевского о Щедрине свидетельствовала: исследование социальных предпосылок характеров, созданных художником-реалистом, раскрытие «социальных смыслов

фактов — материала книг»<sup>1</sup>, обращает критику не только к авторскому замыслу и его осуществлению, но и к объективному содержанию произведения в его реальной сущности и к самой этой жизненной реальности непосредственно<sup>2</sup>.

А отсюда уже один шаг до прямого, публицистического обсуждения истоков характера, социально-исторических условий его формирования, в конечном счете — всего строя общественных отношений. Критика получает возможность, не отрекаясь от своей природы, войти в гущу общественно-политической борьбы современности.

## 2

Тем примечательнее, что нападки на статью Чернышевского были прежде всего направлены против утверждавшихся им принципов социального анализа. Это относится к обоим наиболее значительным выступлениям по поводу «Губернских очерков» за пределами «Современника» — к статьям П. Басистова и Е. Эдельсона. Хотя статья П. Басистова не отличается доказательностью, он оперирует критериями содержательными. Но в данном случае, чем серьезнее критерии, тем сильнее натиск на критико-эстетические идеи Чернышевского. Отрицая правдивость «Губернских очерков» и признавая в них лишь фактическую достоверность описаний, то есть нечто не поднимающееся до подлинной правды искусства, П. Басистов отрицает почти нацело типичность щедринских образов, убедительность художественных мотивировок<sup>3</sup>. Это означало, что отвергается и вся система суждений Чернышевского, в которой правда, типичность, принцип социальности были, естественно, неотделимы друг от друга.

В статье Е. Эдельсона особенностью Щедрина сочтена «мягкость человеческих отношений писателя к изображенным им личностям, которая заставляет нас узнавать человеческие черты в самых отвратительных типах»<sup>4</sup>. Хотя Эдельсона интересует скорее мировоззрение, чем метод автора «Очерков»,

<sup>1</sup> М. Горький. Собр. соч. в 30-ти т., т. 27, М., Гослитиздат, 1953, стр. 216.

<sup>2</sup> Чернышевский хорошо сознавал правомерность и необходимость такого подхода к художественному произведению, в частности, в современной ему общественно-литературной ситуации. Впоследствии в повести «История одной девушки», откликаясь на добролюбовский анализ романа «Обломов», он внушил критику Благодатскому (под этим именем изображен Добролюбов) знаменательное признание на этот счет (XIII, 872).

<sup>3</sup> П. Басистов. «Губернские очерки»... Щедрина.—«Отечественные записки», 1857, № 8, отд. II, стр. 82—83. Об устойчивости подобной оценки свидетельствует и то, что она была повторена даже А. Котляревским («Московское обозрение», 1859, № 2. Современная литература, стр. 46—48).

<sup>4</sup> Е. Н. Эдельсон. Н. Щедрин и новейшая сатирическая литература. — «Утро», литературный сборник. М., 1859, (ценз. разреш. 15 декабря 1858 г.) стр. 352.

здесь критик затрагивает вопрос, обращенный одновременно к обеим этим проблемам. И именно здесь, очень может быть преднамеренно, он соприкасается с выводами Чернышевского. По форме — вроде бы приближаясь к ним, а по сути — оспаривая их.

Известно, что Чернышевский принял позу «защитника» персонажей «Очерков». Он даже писал о большинстве героев Щедрина: «в них вы откроете подле дурных качеств и некоторые черты, примиряющие нас с их личностью» (IV,267). Но цель Чернышевского особая: «защищая» личности, показать ответственность общественных обстоятельств. Можно ли это понять как «мягкость отношений писателя к изображаемым им личностям»? Ни в малой степени, ибо речь идет о том, чтобы выяснить первопричины зла, а не об оправдании его носителей. Если первопричина и вне личности, то это еще не реабилитирует ее, когда она виновна перед обществом, перед жертвами зла.

Впоследствии в «Господах ташкентцах» Щедрина тоже поставит вопрос об «отношении писателя к типам, им изображаемым». Обстоятельства изменятся и будет возможно судить более диалектично, чем это дано было Чернышевскому в канун революционной ситуации. Щедрин признает «законным и разумным» одни социальные типы «обвинять», а другие «ставить на пьедестал». Ибо одно дело — социальные *генезис* зла, а другое дело — его социальные *последствия*, которые ведь не существуют вне людей и помимо людей как некие «надличностные» силы. «В этом случае и сочувствие и негодование устремляются не столько на самые типы (то есть и на самые типы — М. З.), сколько на то или иное воздействие их на общество»<sup>1</sup>.

При исторически объяснимом различии акцентов позиция Чернышевского — критика «Губернских очерков» и позиция автора «Господ ташкентцев» в принципе совпадают. Е. Эдельсон же не видит способа совместить человечность и беспощадность в изображении зла, хотя у Щедрина это две стороны единой *творческой* идеи, идеи социальности. Место находится только для «мягкости», и, когда Эдельсон не обнаруживает ее в «Очерках», он сурово порицает автора.

Итак, внешне созвучное в суждениях Чернышевского и Эдельсона на поверку оказывается глубоко различным. Различным по самой сути и по характеру аргументации. Чернышевский опирается на анализ особенностей метода автора «Губернских очерков», как бы скрытой стороны его отношений к человеку, к действительности. Эдельсон идет от наблюдений над конечными результатами творчества как таковыми, взятыми сами по себе. Но как раз сами по себе они вовсе не

<sup>1</sup> Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч. в 20-ти т., т. X, М., Гослитиздат, 1933 — 1941, стр. 57.

однозначны и требуют осмысления своих истоков, стоящей за ними философии жизни. Недаром свою статью Чернышевский и начал с обоснования необходимости выяснить существенный смысл художественной правды.

Полемика Эдельсона с Чернышевским касалась поэтому и оценки конкретного произведения, и общих принципов литературной критики, путей и способов критического анализа. Это был спор не случайный: его питали глубокие различия не только в идейной, но и в эстетической позиции, ближайшим образом — в понимании художественности и отношения к ней автора «Губернских очерков». Для Чернышевского он — достойный представитель гоголевского направления, исследователь и критик идущий в глубь жизни и поэтому предоставляющий и критике возможность исследовательски к ней отнестись и своими выводами усилить общественное значение творческих завоеваний писателя. Для Эдельсона Щедрин — автор, преследующий нехудожественные цели и поэтому довольствующийся «полухудожественной» формой, а «Губернские очерки» — произведение без открытий, без широкого поэтического мирозерцания, место которого занимают идеи заемные и рассчитанные на немедленный общественный отклик<sup>1</sup>. При таком восприятии писателя у критика просто нет внутреннего стимула для подлинно аналитического подхода к его произведению, для пытливого осмысления способа типизации, социально-психологических мотивировок, жизненной емкости характеров и обстоятельств<sup>2</sup>. Больше того: попытки подобного рода расценивались Эдельсоном как безусловно враждебные природе искусства вообще. Выступления Чернышевского и его единомышленников якобы свидетельствуют, что они не ценят таланта, смешивают художественную литературу с литературой вообще и в одинаковой степени требуют от них решения общественных вопросов<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Однако даже такая оценка вызвала упреки Ап. Григорьева в неподсказательности и «мягкости» тона (рецензия на сборник «Утро». — «Русское слово», 1859, № 2, отд. II, стр. 149).

<sup>2</sup> Свою роль здесь сыграло и недоверие Эдельсона в эту пору к эстетическим и общественным возможностям сатиры, которая якобы лишена силы поэтизации, стремления к идеалу, а поэтому — способности к широкому обобщению, открывающим людям перспективы жизни. — См.: фрагмент Е. Эдельсона «Невыгоды натурального направления», датированный 9 июля 1857 г. (ЦГАЛИ, ф. 1206, оп. 1, ед. хр. 125, лл. 1—3). Впоследствии взгляды Эдельсона изменяются, и это наложит отпечаток на его суждения о Щедрине (см. Е. Эдельсон. Наша современная сатира. — «Библиотека для чтения», 1863, № 3, 9), которые теперь становятся основательнее и объективнее.

<sup>3</sup> При всем том позицию самого Эдельсона в статье о Щедрине Добролюбов расценил как «умеренно утилитарную» (4, 134) — свидетельство тех противоречий между тягой к «чистой художественности» и сочувствием новым общественным веяниям в литературе, которые со временем явственно обострялись у Эдельсона и так и не были им «примирены» в целостной эстетической концепции.



Между тем в статье Чернышевского в плане методологии и мастерства как раз то и знаменательно, что, ничего не «требуя» от писателя и ничего ему не навязывая, она обращена к конкретности художественного произведения и даже построение сугубо публицистические в ней «не исключают, а предполагают литературный анализ и целиком опираются на него»<sup>1</sup>. Мало того, усилия Чернышевского именно к этому сознательно и направлены: «В слиянии двух целей статьи—публицистической и литературной в наибольшей степени в данном конкретном случае сказалась сила мастерства Чернышевского—критика»<sup>2</sup>.

### 3

Статья Чернышевского о «Губернских очерках» имела для Добролюбова значение первостепенное. Но творчески это обнаружилось не столько в его отклике на третий том книги Щедрина, сколько впоследствии, начиная примерно с разбора романа «Обломов» (если иметь в виду именно метод и мастерство критического анализа). Добролюбову еще предстояло найти свои собственные пути творческого осуществления наиболее перспективного в принципах, блистательно воплотившихся в работе Чернышевского. Статья Добролюбова о «Губернских очерках» сближается со статьей Чернышевского преимущественно в самых общих установках анализа и эстетических критериях. «Сопряжение» литературы и политики на основе публицистически заостренных выводов из объективного содержания реалистического произведения, широкое осмысление социальной типичности образов, в которой прежде всего и усматривается правдивость творчества, — вот что здесь должно быть названо в первую очередь. Но за этими границами как раз и начинаются различия, касающиеся уже самого способа осуществления сходных задач и реализации одних и тех же критериев. Как и обычно в подобных случаях, различия ощутимее всего там, где явственнее сходство.

Уже самой постановкой острейшей проблемы на материале «Губернских очерков» (общественный прогресс, возможности и судьбы различных классов, самоуверенные претензии и пошлая реальность либерализма) Добролюбов, как и Чернышевский, признал их жизненную достоверность: правдивость автора, создавшего типические по глубине и емкости образы, пронизательность художника, которого не обманула видимость фактов и который сумел проникнуть в их сокровен-

---

<sup>1</sup> Б. И. Бурсов. Мастерство Чернышевского—критика, стр. 214—215.

<sup>2</sup> Там же, стр. 239.

ную сущность<sup>1</sup>. Строго говоря, это не различные качества, а разные грани единой, но всеобъемлющей по своему значению способности писателя-реалиста.

Однако именно поэтому в них надо еще открыть индивидуальное содержание и целенаправленность. Чернышевский делает это прежде всего путем анализа принципа социальности в книге Щедрина, но опять-таки не вообще, а в конкретном воплощении его в характерах и обстоятельствах. Разборы Чернышевского отличаются пристальным интересом к индивидуальной, но в своей индивидуальности и типической психологии персонажа (в частности, Буеракина), к самому ходу его раздумий, к своеобразию логики суждений, к их содержательно-экспрессивным оттенкам. Чернышевский уверенно делает и свои выводы о характере того же Буеракина, высказывает догадки, как бы предвосхищающие его «готовности». Поскольку все это в конечном счете объясняется соотношениями не отвлеченно-психологическими, а социально конкретными, то помимо цели публицистической одновременно достигаются и цели специально литературные: характеризуется своеобразие персонажей «Губернских очерков» и выясняется та особая «материя» принципа социальности, в которую он воплощен Щедриным, притом именно в данном произведении, на данной стадии развития его таланта. Поэтому в анализе Чернышевского органически сочетается литературный разбор (по-своему, конечно, понятый и оригинально осуществленный) и публицистические аргументы, приемы, выводы.

Как же с этой точки зрения обстоит дело в статье Добролюбова о «Губернских очерках?».

*Прямым* и развернутым анализом метода Щедрина или даже такого ее компонента, как «идея социальности». Добролюбов не занимается. Но едва ли это в данном случае может как-то характеризовать направленность интересов критика: как раз потому, что с помощью анализа метода Чернышевский уже проник в творческие основы книги, окончание которой разбирал Добролюбов, он мог считать эту задачу в принципе решенной и просто опираться на результаты своего предшественника. В самом деле, ведь пишет же Добролюбов о «силе враждебных обстоятельств», об «ответственности окружающей... среды» (II, 126) при характеристике «талантли-

---

<sup>1</sup> Этот исходный, сам собою подразумеваемый и всем содержанием статьи доказываемый тезис Добролюбова можно рассматривать и как ответ критикам, вроде П. Басистова, отрицавшим типичность щедринских образов вообще, и критикам, вроде А. Студитского (См.: «По поводу «Губернских очерков». — «С. Петербургские ведомости», 1857, № 203, 20 сентября, стр. 1041), недооценивавшим общественно-литературную поучительность уже специально «талантливых натур».

вых натур» в жизни, без аналитической связи с щедринскими образами, но в преддверии прямого разговора о них.

Когда впоследствии этого потребует общественно-литературная ситуация, Добролюбов и прямо скажет в «Письме из провинции» (VII,351) и «Забитых людях» (VII,244) о методе Щедрина, о его отношении к принципу социальности. Больше того, и сейчас Добролюбов находит такие грани принципа социальности, которые Чернышевский по сути своего замысла, по логике статьи не мог сделать предметом специальных рассуждений. Если человек обусловлен средой и зависит от нее, то значит ли это, что он свободен от ответственности, поскольку не свободен в своих поступках, в своей психологии? Так можно сформулировать вопрос, который именно в связи с третьим томом «Губернских очерков» приобретал особую актуальность для демократической критики. Ведь теперь к образу Буеракина присоединилась целая галерея «талантливых натур», и как раз применительно к ним обсуждение вопроса об ответственности личности давало возможность сказать много политически злободневного о либерализме, о «лишних людях», о подлинно революционных силах общества.

В статье Добролюбова характеристика метода Щедрина и уточняется именно в этом плане. Разумеется, уточняя, он подтверждает незыблемость самого принципа социальности, как этот принцип истолкован Чернышевским. Но, хотя Добролюбов делает оговорки, чтобы подтвердить решающую роль общественных предпосылок во всем строе характера и поведения человека<sup>1</sup>, в статье появляется новый мотив. Мотив *сопротивления* «силе враждебных обстоятельств» (II,126). Самая возможность противодействия среде заставляет по-новому взглянуть на личность, предъявить ей требование быть на высоте этой возможности — гуманизм предстает не только

<sup>1</sup> По предположению Е. Дрыжаковой, Добролюбов при этом полемизировал с Дружининым, который в статье о Тургеневе связывал появление «лишних людей» не только со средой, но и с обстоятельствами «вечными», внесоциальными (см.: М. И. Гиллельсон, Е. Н. Дрыжакова, М. К. Перкаль, А. И. Герцен. Семинарий. М.—Л., «Просвещение», 1965 стр. 79). Гипотезу эту можно, как нам кажется, дополнить и тем самым уточнить. Дело в том, что в статьях Дружинина и Добролюбова выражено и различное понимание самого общественного назначения человека. Позиция Дружинина, пожалуй, сказала наиболее определенно в следующей его сентенции по поводу образа Рудина: «Сама задача заключается в жизни, в сильном и непреложном примирении с жизнью, в неотступном и благотворном влиянии на общество... Рудин и целая семья Рудиных не поняли той задачи, о которой мы говорили сейчас...» (А. Дружинин. Повести и рассказы И. С. Тургенева. — «Библиотека для чтения», 1857, № 5, отд. V, стр. 39). Влияние на общество мыслилось Дружининым на основе примирения с жизнью. Добролюбов же, как мы сейчас увидим, говорит о *сопротивлении* человека враждебным обстоятельствам. Кстати, если изложенные предположения справедливы, то перед нами — первый по времени эпизод борьбы Добролюбова против либеральной критики по вопросу о «лишних людях».



как идея преобразования обстоятельств, но и как идея изменения самого человека. Мотив «сопротивления» возникает у Добролюбова одновременно и для характеристики метода писателя, и как критерий оценки персонажа, его общественной «стоимости» прежде всего.

Однако в главном добролюбовский анализ развивается в иной плоскости. Мотивировка предстоящего разбора «Губернских очерков», как мы помним, была сугубо публицистической. Какими же средствами осуществляется сам разбор, как в нем заявляет себя индивидуальность критика?

В статье Чернышевского анализ образа Буеракина строится так, чтобы разъяснить обусловленность «талантливой натуры» ее общественным положением, которое побеждает «зигзаги» в рассуждениях и действиях, подчиняя себе в конечном счете все устремления Владимира Константиновича. Психологический анализ, которому критик подвергает образ Буеракина «дополнительно», как бы развивая Щедрина, служит этой же цели. Можно сказать, что социальный детерминизм, обосновываемый в статье Чернышевского как принцип *критического реализма*, подтверждается изучением сложного рисунка отдельного образа и вместе с тем «трансформируется» и в *принцип критического анализа*. Весь фрагмент о Буеракине зиждется на восхождении к социальной первооснове характера, и самые его противоречия (кажущиеся) также осмысливаются как закономерное отражение этой первоосновы.

Для Добролюбова принцип социального детерминизма тоже становится и принципом критического анализа. Но применяется он им для иной, новой цели и иным, своеобразным способом. После того, как Чернышевский показал «решительную силу» «положения человека» над его деятельностью и убеждениями (IV, 292), Добролюбов делает следующий шаг в решении единой по своей сути публицистической задачи и исследует, на что способны «талантливые натуры», чего от них можно ждать и чего ждать не следует, каково их место в структуре современного общества. Такого рода замыслы предопределили преимущественный интерес критика к общему, типологическому в персонажах щедриновской портретной галереи. Вместе с тем, подобной цели как раз и соответствовали те возможности *обобщения* и *объяснения*, которые таятся в принципе социальности и делают его незаменимым при исследовании законообразности жизненных фактов и ее литературных отражений.

С известной долей схематизации можно утверждать, что если Чернышевский сосредоточивается на индивидуальном в персонажах «Губернских очерков» и типическое усматривает собственно в индивидуальном, то Добролюбов, придерживаясь такого же взгляда, стремится к обобщениям, так ска-

зять, более высокого порядка и иной структуры. Он возводит индивидуальное ко всеобщему для данного разряда персонажей (и их жизненных прототипов), сплачивая свои наблюдения над «талантливыми натурами» как бы в один собирательный образ. Пользуясь любимым словом Л. Толстого, прием этот можно было бы назвать «генерализацией»<sup>1</sup>. Насколько он существенен и необходим для решения возникшей перед Добролюбовым задачи показывает и общая композиция статьи, и ход авторской мысли, и соотношение отдельных фрагментов — характеристик с соответствующими «портретами» в «Губернских очерках».

Критику важно с самого начала обосновать свое право на «генерализацию». С этого он и начинает аналитическую часть статьи. Уже обобщая, Добролюбов предупреждал: «Виды талантливых натур чрезвычайно разнообразны, но есть у них и нечто общее, состоявшее именно в их талантливости...» (II, 125). Разнообразие — и это очень важно — не отрицается, но в центре интересов оказывается если не «однообразие», то своего рода повторяемость общего в индивидуальном.

Добролюбов чувствует себя в подобном замысле тем более уверенно, что он отвечает намерениям и даже прямым генерализующим суждениям самого Салтыкова, который писал и о различии видов, и о чертах общности «талантливых натур». Для Добролюбова же ссылка на автора «Очерков» тем важна, что как бы подтверждает правомерность «генерализации» на материале художественного произведения, его образов и отразившейся в них действительности. И вместе с тем, находя в самой *идее* «генерализации» союзника в Щедрине, Добролюбов самостоятелен в способе его осуществления, в расстановке акцентов, в поисках оригинальных «поворотов» литературного материала и, конечно же, собственных выводов (скажем, о перспективах «талантливых натур» в нынешних общественных обстоятельствах). Собственно, и в статьях о Соллогубе, Растопчиной Добролюбов был вполне свободен в «обращении» с их вещами и даже доводил свою свободу до нарочитого, иронического переосмысления художественного произведения. Теперь обнаруживается самостоятельность иного рода — уже в толковании объективно достоверного жизненного содержания образов, которое как раз для этого анализируется и интегрируется. (Так постепенно, из различных слагаемых формируется столь значительная по своим результатам творческая «независимость» реальной критики).

Уже зачин аналитической части статьи представляет собою *обобщающую* характеристику, в которой критиком одновременно и воссоздаются и по-своему толкуются наблюдения

<sup>1</sup> Ср.: Г. В. Краснов. Искусство анализа.— В кн.: Н. А. Добролюбов. Статьи и материалы. Горький, 1965, стр. 203.

Щедрина. В сущности, Добролюбов здесь излагает свою концепцию «талантливых натур» как социально-психологического явления. После этого он обращается к «Губернским очеркам». Для нас представляет большой интерес, как именно вводится теперь в статью само художественное произведение, которому она посвящена. Ремарка Добролюбова многозначительна: «Если нужно доказать наши слова (то есть концепцию «талантливых натур»—М. З.) примерами, то за ними ходить недалеко. У г. Щедрина представлены талантливые натуры трех разрядов: мефистофельская, спившаяся с кругу и пустившаяся в мошенничество» (II, 127) и т. д. «Примеры»—так названы щедринские портреты по отношению к концепции критика (хотя в общем здесь последовательность, конечно, обратная). Дело, разумеется, не в слове (оно в конце концов может оказаться и случайным), а в самом подходе к художественному произведению, который определяется публицистической задачей работы в первую очередь. Общее поставлено во главу угла не только в построении статьи как целого, но также в логике и цели критических разборов, в характеристиках «талантливых натур».

Разумеется, Добролюбов пристально вглядывается в неповторимо индивидуальные черты героев Щедрина, но пафос его наблюдений все-таки в том, чтобы показать свойства, *объединяющие* различные «талантливые натуры» в единый разряд, в один общественный тип. Добролюбов добивался этого как вполне осознанной цели. Занявшись после характеристики Корепанова и Лузгина образом Горехвастова, критик обращает внимание на, казалось бы, отличительную черту его—неугомонную деятельность, которая тем более бросается в глаза, что «соседствует» с ленью и апатией его собратьев. Но Добролюбов сразу же «дезаурирует» это различие и возводит также Горехвастова к разряду «талантливых натур» не только со всеми их типическими свойствами, но и «второстепенными признаками» (II, 135). Родство даже последних тоже не упускается из виду.

Но, вероятно, особенно показательно, что и такая степень обобщения не удовлетворяет Добролюбова, и он находит способ еще более широкой «генерализации». Так в статье его возникает «вторая волна» обобщений, уже иных по своей природе, чем предшествующие, и предпринятых для новой цели.

#### 4

«Оставим теперь в стороне талантливых приятелей г. Щедрина и поставим вопрос в более отвлеченном виде, чтобы не задевать никаких личностей» (II, 135). Этой фразой, примечательной и откровенным «обнажением приема», Добролюбов проводит резкую межу в композиции статьи и начинает фрагмент, далеко продвигающий замысел автора. Если

первоначально дело заключалось в том, чтобы возвести персонажи Щедрина к типу, точнее, резко выделить роднящие их типические черты, то теперь главная задача — определить предпосылки и место «талантливых натур» в современном обществе, их возможность в назревающих социальных схватках.

До сих пор имелись в виду типичность отдельных образов, их объективное содержание, конечно, выходящее за пределы личности, но прямо с нею связанное. Теперь речь идет об обобщениях «надличностных», о классификации наиболее знаменательных разновидностей людей и «уловлении» того, что сам Добролюбов в «Литературных мелочах прошлого года» называет «общественным типом». Пока без прямых мотивировок, эта категория полноправно входит в мышление критика, нашедшего в ней емкую форму воплощения литературного и непосредственно жизненного материала. Вот эта обращенность социальной типологии одновременно к литературе и собственно к действительности и сделала категорию общественного типа связующим звеном между литературными и публицистическими задачами статьи Добролюбова, позволила их совместить в рамках одной работы, не нарушая, а, напротив, обнажая ее своеобразную целостность и единую направленность.

Именно так следует расценивать переход от типов Щедрина к более широким обобщениям, но опять-таки в сфере социальной типологии. К обобщениям, которые отчасти соотносятся с персонажами «Губернских очерков», а отчасти сделаны вполне самостоятельно, даже без «толчка» со стороны писателя. Ведь критик, усматривая в современном обществе «два главных разряда членов» (II, 135), наряду с «талантливыми натурами» и людей «вполне пассивных, безличных и крайне ограниченных» (II, 135), идет уже не от художественного произведения, а всецело от собственных наблюдений и размышлений. Но можно ли утверждать, что в статье Добролюбова вообще отсутствует связь между характеристикой «смирных» и «исправных» и характеристикой «талантливых натур»?

Нет, конечно. Такая связь существует. Но природа ее особая. Не тематическая. Не ассоциативная. Не просто идеологическая. Не только объективно-историческая, обусловленная целостностью самой общественной структуры. Это связь прежде всего методологическая, связь самого принципа анализа жизненных фактов и способа их обобщения в форме *общественных типов, разрядов*. Когда «талантливые натуры» уже получили в статье критика типологическую характеристику и — после этого, наряду с этим! — потребовалось показать их место в обществе, то есть относительно других категорий людей, то разве не закономерно было эти последние характеризовать с помощью тех же приемов, в форме социального типа? Здесь действовала не инерция, а логика раздумий критика над жизнью, сама сущность его представлений о социально-пси-

хологических «определителях» личности, целых общественных групп. Логика, свидетельствующая, что несомненная, хотя и своеобразная целостность статьи Добролюбова в ее критической и публицистической частях достигается единством не только замысла, идее, не только концепции исследуемых литературных и жизненных фактов, но и основного способа обобщения — социальной типологии.

Однако неизбежен и вопрос, насколько ограничен для собственно критического жанра такой ход мысли, такие приемы обобщения материала, прямо не связанного с анализируемой вещью?

Социальная типология Добролюбова, даже когда она распространяется на факты жизни непосредственно, правомерна для критической статьи, раз помогает воссоздать и осмыслить панораму действительности, уловить характерные для современности процессы в их «персонифицированном» виде, и вместе с тем, в конечном счете—исследовать своеобразие «талантливых натур» в русской жизни и в изображении Щедрина. Добролюбов ведь не в виде отступления говорит о «пассивных» и «исправных», а для того, чтобы сопоставить с нами «талантливые натуры» и вернее судить о них. Тем самым, через порожденные им основные разряды людей получает характеристику и оценку также и само общество, о котором сказано, что оно «разыграло в некотором роде талантливую натуру» (II, 124). Так замыкается круг: благодаря социальной типологии Добролюбова мы узнаем, и что собой представляет общество как «талантливая натура», и каких «двойников» оно породило.

Иначе говоря, социальная типология может соответствовать задачам литературной критики и тогда, когда опирается на художественное произведение, и тогда, когда обобщает непосредственно жизненные факты. Но различие здесь все-таки есть. Ибо в первом случае решается собственно литературная и, по обстоятельствам, также публицистическая задача (хотя и с неодинаковым приближением к специфике характеров и произведения в целом, о чем еще будет сказано). А во втором—главным образом (хотя и не исключительно, как мы могли убедиться) задача публицистическая, причем и средствами публицистики. И как ни соотносительны социальные типы, явившиеся результатом «генерализации» художественных образов, и «внелитературные» социальные типы, несходства между ними весьма ощутимы—и иначе, собственно, не может быть, так что пласт публицистики в статье Добролюбова оттеняется его литературными разборами—даже при всей их собственной публицистичности.

Специфической для критики внелитературную типологию признать, конечно, нельзя. Но было бы схоластической нормативностью на этом основании отрицать ее правомерность и



плодотворность в статье Добролюбова. Другое дело, что сам он этот способ обобщения, эту форму публицистики в дальнейшем применял обычно в преобразованном виде.

Пока же тяга Добролюбова к обобщениям социологическим настолько велика, что и «генерализация» художественных образов зиждется на них. Это прежде всего относится ко всему, что сказано о социальных предпосылках «талантливых натур» уже без прямой связи с «Очерками», в виде социологического комментария к ним. Такова одна из главных задач «второй волны» обобщений, которая довольно быстро вытесняет собственно аналитические фрагменты статьи.

Не менее примечательно, что стремление к «генерализации» особым образом влияет на характер и «вместительность» добролюбовских обобщений на материале «Очерков». Можно сказать, что такое стремление не только выливается в емкие, социально проясненные (и объясненные) типологические характеристики, но в некоторых отношениях и ограничивает возможность критика, ослабляет его интерес к иным «изощренным» проявлениям психологии персонажей. Ощутимее всего эта тенденция, конечно, при прямом сопоставлении добролюбовских обобщений с щедринскими «оригиналами».

Статья о «Губернских очерках» едва ли не впервые засвидетельствовала совершенно незаурядную социально-психологическую проицательность молодого критика, его способность уловить и осмыслить самые сокровенные и неожиданные «движения души», возвести их к сущности характеров и общественных обстоятельств. Но как раз это и доказывает, что не ограниченность творческих возможностей Добролюбова, а сам *ход мысли* порою приводил его к пренебрежению очень выразительными, но сугубо индивидуальными особенностями щедринских персонажей, их отношениями к людям и самим себе.

Сперва критик дает генерализующую характеристику «талантливых натур», она изобилует и психологически проникновенными наблюдениями, но пока в «типологическом масштабе», а уже потом и опять-таки как пример («вот, например, перед вами г. Корепанов»—II, 128) следует анализ образов, подтверждающий выводы критика. Но этот анализ вбирает в себя не все, что могли бы дать щедринские персонажи. Что же остается за пределами интересов Добролюбова?

О Корепанове, об итогах его житейских странствий сказано так: «он кое-как служит, как и все, но главным образом злобствует против всех, стараясь выставить собственное превосходство и несправедливость судьбы» (II, 129). В очерке Щедрина о «злобстве» своем Корепанов повествует с такой искренностью, которая обнажает потаенные уголки души: «Знаете, ...странная вещь! Никто меня здесь не задевает, все меня ласкают, а между тем в сердце моем кипит какой-то

страшный, истоощимый источник злобы против всех их! И совсем не потому, чтобы я считал их отвратительными или безнравственными — в таком случае я презирал бы их, и мне было бы легко и спокойно... Нет, я злобствую потому, что вижу на их лицах улыбку и веселие, потому что знаю, что в сердцах их царствует то довольство, то безмятежие, которых я, при всех своих благонамеренных и высоконравственных воззрениях, добиться никак не могу... Мне кажется, что самое это довольство есть доказательство, что жизнь их все-таки не прошла даром, и, что, напротив того, беснования и вечная мнительность, вроде моих, — признак натуры самой мелкой, самой ничтожной... вы видите, я не щаю себя! И я ненавижу их, ненавижу всеми силами души, потому что желал бы отнять в свою пользу то уменье пользоваться дарами жизни, которыми они вполне обладают...»<sup>1</sup>. Чем «аналитичнее» исповедь Корепанова, тем глубже выражает она всю меру опустошенности, растерянности, обыкновенной «жалкости» его... Злоба, родившаяся от зависти, зависть, за которой кроется близорукая переоценка счастья «существователей», затаенное преклонение перед ним, до поры до времени бессознательно владеющее «фрондерами», а в минуту отчаяния становящееся явным и неотразимым; и надо всем этим — ощущение какой-то противоестественности своей злобы — таковы различные грани сложных переживаний Корепанова. Переживаний, которые тоже ведь выражают типические черты образа и его реальных прототипов.

Но эти штрихи внимания Добролюбова не привлекли. Между тем, Чернышевский сообразно своему, иному замыслу, весьма пристально прослеживал даже оттенки интонаций в автохарактеристиках Буеракина, например, в его самокритическом монологе (IV, 292—293).

В очерке о Лузгине есть у Салтыкова такой эпизод. Лузгин и его приятель Кречетов просят Щедрина «по-дружески» помочь им в мошенничестве, но встречают твердый отказ. И вот здесь-то и начинается самое интересное. Лузгин, естественно, злится, по-ноздревски называет своего друга «дрянью» и принимается «мрачно осушать рюмку за рюмкой». О дальнейшем Щедрин рассказывает так:

«— А ты не будешь пить?—спросил меня Лузгин.

— Нет, я не пью.

— Разумеется, разумеется,—куда ж тебе пить? Пьют только свиньи, как мы... выпьем, брат, Василий Иваныч!

---

<sup>1</sup> Н. Щедрин. (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч. в 20-ти т., т. 2, стр. 282.

...Через полчаса мы расстались, он сначала холодно пожал мою руку на прощанье, но потом не выдержал и обнял меня очень крепко»<sup>1</sup>.

Добролюбов писал о Лузгине: он «безбоязненно и бесстыдно распространяется о своих недостатках, уверяя, что он свинья, что он опустил, что он гнусен с верхнего волоска головы до ногтей ног» (II, 130). И все-таки какие примечательные нюансы мог бы привнести в эту характеристику только что прошедший перед нами эпизод! Лузгин обижен отказом Щедрина, но обида заставляет его острее ощутить (он еще способен на это), до каких мерзостей он дошел, а, ощутив это, он пытается «взять реванш» показным самоуничижением, за которым стоит амбициозность осознающего свое падение человека (тема, излюбленная Достоевским). Человека, который при всем том дорожит доброй своей молодостью, не может не поддаться воспоминаниям о ней, чтобы по крайней мере дружески не проводить давнего приятеля. У этого бытового эпизода, как видим, выразительный психологический подтекст.

При известных утратах в постижении индивидуального, анализ Добролюбова не только не враждебен ему в принципе, но, повторим еще раз, необычайно чутко реагирует на своеобразие характера—в большом и в малом. В особенности, когда это отвечает замыслу критика, логике его подхода к персонажу. В таком случае и стремление к «генерализации» не мешает интересу к «личному», а, напротив, диалектически соответствует ему. Мы помним, как энергично критик утверждал, что Горехвастов, в сущности, решительно то же самое, что Корепанов и Лузгин, и разделяет даже второстепенные признаки «талантливых натур». Однако «генерализация» потребовала от Добролюбова такого пристального анализа индивидуального, который раскрыл бы его сокровенное содержание и внутреннее родство с типологическими свойствами «талантливых натур». Горехвастов в отличие от своих собратьев необычайно деятелен, силен духом, предприимчив? Добролюбов опровергает это внешнее впечатление как раз с помощью анализа индивидуального облика общих определений: «деятельность Горехвастова—совершенно пассивная, вынуждаемая обстоятельствами чисто внешними» (II, 134). Горехвастов беспощадно бичует себя, оставляя далеко позади «самокритику» Корепанова и Лузгина? Но Добролюбов приглашает задуматься над психологической подоплекой этих порывов: «Какое сильное раскаяние!»—можете вы подумать. Не беспокойтесь: это так, вспышка, для успокоения собственной совести» (II, 135).

---

<sup>1</sup> Н. Щедрин. (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч. в 20-ти т. т. 2, стр. 295—296.



В итоге можно утверждать, что в статье о «Губернских очерках» Добролюбов столкнулся с необходимостью найти такое сочетание, такое единство генерализации и анализа индивидуальных особенностей характера, которое отвечало бы и природе образа, и публицистическим замыслам критика. Хотя в подобной задаче есть и внутреннее противоречие, Добролюбов находил в самой идее генерализации стимул для проникновенных наблюдений над психологией и поступками персонажей. Возникавшие при этом издержки связаны не только с творческим становлением Добролюбова, но и с приоритетом публицистического замысла, с трудностями поиска принципов и приемов анализа, которые позволили бы последовательно, с минимальными утратами осуществить многообразные задачи критики, развивая и ее нравственно-эстетическое начало, и ее публицистические устремления.

## 5

Литературно-социологические обобщения Добролюбова по мере развертывания статьи расширяют сферу своего действия, и только постепенно проясняются (а вполне проясняются буквально в последних строках) истинные масштабы — и неожиданность! — замысла отнюдь не обычной рецензии.

Если «талантливые натуры» порождены социальными обстоятельствами, если их особенности и роль в современной жизни могут быть осмыслены только в сопоставлении с другими «разрядами» людей, то исследование «талантливых натур», в свою очередь, переходит в характеристику общества. Прямо уподобив общество «талантливой натуре», Добролюбов развертывает свою оценку хотя и в «полубытовой» форме, но по сути — в плоскости политической. Он отвергает уверения в быстром росте русского общества и доказывает это неискоренимой живучестью пороков, кои обличаются со времен Сумарокова и Капниста. Не похоже ли это на Горехвостова, «трагически декламирующего о своей гадости и подлости, с вырыванием собственных волос приносящего раскаяние и в то же время затевающего новое воровство?...» (II, 140). Добролюбов твердо обозначает границы действительности обличений, дабы последними не пытались подменить «деятельность сознательную и самобытную» (II, 138), под которой подразумевалась революционная борьба.

Общество и социальное зло — такова сжато намеченная теперь проблема. Она сразу же переходит в другую, развитую более подробно: литература и социальное зло. Здесь переплетаются два вопроса: о назначении литературы вообще и о ее задачах в современных условиях. Поэтому суждения Добролюбова касаются не только критики, но и эстетики. Если в последующих его работах теоретическая проблематика обращена раньше всего к критике и служит обоснованию ее метода,

то теперь теория прямо касается путей развития литературы (хотя в общем не является оригинальной, а исходит из «Очерков гоголевского периода» Чернышевского).

Главная особенность спора, который ведет Добролюбов, заключается в том, что в проблемах литературно-эстетических им последовательно вскрыто различное отношение к социальному злу. Равнодушие и страстная тревога и в этом случае слышатся ему за, казалось бы, «вечным» разногласием о возможностях и значении художественного творчества.

Противников обличительного направления (плодотворным тенденциям которого Добролюбов еще сочувствует, хотя и далеко не безоговорочно), отвергавших критику общественных пороков с позиций «чистого искусства», он многозначительно назвал «эстетически обученными талантливыми натурами» (II, 142). В контексте статьи это означало очень выразительную конкретизацию суждений Чернышевского и Белинского об эстетстве как мировоззрении сибаритско-эгоистическом, уделе праздных ленивцев. Не довольствуясь выводами, которые подсказывала общая логика статьи и семантика самого понятия «талантливая натура», Добролюбов довершает свои удары, специально уясняя идеалы и вождедения «талантливых натур» в сфере эстетики. «При врожденной талантливым натурам лени, они любят забываться надолго, даже навсегда, если можно. Они готовы в своей дремоте от всего сердца проклясть «правды глас», если он вдруг разрушит их сладостные мечтания» (II, 142). Тем самым Добролюбов возвращает «эстетической» критике и излюбленный ею упрек в предвзятости, который она бросала не только «обличительству», но и подлинному критическому реализму. В сущности Добролюбов признает, что какая-то общая предварительная установка, творческая ориентация существует у художника всегда. Все дело в том, открывает ли она простор для правды или оказывается шорами для писателя. Именно в этом подлинный смысл разногласий, хотя противники демократической критики всячески уходили от его выяснения. «За» них это и делает Добролюбов, но делает так, что его слова звучат обвинением «эстетически обученным талантливым натурам»: «Когда же художник более подчиняется заранее предположенной цели—тогда ли, когда в своих произведениях выражает истину окружающего его явлений, без утайки и без прикрас, или тогда, когда нарочно старается выбрать одно возвышенное, идеальное, согласное с опрятными инстинктами эстетической теории?» (II, 142).

Защита «обличительства» от критики «справа» не мешает Добролюбову занять по отношению к нему самостоятельную позицию. Статья о Щедрине содержит весьма определенное суждение на этот счет, как раз и разрешающее тему «литература и социальное зло». Коротко, но бескомпромиссно отвеча-

ет Добролюбов тем, кто отверг литературные обличения за их малую общественную результативность: «Гораздо последовательнее было бы с вашей стороны, если бы вы сказали, что надобно поэтому усилить тон литературных обличений для легчайшего достижения практических результатов. Тогда бы мы с вами и спорить не стали, хотя—многозначительно добавляет критик-революционер—все-таки не решились бы обещать слишком заметного успеха в улучшении нравов посредством литературы» (II, 142—143). «Идея социальности» прямо воздействует и на литературную программу Добролюбова: с нею соотносятся и принцип художественного исследования общественных первопричин зла, и трезвая оценка роли художественного творчества в борьбе за социальные преобразования.

Но и литературно-эстетической темой замысел статьи Добролюбова не исчерпан. Остается еще—последняя по времени, но не по значению—*тема народа*.

Появление ее мотивировано двояким образом. Возникает она как ответ на нападки критики на автора «Губернских очерков». Но «оправданием» ему служит хотя бы то, что, отрицая ничтожное меньшинство народа, он огромное большинство его «защищает... от разного рода талантливых натур» (II, 144). Затем *отношение* Щедрина к народу влечет за собой и вопрос об *изображении* народа в «Губернских очерках», о трезвой правдивости и обнадеживающей проникновенности картин народной жизни.

Однако тема народа имеет в статье Добролюбова и более глубокое содержание. Пусть дана она бегло, оценочно, а не аналитически, — она завершает создание своеобразной панорамы русской жизни, или, точнее, «среза» современного русского общества. После «талантливых натур», после «пассивных» и «смирных», после людей истинно деятельных как исключения в образованной среде,—после них всех—народ. Причем народ, в котором резко обозначилась деловитость мысли, полновесность слова, органичность деяния: «уж зато если поймет что-нибудь этот «мир», толковый и дельный, если скажет свое простое, из жизни вышедшее слово, то крепко будет его слово, и сделает он, что обещал. На него можно надеяться» (II, 146). Таким образом оттеняется в общей композиции статьи каждый из охарактеризованных «разрядов» общества—все они как бы становятся на свои места, для каждого найден надежный масштаб, и вся картина в целом приобретает необходимую перспективу... (Построение, своей целеустремленностью и соотносительностью компонентов напоминающее композицию художественного произведения).

Идея народности, теоретически еще не сформулированная Добролюбовым, уже заявляет себя на деле как составная часть и «двигатель» анализа, как идея, реализованная не толь-

ко в суждении о значимости творчества Щедрина, но и в структуре статьи, в самом строе мысли автора. Причем на практике идея народности обнаруживает теперь у Добролюбова такие грани, которые в теории прямо закреплены не будут. Речь идет о соотношении Добролюбовым «героя» и «народа», независимо от степени обстоятельности сопоставлений.

Наконец, завершающий фрагмент, придавая законченность основным мотивам статьи, поддерживает ее внутреннюю целостность — обстоятельство тем более важное, что на поверхностный взгляд работа Добролюбова, особенно последняя ее часть, может показаться даже «клочковатой».

В главном же целостность статьи, наряду с предпосылками методологическими, обеспечивается единством и взаимосвязью темы публицистической (включая сюда и полемику по эстетическим вопросам) и собственно литературной, если угодно—подчинением последней публицистическому замыслу. Это единство возникает в постановке одних и тех же или родственных проблем как при анализе «Губернских очерков», так и в обсуждении результатов этого анализа и наиболее важных выводов из него. Однако характеризуемое единство и противоречиво. В чем это конкретно выражается? Прежде всего, «заданная» литературным анализом проблематика постепенно расширяется и вбирает в себя все новые, но отделяющиеся от первоначальных проблемы общественных отношений, социальной типологии («талантливые натуры» и их место в обществе, соотношение с другими «разрядами» образованных людей, а в конечном счете—и с народом). В связи с такой структурой происходит и «отдаление» публицистики от самого литературного материала, хотя одновременно художественное произведение получает углубленное истолкование со стороны своей общественно-идеологической значимости. Публицистический элемент только отчасти базируется непосредственно на литературных фактах (характеристика «талантливых натур», условий их формирования, генерализирующие выводы по этому поводу). Возникает публицистика, которая лишь в конечном счете, через серию опосредствований восходит к самому художественному произведению (социальная типология—за вычетом «талантливых натур», впрочем, составляющих в ней центральное звено).

Естественно, что своеобразие таланта при такой установке критика, при таких приемах ее реализации не может быть прямым предметом исследования. Это своеобразие в какой-то мере выясняется лишь косвенно и особым образом, отвечающим публицистическим замыслам Добролюбова,—через характеристику *познавательных открытий* Щедрина, то есть в данном случае все тех же «талантливых натур». Иначе и не могло быть, раз критик почти исключительно на них и сосредоточил свое внимание в анализе «Губернских очерков». Но и

самые эти открытия рассмотрены Добролюбовым тоже особым образом—в их результатах, а не в средствах, скорее в родовых особенностях, чем в индивидуальных чертах персонажей, больше «стихийно», нежели сознательно для аналитического уяснения творческой индивидуальности писателя. Может быть, вообще точнее сказать, что Добролюбов только подводит к решению этой проблемы и дает материал для него.

Однако вне зависимости от соотношения различных задач критика, степени их осознанности и органичности взаимосвязи, перед нами очень своеобразная критическая статья, на ограниченном материале создающая широкую, социально целеустремленную картину русской действительности. Картину, которая зиждется на «генерализации» образов художественного произведения и публицистическом исследовании своих и писательских обобщений. Изменяются пути и приемы анализа, но сама тяга к социальной панораме, к широкому обозрению действительности закрепится у Добролюбова и станет важной приметой едва ли не всех основных его статей.

---

А. А. ДЕМЧЕНКО

## ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ ПИСАТЕЛЯ В ТРУДАХ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

«После славы быть Пушкиным или Гоголем прочнейшая известность—быть историком таких людей»,—писал Чернышевский, высоко ценя труд биографа как важную составную часть историко-литературных исследований<sup>1</sup>. В условиях возраставшего интереса русского общества к литературе критик постоянно напоминал о недостаточности усилий специалистов в создании жизнеописаний, хотя публике уже были известны биографические труды П. А. Вяземского, С. Т. Аксакова, П. В. Анненкова, А. В. Дружинина<sup>2</sup>. Потребность «биографических монографий» «в настоящее время,—отмечал он в «Очерках гоголевского периода русской литературы»,—чувствуется живее, нежели когда-нибудь» (III, 195). Сам Чернышевский плодотворно работает в этом жанре (книги о Пушкине, Добролюбове, Лессинге), внимательно следит за публикациями материалов для биографий Гоголя, Добролюбова, Некрасова, Жорж Санд, Бальзака.

Выдвигаемый Чернышевским тип биографии определялся им как труд, имеющий «ученое достоинство» («ученый труд»). О такого рода работах он писал, например, в первой статье об анненковском издании Пушкина (II, 428). Представления критика о жизнеописании как «ученом труде» близки в некоторых существенных чертах к тем требованиям, которые

---

<sup>1</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., в 16-ти т., т. IV, М., Гослитиздат, 1948, стр. 720. В последующем цитаты из сочинений Чернышевского даются в тексте с указанием тома и страниц этого издания.

<sup>2</sup> П. А. Вяземский. Жизнеописание Фонвизина. СПб., 1848; С. Т. Аксаков. Биография М. Н. Загоскина. М., 1853; П. В. Анненков. Александр Сергеевич Пушкин. Материалы для его биографии. СПб., 1855; А. В. Дружинин. Жизнь и драматические произведения Ричарда Шеридана. — «Современник», 1854, № 1, 9, 10; А. В. Дружинин. Георг Крабб и его произведения. — «Современник», 1855, № 11, 12, 1856, № 1—3, 5.



предъявляет современное литературоведение к научной биографии. Так, Чернышевским рассматривались столь серьезные вопросы научной биографии, как анализ сложных взаимосвязей личности писателя с эпохой, общественной средой, ближайшим окружением, выяснение конкретных условий формирования и эволюции эстетических и общественно-политических взглядов писателя, отразившихся в художественных и иных его произведениях, определение места этих произведений в биографии, исследование с передовых идейных позиций источников сведений о писателе (эпистолярных, автобиографических, мемуарных). Поэтому соответствующие суждения Чернышевского, его практические поиски как биографа являются ценным материалом в решении сложного, во многом еще не разработанного вопроса об основных принципах построения научной биографии писателя.

Высказывания Чернышевского по проблемам жизнеописания изучены недостаточно<sup>1</sup>. В настоящей работе предполагается выяснить, каков был уровень теоретических представлений о биографии к моменту выступления Чернышевского, каковы критерии, предъявляемые революционным демократом к современным ему биографиям, как он определял цель и задачи биографических трудов, какой принцип использования биографических источников предпочитал.

## 1

Понимание биографии как «ученого труда» Чернышевскому пришлось разъяснять в условиях полемики с защитниками «биографического» (и «библиографического») направления, господствовавшего в современной ему литературной науке. Уже в первых статьях он решительно и последовательно выступил против превращения истории литературы в «ходячие хронологические таблицы и библиографические реестры» (11, 265), а биографий—в перечень «подробностей, никому из читателей не нужных и могущих только вести в заблуждение» (11, 352). Борьбу с приверженцами «биографических подробностей» Чернышевский продолжил и в последующих работах, прежде всего, в статьях, где анализировались собранные П. В. Анненковым «Материалы для биографии А. С. Пушкина». Рекомендую читателям «Современника» этот труд

<sup>1</sup> См.: В. Д. Павличенко. Н. Г. Чернышевский о некоторых методологических принципах историко-литературной науки. — Известия Крымского пед. ин-та, т. XXIII, 1956, стр. 222—223; Д. К. Мотольская. Вопросы истории литературы в рецензиях Н. Г. Чернышевского 1853—1854 годов. — Ученые записки Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена, т. 134, 1957, стр. 75—78; М. А. Соколова. Н. Г. Чернышевский о вопросах тектологии. — В сб.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, т. 2. Под ред. проф. Е. И. Покусаева. Саратов, 1962, стр. 284—286.

в качестве образцового научного исследования<sup>1</sup>, критик усматривал общий недостаток большинства прежних жизнеописаний в неумении их авторов «обработать предмет с общей точки зрения», в результате чего «вместо исследований о замечательных явлениях литературы представлялись публике отрывочные изыскания о маловажных фактах; вместо ученого труда в его окончательной форме представлялся весь необозримый для читателей процесс механической предварительной работы, которая только должна служить основанием для картины и выводов, из нее возникающих» (II, 427, 428).

Источник указанного недостатка Чернышевский справедливо усматривал в ненаучном объяснении важного для биографии вопроса о роли творческой личности в обществе, в истории. Не случайно биографию Лессинга он начинает рассуждениями о месте писателя в истории развития народа.

Проблема соотношения истории и личности была особо актуальной в эпоху 1850-х годов. Применительно к литературе она идеалистически трактовалась тогдашними теоретиками искусства (В. П. Боткин, Ап. Григорьев, А. В. Дружинин), разделявшими выдвинутую английским историком и критиком Т. Карлейлем концепцию «героической личности». Согласно этой теории только великий человек, раскрывающий «божественный смысл жизни», может разрешить проблему социальной дисгармонии. В «обязательном почитании героев» Карлейль усматривал «живую скалу среди всевозможных крушений, единственную устойчивую точку в современной революционной истории, которая иначе представлялась бы бездонной и безбрежной»<sup>2</sup>. Из среды выдающихся личностей им особо выделяются поэты, поскольку литература является «апокалипсисом природы», «непрерывным откровением божественного в земном и человеческом»<sup>3</sup>. Вывод «История мира есть биография великих людей»<sup>4</sup> был энергичным выражением субъективистского мировосприятия, послужившего философской основой «биографического» метода в изображении творческой личности. Пристальное внимание ко всем от-

<sup>1</sup> В статье М. Блиичевской «К истории печатания в «Современнике» статей Чернышевского о Пушкине» высказано хорошо аргументированное предположение, что высокая оценка анненковского труда дана Чернышевским не без влияния Н. А. Некрасова («Вопросы литературы», 1966, № 12, стр. 240).

<sup>2</sup> Т. Карлейль. Герои, почитание героев и героическое в истории. Пер. В. И. Яковенко. Изд. 3, СПб., 1908, стр. 33.

<sup>3</sup> Там же, стр. 181.

<sup>4</sup> Там же, стр. 19, 31. Отождествление истории литературы с биографиями писателей и биографическим обзором — характерная черта учебников по русской словесности еще в 1820—1830 годы. См. об этом в статье А. П. Скафтымова «Преподавание литературы в дореволюционной школе (сороковые и шестидесятые годы)». — Ученые записки Саратовского пед. ин-та, вып. 3, 1938, стр. 152.



тенкам характера «героя», стремление высветить мельчайшие подробности его быта и умение показать их художественно — вот, по Карлейлю, обязанности биографа<sup>1</sup>. Созданные им жизнеописания Данте, Шекспира, Вольтера, Дидро вполне соответствовали этим требованиям.

С важнейшими из упомянутых работ Карлейля впервые познакомил русских читателей В. П. Боткин<sup>2</sup>. Раскрывая смысл и значение своего труда, он писал о Карлейле: «Никто из современных писателей не отрывает так от обиходной ежедневности и рутины; никто, подобно ему, не заставляет так невольно обращать мысль на непреходящие источники жизни нашей, на вечные тайны, которыми окружены мы»<sup>3</sup>.

О примате абстрактно-нравственных проблем перед социальными писал и Ап. Григорьев в период увлечения славянофильскими идеями. Как и Карлейль, он называет художника вдохновенным ясновидцем, открывающим «покровы тайн»<sup>4</sup>.

Взгляды английского биографа оказали значительное влияние и на А. В. Дружинина. Последнему близка мысль о «важности и величии истинных поэтов», роль которых возрастает «в период тревожной практической деятельности, при столкновении научных и политических теорий, в эпохи сомнения и отрицания». Он убежден также в том, что искусство «представляет собою верный рычаг всех общественных усовершенствований», благодетельствуя «всему свету, который движется вперед лишь идеалами и усилиями немногих избранных личностей»<sup>5</sup>.

Несостоятельность концепции «героя» Чернышевский показал в пятой статье «Очерков гоголевского периода русской

<sup>1</sup> Т. Карлейль. Герои, почитание героев и героическое в истории. Пер. В. И. Яковенко. Изд. 3, СПб, 1908, стр. 346.

<sup>2</sup> Героическое значение поэта. Дант. (Из Т. Карлейля). — «Современник», 1856, № 1, отд. II, стр. 33—54; Героическое значение поэта. Шекспир. (Из Т. Карлейля). — Там же, № 3, отд. II, стр. 92—104.

<sup>3</sup> «Современник», 1856, № 2. Заметки о журналах, стр. 208.

<sup>4</sup> «Сочинения Аполлона Григорьева». Под ред. Н. Н. Страхова, т. 1, СПб, 1876, стр. 257, 262; Б. Ф. Егоров. Аполлон Григорьев — критик. — Ученые записки Тартусского ун-та, т. III, вып. 98, Тарту, 1960, стр. 204.

<sup>5</sup> А. В. Дружинин. Собр. соч., Под ред. Н. В. Гербеля, т. VII, СПб., 1865, стр. 582, 583. Несколько позже, в 1861 году, пересказывая на страницах «Русского вестника» (№ 4) биографию Фридриха Вильгельма I по Карлейлю, Дружинин осудит «эксцентрические воззрения на исторические личности». Но и тогда он будет писать о высоком мастерстве Карлейля-биографа, не имеющего «ни сверстников, ни соперников», о котором «всякое несимпатичное слово будет простым свидетельством отсутствия всякого художественного такта в ценителе». Видным замечанием Дружинин, несомненно, метил в Чернышевского, выступившего в декабрьской книжке «Современника» за 1860 год не только против «монomanии» в учении Карлейля, но и присущей этому писателю «ухищренности слога» как признака «нездоровости ума» (VII, 391, 392).

литературы» (июль 1856 года). Вслед за Белинским, он утверждал, что личность всегда является «служительницей времени и исторической необходимости» (III, 182). Как бы в противовес боткинским переводам из Карлейля и написанной Дружининым в духе Карлейля биографии английского поэта Крабба, Чернышевский заканчивает вторую (общую) главу работы о Лессинге определением «исторического значения» этого писателя, чтобы «предохранить себя от безграничного превознесения его» (IV, 72—73).

Однако у самого Чернышевского эти выводы, полемически заостренные против теории «героической личности», приобретали оттенок исторического детерминизма. По Чернышевскому, «совершение великих мировых событий не зависит ни от чьей воли, ни от какой личности. Они совершаются по закону столь же непреложному, как закон тяготения и органического возрастания». От сильной личности зависит лишь время и способ совершения этого события (IV, 70). Такой неучет всего диалектического своеобразия связей личности и истории был отмечен Г. В. Плехановым, писавшим, что «история имела бы другую физиономию, если бы влиявшие на нее единичные причины (то есть отдельные личности—А. Д.) были заменены другими причинами того же порядка»<sup>1</sup>.

Слабость воззрений Чернышевского сказалась на его биографической работе о Лессинге. Деятельность немецкого писателя «распланирована» биографом таким образом, чтобы подчеркнуть абсолютную зависимость этой личности от потребностей эпохи. Даже бреславльский период жизни Лессинга, проводившего время преимущественно за картами, был по Чернышевскому, полон расчета на отдых и на создание после него капитальных произведений (IV, 145). Не столько желанием Чернышевского перенести свои черты на Лессинга, силу ума и сознательной планировкой работы совершившего переворот в жизни Германии<sup>2</sup>, сколько отмеченной убежденностью в полной зависимости личности от «неизбежного и неотвратимого, как течение великой реки» хода мировых событий (IV, 70, 71) следует, на наш взгляд, объяснять такое построение биографии немецкого мыслителя.

Те же ошибки свойственны биографии Пушкина, написанной Чернышевским в 1856 году. Советские исследователи неоднократно отмечали, что при безусловной историчности вы-

---

<sup>1</sup> Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения в 5-ти т., т. IV, М., Соцгиз, 1958, стр. 327—328; т. II, М., 1956, стр. 332.

<sup>2</sup> В. Каплинский. «Лессинг» Чернышевского. — В сб.: Н. Г. Чернышевский. Неизданные тексты, материалы и статьи, Саратов, 1928, стр. 221.

воды автора изобилуют ошибочными формулировками<sup>1</sup>. Он ограничил деятельность и значение Пушкина ролью поэта формы, поэта «чистого искусства» (у Пушкина «художественность составляет не одну оболочку, а зерно и оболочку вместе»—II, 473). И дело не только в том, что критику не были известны факты подлинного отношения поэта к самодержавию. По Чернышевскому, творчество Пушкина вполне соответствовало историческим потребностям развития русской литературы, далее которых этот художник пойти не мог.

Однако не этими крайностями взглядов Чернышевского определяется значение его биографических трудов. Рассмотрение деятельности писателя с «общей точки зрения», то есть установление, прежде всего, связи (зависимости) этой личности с историческими потребностями эпохи делает работы Чернышевского-биографа ценными и по сей день.

## 2

Спецификой такого типа историко-литературных исследований, каким является научное жизнеописание, выдвигается вопрос о месте и аспектах освещения творчества в биографии писателя.

Белинский отмечал в свое время, что изучаемые биографом «обстоятельства частной жизни» и убеждения писателя должны рассматриваться «в живой связи с творениями»<sup>2</sup>. Этот же принцип стал определяющим в литературно-биографической практике Чернышевского. В отличие от сторонников «биографического» метода, революционного демократа интересует не жизнь писателя в мельчайших ее подробностях, а факты, позволяющие говорить о мировоззрении. При этом в жизнеописании необходимы те из них, которые имеют связь с поэтической деятельностью (II, 206). Об этом же Чернышевский писал в статьях о Пушкине (II, 436), в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (III, 201).

Чернышевским осуждалась и другая крайность, когда большая часть биографии (например, П. А. Вяземского о Фонвизине или С. Н. Глинки о Сумарокове<sup>3</sup>) занята «выписками из сочинений», «разбором их литературной деятельности,

<sup>1</sup> А. Лаврецкий. Чернышевский. — В кн.: История русской критики, т. 2. М.—Л., изд. АН СССР, 1958, стр. 59—60; Е. И. Покусеев. Николай Гаврилович Чернышевский (очерк жизни и деятельности). Учпедгиз, М., 1960, стр. 107—108; Б. В. Томашевский. Основные этапы изучения Пушкина. — В кн.: Б. В. Томашевский «Пушкин», т. I, М.—Л., изд. АН СССР, 1961, стр. 446, 454.

<sup>2</sup> В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, М., изд. АН СССР, 1955, стр. 309.

<sup>3</sup> П. А. Вяземский. Жизнеописание Фонвизина. СПб, 1848; С. Н. Глинка. Очерки жизни и избранные сочинения А. П. Сумарокова. СПб., 1841.

общими рассуждениями о современной им эпохе; собственно биографических подробностей вовсе немного» (II, 607—608).

Перегруженность жизнеописания анализом художественных произведений проистекала чаще всего из признания творчества наиболее достоверным и чуть ли не единственным источником биографических сведений. Этот ошибочный принцип положен, например, в основу работы профессора П. Н. Кудрявцева о жизни Данте<sup>1</sup>. П. Н. Кудрявцев ссылался при этом на опыт известного немецкого историка литературы Гервинуса, написавшего биографию Шекспира. Действительно, намереваясь «руководить читателем при чтении поэта», Гервинус сообщал в «Предисловии», что он «стремился только к тому, чтоб заставить поэта как можно более говорить самого за себя в объяснение своих созданий»<sup>2</sup>. По словам П. Н. Кудрявцева, только Гервинусу удалось «наконец заглянуть во внутренний мир поэта и открыть в этом мире последовательность явлений, о которой его биографы не имели никакого подозрения»<sup>3</sup>. Предпринятый П. Н. Кудрявцевым труд о жизни Данте остался незавершенным, биография великого флорентийца доведена лишь до начала его литературной деятельности. Но уже само обращение к Гервинусу и некритическое восприятие его труда характерны.

Подобный пример увлечения анализом творчества в биографии дают критические статьи по поводу биографической книги П. Кулища о Гоголе. А. И. Рыжов, сотрудник «Библиотеки для чтения» в 1855—1856 годах, видел причину непонимания личности писателя и его трагедии в обращении биографов «к бесконечным суждениям о многих его качествах, недостатках и достоинствах, тогда как Гоголь, лицо весьма характерное в нашей литературе, высказался вполне в своих произведениях»<sup>4</sup>. По мнению критика, известные отрывки из второго тома «Мертвых душ» и другие сочинения последнего периода одни в состоянии пролить истинный свет на стремление Гоголя к «нравственной чистоте и самоусовершенствованию», к «самопожертвованию и любви к ближнему» и другие его «христианские подвиги»<sup>5</sup>.

Жизнеописание Лессинга, над которым Чернышевский работал в 1856—1857 годах, открывало иной аспект освещения

<sup>1</sup> «Отечественные записки», 1855, № 7, отд. II, стр. 1—40. Там же, 1956, № 3, отд. I, стр. 75—127.

<sup>2</sup> Гервинус. Шекспир. Перевел со второго издания К. Тимофеев. СПб., 1862, стр. 10—11, 43.

<sup>3</sup> «Отечественные записки», 1855, № 5, отд. II, стр. 5.

<sup>4</sup> «Библиотека для чтения», 1855, № 9. Науки и искусства, стр. 5.

<sup>5</sup> «Библиотека для чтения», 1856, № 8, Критика, стр. 9, 34, 35, 43. Ср.: Б. Ф. Егоров. Критическая деятельность А. И. Рыжова (из истории литературной критики 1850-х гг.). — Ученые записки Тартусского ун-та, т. I, вып. 65, 1958, стр. 75—81.

творчества в биографиях. Анализируя этот труд, В. Каплинский обратил внимание на «неопределенность плана» его: обещание биографа дать подробный анализ литературной деятельности немецкого писателя так и осталось невыполненным. «Лессинг» есть «не ученая монография,—заключает исследователь,—а ряд журнальных статей на общую тему», «публицистическая биография»<sup>1</sup>.

Этот вывод, на наш взгляд, нуждается в уточнении. Существовали две причины, заставившие Чернышевского отказаться от задуманного плана. О первой он сам писал Некрасову 13 февраля 1857 года: «К сожалению, связался я с Лессингом, когда можно бы писать о чем-нибудь другом,— а теперь не хочется бросать без конца. Все эти Лессинги и Краббы и т. п. были хороши два года тому назад. В следующем месяце (№ 4) постараюсь написать или о Штейне (то есть освобождении крестьян и тому подобное в Пруссии), или о железных дорогах <...>» (XIV, 340—341). Иначе говоря, с биографией Лессинга редактор журнала связывал (в числе отмеченных нами выше обстоятельств личного свойства) всеобщий интерес к явлениям литературы в русском обществе, ту роль, которую она имеет и должна сыграть. В письме к Некрасову он говорит об изменениях во вкусах большинства публики, о популярности и актуальности вопросов не литературных, что и должно, по его мнению, отразиться на статьях в «Современнике».

Другая причина отказа от подробного разбора литературных произведений Лессинга—причина, на наш взгляд, более важная—лежит в жанровой особенности работы Чернышевского. Он пишет биографию—и такая определенность типа исследования диктует свои законы. Из сочинений писателя выбираются наиболее существенные в биографическом отношении. Подробно дается полемика с Ланге (IV, 105—115), уничтожившая поэтическую славу одного из «чтимых двором» представителей «пустой» литературной партии. Анализируются «Литературные письма», с которых «начинается для немецкой литературы новая эпоха» (IV, 116, 131—140), драма «Мисс Сара Сампсон», впервые в Германии изобразившая не «холодный блеск и пустозвонное величие» внешности героя, а «действительного человека» (IV, 147), драма «Минна фон Варнгельм», обогатившая немецкую поэзию национальным содержанием (IV, 149). Говорится о «Лаокооне» и «Гамбургской драматургии», утвердивших лессингову репутацию «великого мыслителя и великого ученого» (IV, 151—162). Рассматриваются последние, наиболее известные произведения писателя.

<sup>1</sup> В. Каплинский. «Лессинг» Чернышевского. стр. 214.

Отмеченная В. Каплинским публицистичность жизнеописания Лессинга, вообще свойственная работам революционного демократа, не в том, что эта биография—«ряд журнальных статей на общую тему», а в страстной пропаганде общественной значимости литературы. Поэтому противопоставление «ученой монографии «публицистической биографии» на том основании, что в последней нет полного анализа всех произведений Лессинга, вряд ли убедительно.

Требование исходить в жизнеописаниях из единства личности и творчества позволило Чернышевскому, биографу Лессинга, показать процесс формирования взглядов писателя-демократа, осветить наиболее значительные этапы его творческого пути, выявить историческое своеобразие Лессинга-мыслителя и общественного деятеля, воссоздать характер и индивидуальный облик крупнейшего в XVIII столетии немецкого писателя.

### 3

Чернышевскому приходилось порою полемизировать с теми, кто, подобно Дружинину, признавая существование «тесной связи литературного произведения с частной жизнью самих производителей»<sup>1</sup>, толковал это единство с позиций, далеких от достижений передовой литературной науки. В таких случаях выявлялось различное понимание критиками, биографами назначения и цели жизнеописания.

Так, по мнению Дружинина, в жизни знаменитых писателей следует различать два основных периода. Вначале художнику приходится вести борьбу с нуждой, разочарованиями и другими тяжелыми обстоятельствами. В его произведениях этого периода преобладают «естественные в таких условиях» обличительные тенденции, изображение отрицательного. Затем, выйдя из этого поединка победителем, добившись славы, успеха, богатства, он показывает «утешительные», положительные стороны жизни, «примиряющие» его с нею, демонстрирующие более глубокое проникновение в ее смысл. Наблюдение за борьбой сильного человека «с жизнью и враждебными началами есть зрелище истинно высокое. На этой мысли зиждется поучительная прелесть всех знаменитых биографий»<sup>2</sup>.

Именно эта мысль была положена в основу составленных Дружининым жизнеописаний русского художника П. А. Федотова, Крабба, Вальтера Скотта.

Подобным образом рассматриваются им жизнь и творчество Ч. Диккенса и В. Теккерея. При этом его суждения, вы-

<sup>1</sup> А. В. Дружинин. Собр. соч., т. V, стр. 236.

<sup>2</sup> Там же, стр. 795. Ср. Т. Карлейль. Герои, почитание героев..., стр. 176.



сказанные в рецензии на «Ньюкомы», были противопоставлены той оценке творческого пути английских писателей, какую Дружинин нашел в диссертации Чернышевского (1855 г.), где романы Диккенса названы «приторно сантиментальными», а теккереевские—«полными претензией на иронически злое простодушие» (II, 51). Дружинин требует пристального изучения «Ньюкомов», возвестивших о «широком мирозерцании» писателя. В романе «нет гнева и пристрастия, преувеличенных утопий и зачерненной действительности»; художник изобразил «поэзию жизни», то есть «всю жизнь»<sup>1</sup>. Таковым, по Дружинину, Теккерей предстает во второй период своего творчества. Если «под влиянием нешуточного опыта и борьбы, мужественно выдержанной» писателем, сформировалась «беспощадная наблюдательность», «юмористическая сила»; «беспредельная смелость манеры», то теперь, под влиянием «успеха, славы, денег», «ледяная броня, заковывавшая это многострадальное сердце, начала таять, с каждым днем делаться прозрачнее», и он «Ньюкомами» делает «широкий шаг от отрицания к созданию»<sup>2</sup>. Аналогичный пример, утверждает Дружинин, дает жизнь Диккенса. «Оливер Твист» и «Никльби» «не возобновятся более». Богатство, почет, удача изменили взгляд романиста. «Его юмор стал мягок, его сатира или снисходительна, или слаба по своему преувеличению. В «Тяжелых временах» о горе, о нужде, о дурных сторонах человека беседует с нами поэт очень богатый, очень снисходительный, очень счастливый»<sup>3</sup>. Оба английских писателя, пытается доказать Дружинин, подчинились естественному закону жизни и искусства.

Обращаясь к явлениям русской литературы, в частности, к попыткам создать биографию Гоголя, Дружинин точно так же предлагал авторам видеть в гениальном писателе человека, сумевшего в конце своего жизненного пути отразить действительность в ее радостных и светлых тонах, вопреки прежним (Белинский) и нынешним (Чернышевский) трактовкам этой «поучительной» жизни<sup>4</sup>.

Чернышевский счел необходимым ответить Дружинину, так как разговор шел, в сущности, о путях развития русской литературы и—в этом плане—о принципах построения биографии. В седьмой статье «Очерков гоголевского периода русской литературы» он писал, что «ныне роман Диккенса или Теккерей далеко не возбуждает того интереса у нас, какой бы возбуждал пятнадцать лет тому назад» (III, 245)<sup>5</sup>. На при-

<sup>1</sup> А. В. Дружинин. Собр. соч., т. V, стр. 241.

<sup>2</sup> Там же, стр. 238, 239, 241.

<sup>3</sup> Там же, стр. 237.

<sup>4</sup> А. В. Дружинин. Собр. соч., т. VII, стр. 234—235.

<sup>5</sup> «Современник», 1856, № 10, Критика, стр. 55.

мере «Ньюкомов» критик «Современника» пояснял причины этого явления<sup>1</sup>. Главным недостатком романа Теккерея он считал невысокий идейный уровень произведения, автор которого наивно надеялся устранить порок не изменением общественного строя, породившего губительные язвы, а исправлением нравов (IV, 511—522)<sup>2</sup>.

Исследовать факты биографии писателя, связанные с проявлением определенных сторон его мировоззрения.—в этом и состоит, по Чернышевскому, одна из главных задач жизнеописания. Взгляд критика на судьбу Гоголя наилучшим образом иллюстрирует такую точку зрения:

«Неуместный и неловкий идеализм, столь сильно отразившийся на втором томе «Мертвых душ» и бывший главной причиной не только потери Гоголя для искусства, но и преждевременной кончины его, до сих пор составляет интереснейший вопрос в биографии нашего великого поэта» (IV, 627). Этот взгляд, учитывающий историческое значение писателя и высказанный в духе передовых традиций Белинского и Герцена, предполагал научный анализ фактов жизни художника. Главную причину трагедии Гоголя Чернышевский усматривал в оторванности его от передовых идей века и невозможности в пору торжества реакции удовлетворения глубокой потребности в прогрессивном осмыслении русской действительности (IV, 630, 637)<sup>3</sup>.

Такое объяснение противостояло не только дружининскому, но и многим другим тогдашним толкованиям сущности трагедии Гоголя.

П. Кулиш (Николай М.), составитель первой биографии Гоголя, считал первоисточником всех бед автора второго тома «Мертвых душ» отсутствие благотворного влияния Пушкина на талант и личность писателя<sup>4</sup>. Другие версии были также несостоятельны. «Не потому,—писал С. С. Дудышкин,— что умер Пушкин и Гоголю не с кем было советоваться, как говорит Николай М., сожжен второй том «Мертвых душ», а потому, что новая манера у Гоголя не выработалась, а пользе прежней своей деятельности он перестал верить. Чего хотел Гоголь—ясно этого он нигде не высказывал, и вот этот пункт

<sup>1</sup> «Современник», 1857, № 2, Библиография, стр. 31—42.

<sup>2</sup> Подробнее о полемике см.: Ю. Н. Троицкий. Теккерей в русской критике.—Ученые записки Тульского пед. ин-та, вып. 4, 1953, стр. 180—182, 185—187; М. Л. Селивестров. Диккенс и Теккерей в оценке Чернышевского. Фрунзе, 1954, стр. 45.

<sup>3</sup> А. Лаврецкий. Гоголь в оценке Белинского и Чернышевского.—«Литературный критик», 1938, кн. 4, стр. 109—110; С. О. Машинский. Гоголь и революционные демократы. М., Гослитиздат, 1953, стр. 185—186; Е. И. Покусаев. Николай Гаврилович Чернышевский (очерк жизни и деятельности), стр. 120—121.

<sup>4</sup> «Опыт биографии Н. В. Гоголя». Соч. Николая М., СПб., 1854, стр. 47—48.

мы считаем самым важным в истории развития литературной его деятельности»<sup>1</sup>. Указывая на резкую перемену в писателе и на противоречивость фактов, поясняющих эту перемену, критик вместе с П. Кулишом не мог, однако, объяснить имеющиеся противоречия и, кроме намека на «таинственность художественной программы Гоголя для «Мертвых душ», ничего другого не предлагал<sup>2</sup>. Колебания Дудышкина, «подыскивающегося под личность автора «Мертвых душ», осуждаются А. Григорьевым. Он упрекает современную ему критику в «дряхлости», потому что вслед за Белинским она не поняла «положительной стороны произведений Гоголя». По мнению А. Григорьева, «Рим», будучи прологом к «Мертвым душам», «явно высказал точку зрения великого комика на родной наш русский быт» и полностью «оправдал его во всех возводимых на него клеветах в том, что будто бы он чернит Россию»<sup>3</sup>. Подобную трактовку жизни и творчества Гоголя намечал П. В. Анненков. «Если бы Гоголь ограничился одной ролью художника до конца,—читаем мы в статье 1856 года,—он нашел бы в среде своей работы положительную сторону общества и вывел бы ее на свет так же свободно, как выведена им была другая, которая, по существу своему, всегда на показе и должна была первая попасться ему под руку»<sup>4</sup>. Близкую ко всем этим воззрениям на Гоголя точку зрения предлагал биографам сотрудник «Библиотеки для чтения» А. И. Рыжов. Первая часть «Мертвых душ»,—утверждает он,—«служила только прологом к произведению», в котором автор «думал достигнуть путем отрицания выводов положительных». В результате последующей работы над эпическим романом меняется соответственно и личность Гоголя, и его художническая манера<sup>5</sup>. Непонимание этого «художествен-

<sup>1</sup> «Отечественные записки», 1854, № 11, Критика стр. 18.

<sup>2</sup> Там же, стр. 30. Попутно заметим, что С. С. Дудышкин наиболее всесторонне оценил тогда труд П. Кулиша. Он справедливо высказался против «географической периодизации» жизни и творчества Гоголя, ибо такой метод дает «смутное» представление о его литературной деятельности (Там же, стр. 7—8). Существенным было замечание об излишнем увлечении биографа «личностью Гоголя и каждою его строкою». (Там же, стр. 1). «Не собрав достаточного количества данных, он в своих умозаключениях делает такие скачки, перед которыми запенеет хладнокровный читатель; предубежденный же против личности и произведений Гоголя находит в них повод оставаться по-прежнему предубежденным». (Там же). Все это сказалось на тех отзывах о таланте художника, «которые,—замечает критик,—подали повод к преувеличенному отрицанию в Гоголе всякого таланта, кроме таланта какой-то малороссийской перемешливости». (Там же, стр. 8).

<sup>3</sup> «Москвитянин», 1855, июль, № 13—14. Журналистика, стр. 119, 122, 123, 124.

<sup>4</sup> П. В. Анненков. Воспоминания и критические очерки. Отдел второй. СПб., 1879, стр. 22.

<sup>5</sup> «Библиотека для чтения», 1855, № 9. Науки и искусства, стр. 6, 17, 18.

ного вопроса» биографии писателя — характерный недостаток работы П. Кулиша<sup>1</sup>.

Все эти рекомендации биографам Гоголя показывают, как существенно отличались они от понимания Чернышевским назначения и цели жизнеописания Гоголя. Позиция революционного демократа была более научной, что подтверждено последующим развитием литературоведческой науки.

4

Суждения Чернышевского о характере использования биографических источников дают возможность установить еще некоторые очень важные для раскрытия поставленной темы принципы, которыми руководствовался Чернышевский, биограф и критик.

К основным источникам для жизнеописания, как известно, относятся, кроме сочинений художника, автобиографические сведения, эпистолярное наследие, документы, свидетельства мемуаристов. Только благодаря комплексному изучению этих материалов, по Чернышевскому, возможно воссоздание творческой личности и объективная оценка ее наследия.

В этой связи интересны высказывания революционного демократа относительно создания биографии Гоголя. Он с пристрастием следит за каждым шагом в этом направлении, заботясь о том, чтобы показать важность работы по собиранию материалов для жизнеописания родоначальника наиболее жизненного литературного направления в России.

Чернышевский с сочувствием отзывался в «Отечественных записках» о первом, далеко не совершенном «Опыте биографии Н. В. Гоголя» Николая М. (П. А. Кулиша, 1854), усматривая достоинство собранных материалов в том, что они «бросают много света на самые сочинения Гоголя» (XVI, 28). Второе издание труда П. Кулиша, значительно переработанное и дополненное, было подробно рассмотрено Чернышевским (1856). Называя «Записки о жизни Н. В. Гоголя» «богатым источником для изучения судьбы и личности автора «Мертвых душ» и «Ревизора» (III, 536), критик «Современника» счел нужным указать все же, что «время для полной биографии Гоголя еще не пришло» (III, 525). Не издана обширная корреспонденция писателя, воспоминания о нем, необходимые документальные данные, чтобы можно было научно объяснить сложную и противоречивую жизнь художника.

---

<sup>1</sup> «Библиотека для чтения», 1856, № 8. Критика, стр. 1, 3, 5. Речь идет о книге Николая М. «Записки о жизни Н. В. Гоголя» (СПб., 1856).

Издание П. Кулишом шеститомного собрания «Сочинений и писем Н. В. Гоголя» (1857) послужило поводом вновь обсудить проблему построения биографии великого реалиста. Чернышевский специально останавливается на характеристике всех известных науке биографических источников о Гоголе. Он снова, как и год назад, говорит о «второстепенности» опубликованных воспоминаний, недостаточно затрагивающих «нравственную историю Гоголя» (IV, 627). Остались неизвестными многочисленные ответные письма его корреспондентов, не сказано о «характере тех кружков, к которым принадлежал Гоголь, и тех сословий, среди которых он жил» (IV, 628). Но в целом критик считает возможным выдвинуть, за недостатком «положительных свидетельств», догадки и предположения, уместные во всяком научном исследовании и близкие к истинному объяснению явлений. Чернышевский понимал, что «гипотеза остается гипотезой, пока факты не подтвердят ее», и «редко гипотеза подтверждается фактами во всех своих подробностях так, чтобы не измениться при переходе в достоверную фактическую истину. Довольно уже и того, если она близка к истине» (IV, 630). Анализируя группу источников в целом, он предположительно заявил, что, по существу, Гоголь «никогда не был отступником от стремлений, внушивших ему «Ревизора» (IV, 656), несмотря на безусловно вредные влияния со стороны «друзей» в конце его жизни. Советская наука о Гоголе подтвердила многие из гипотетических выводов революционного демократа.

Одним из условий научности биографического труда Чернышевский считал строгий, четкий, произведенный с передовых идейных позиций отбор фактов, которые предоставляют в распоряжение исследователя биографические источники. Так, автобиографические записки Ж. Санд он сгруппировал таким образом, что романистка явилась «представительницей лучшей части поколения, воспитанного во Франции отчасти воспоминаниями о республике и империи, отчасти мистицизмом Шатобриана и Ламартина, отчасти романтизмом» (III, 344).

Чернышевский далек от безусловного поклонения личности известной писательницы. «Рассказ наш <...> нельзя упрекнуть в излишней доверчивости,—писал он о характере своего перевода,—<...> и оставляет недоразумениям гораздо меньше места, нежели самые записки автора, который часто затемняет дело, отстраняя на второй план важнейшие обстоятельства излишними рассуждениями о том, что или ясно само по себе, или не относится к главному предмету. Надобно вникнуть в эти существенные черты, чтобы сквозь обманчивый колорит экзальтации рассмотреть людей, имевших влияние на развитие и судьбу Жорж Санд, в их истинном виде» (III, 343). Переводчик значительно сокращает текст автобиогра-



фии<sup>1</sup>. Откидывая все, что, по его словам, «бесполезно замедляет биографический рассказ» (III, 341), он существенно изменяет тон «Истории моей жизни», критически относится к оценкам самой Ж. Санд. Благородные попытки писательницы во всем извинить и оправдать описываемых ею лиц решительно им осуждаются: «Мы не обязаны закрывать глаза, чтобы разделять преубеждения автора в их пользу, и постараемся представить их в натуральном свете, основываясь более на фактах, представляемых автором, нежели на его мнениях» (III, 343). Чернышевский выступил против авторской идеализации отца и бабушки мемуаристки, сатирически изложив те страницы книги, где рассказывается о светском парижском обществе.

Иначе познакомила публику с автобиографией Ж. Санд писательница Евгения Тур. Характеризуя автора «Истории моей жизни» как «великого писателя, мыслителя, политического деятеля»<sup>2</sup>, она ничем, однако, не подтвердила этого заявления. Некритически воспринимая сообщаемое автобиографией, она часто увлекается интимными сторонами жизни знаменитой романистки. Излишне подробно передана история семейной жизни Ж. Санд: описания знакомства с К. Дюдеваном, развода с мужем, приезда с ребенком в Париж составило около двенадцати страниц<sup>3</sup>, столько же — изложение обстоятельств знакомства с Шопеном<sup>4</sup>. Осуждаемая Чернышевским экзальтация «Истории <...>», «набрасывающая на многое какой-то фальшивый колорит» (III, 342), Е. Тур, наоборот, полностью оправдывается. В этой горячей защите угадывается прямая полемика с критиком «Современника», сравнительно недавно порицавшим «страшную аффектацию, натянутость и экзальтацию» ее собственных произведений (II, 231). В экзальтации у Ж. Санд «есть зачатки высокого и прекрасного, — пишет Е. Тур — <...> Это божественная искра, вложенная Создателем в душу каждого, но которую слишком часто мелкие заботы жизни и эгоистические цели заглушают в нас; мы не умеем сохранить ее неприкосновенно и раздуть ее в живительный пламень, который, согревая нас самих своею благородною теплотою, согревал бы вместе с тем все и всех, нас окружающих»<sup>5</sup>. Рассказ Е. Тур отличался не меньшей экзальтацией, чем автобиография Ж. Санд, и в итоге читателям «Русского вестника» представлялся далеко не тот облик писательницы, какой мы находим у Чернышевского.

<sup>1</sup> Исключения, произведенные Чернышевским, обстоятельно прослежены в статье А. П. Скафтымова «Чернышевский и Ж. Санд». — В кн.: А. П. Скафтымов. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958, стр. 224—225.

<sup>2</sup> «Русский вестник», 1856, № 9, стр. 76.

<sup>3</sup> «Русский вестник», 1856, № 12, стр. 703—715.

<sup>4</sup> Там же, № 14, стр. 690—702.

<sup>5</sup> Там же, стр. 704.



Исследовательское, критическое отношение к биографическим источникам, стремление восстановить путем их научного анализа облик писателя, так или иначе откликнувшегося на требование народной жизни, — в этом состояло главное отличие трудов Чернышевского от работ современных ему биографов.

5

Каким же образом решался в русской критике 1850-х годов вопрос о типе биографических трудов?

Биография—явление искусства, и она не может и не должна быть никакой другой, кроме как художественной. С таким заявлением выступил А. В. Дружинин. «Малое, крайне малое число биографий стоят названия поэм по своей общедоступности»,—писал он в «Воспоминаниях о русском художнике Павле Андреевиче Федотове»<sup>1</sup>.

О «новом современном направлении, вследствие которого биографии становятся похожи на романы и романы на биографии», писал в «Современнике» же К. Д. Ушинский. По его мнению, соединение их «в один ряд произведений отнимает у них обоим то, что составляет их характеристическую и необходимую особенность,—у биографии: строгость истины, строгость, иногда сухую, но необходимую; у романа: возможность страстной поэтической концепции, может быть идеальной, но необходимой в произведении поэзии»<sup>2</sup>.

Чернышевскому не было свойственно отрицание художественных биографий. Он не против умело отобранных фактов, ярко рисующих характер личности. В способности схватить «живое лицо писателя» видится ему положительное качество лекций Теккерея об английских юмористах (XVI, 28). Высоко оценены «Четыре исторические характеристики» Т. Н. Грановского, которые «соединяют верность ученого понимания с увлекательным изложением» (III, 368). Однако от жизнеописания художественного Чернышевский отличал биографию как «ученый труд», по его мнению, более полезный русскому читателю, едва начавшему вырабатывать самостоятельный «образ мыслей». Эта потребность русской публики, отмечал Чернышевский, учтена Анненковым: «<...> Исследователь дает нам завершенную картину жизни и творчества Пушкина», «ученый труд в его окончательной форме» (II, 428. Курсив наш—А. Д.).

Такая позиция и оценка вызвали полемические возражения Дружинина, сформулированные наиболее отчетливо в его

<sup>1</sup> «Современник», 1853, № 2, отд. II, стр. 55; А. В. Дружинин. Собр. соч., т. 7, стр. 668. Ср. Т. Карлейль. Вальтер Скотт.—В кн.: Т. Карлейль. Критические и исторические опыты. М., 1878, стр. 403.

<sup>2</sup> «Современник», 1854, № 3. Иностранные известия, стр. 61; К. Д. Ушинский, Собр. соч., т. 1, М.-Л., 1948, стр. 713—714.

третьей статье о Пушкине<sup>1</sup>. Воспользовавшись выходом в свет очередных (III и V) томов анненковского издания сочинений поэта, Дружинин вернулся к обсуждению первого тома. Он высказал ряд полезных советов с целью облегчить чтение «Материалов для биографии А. С. Пушкина»: писал о необходимости разделения книги на главы, обратил внимание на отсутствие предметного указателя, отметил неполноту комментариев<sup>2</sup>. Проникнуты заботой о памяти поэта те страницы статьи, где автор призывает к бережному собиранию мемуаров, предлагает особый метод беседы с людьми, знавшими Пушкина<sup>3</sup>. Свои усилия Дружинин сосредоточил, однако, на другом—на выявлении главного, по его мнению, недостатка большинства биографий, который заключается в отсутствии «босвеллизма». Именно эти места статьи звучали полемически против утверждений Чернышевского.

«Босвеллизмом» Дружинин называет художественное воспроизведение характера описываемой личности, достигаемое умелым и тактичным отбором мельчайших фактов бытовой стороны ее жизни. До англичанина Босвелля, написавшего биографию писателя Джонсона, автор жизнеописания «советился говорить с читателем о привычках своего героя, о цвете его волос, о его квартире, о его одежде, о его причудах и особенностях, оттого до времени Босвелля почти не имелось удовлетворительных биографий, а после него их можно считать десятками»<sup>4</sup>. К лучшим биографам-босвеллистам Дружинин относит Карлейля и Маколея, способного, по словам одного из современников Дружинина и Чернышевского, «жертвовать для поэтической стороны предмета историческою истиною»<sup>5</sup>. В русской же литературе,—с сожалением отмечал

<sup>1</sup> Она опубликована в следующей книге «Библиотеки для чтения» после появления известных двух его статей о Пушкине (1855, № 3, 4), вошедших в «Собрание сочинений А. В. Дружинина» (т. 7, стр. 30—82). Принадлежность ему этой третьей статьи указана в «Списке сочинений А. В. Дружинина», составленном Н. В. Гербелем. См.: А. В. Дружинин. Собр. соч., т. 2, стр. 592. В последнее время об этой статье Дружинина как о заслуживающей пристального внимания упомянуто в работе М. Г. Зельдovichа «Статьи Н. Г. Чернышевского о Пушкине в общественно-литературной борьбе 50-х годов».—В сб.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, т. 4. Саратов, 1965, стр. 18.

<sup>2</sup> «Библиотека для чтения», 1855, № 5, Литературная летопись, стр. 3, 5.

<sup>3</sup> Там же, стр. 12—14.

<sup>4</sup> «Библиотека для чтения», 1855, № 5, Литературная летопись, стр. 7.

<sup>5</sup> Г. Вызинский. Лорд Маколей, его жизнь и сочинения.—В кн.: Маколей. Полн. собр. соч., изд. Н. Тиблена, т. 1, СПб., 1860, стр. XIV. В «Дневнике» Дружинина имеется следующая характерная запись от 17 августа 1854 года: «Кончаю Жизнь Драйдена, соч. В. Скотта. Это книга плохая, написанная вяло, но довольно обильная фактами. Как жалка и ничтожна названная монография после статей в том же роде Карлейля и Маколея, даже лорда Джеффри!» (ЦГАЛИ, ф. 167, оп. 3, ед. хр. 108, л. 155. Очевидно, Дружинин имеет в виду «Life and works of John Dryden», 1808).

критик «Библиотеки для чтения»,—«весьма мало биографий, в которые входила бы должная или, по крайней мере, незначительная часть босвеллизма, оттого эти биографии или сухи, или дороги одним специалистам»<sup>1</sup>. Труд «отличного биографа» сравнивается в статье не с исследовательским, как у Чернышевского, а с трудом романиста, ибо они в равной степени должны «всегда иметь в виду фантазию своего читателя»<sup>2</sup>.

Вскоре, став редактором журнала, Дружинин усиленно популяризирует свои взгляды. Биографический отдел «Прописки» — сборника, издаваемого П. Леонтьевым, — характеризуется в «Библиотеке для чтения» исключительно с точки зрения «увлекательности и художественности» описаний<sup>3</sup>. В журнале пропагандируются биографические труды Маколей<sup>4</sup>, Льюиза — автора «увлекательных» работ о жизни Гете<sup>5</sup>.

«По-дружинински» рассматриваются жизнеописания и «Отечественными записками». «От биографа нашего времени мы вправе требовать <...> художественно выработанного труда», — писал рецензент немецких изданий Шефера и Льюиза о Гете<sup>6</sup>. Сравнивая их, он отдавал предпочтение Льюизу: «<...> один исполнил свою задачу как труженик, другой — как поэт»<sup>7</sup>. На страницах того же журнала читателям рекомендуется в качестве лучшей работы о Шиллере «биографическое художественное произведение Шерра»<sup>8</sup>.

Для Чернышевского важны не описания внешнего облика писателя со всеми мельчайшими подробностями, не использование «босвеллизма» как обязательного и единственного средства к достижению художественности биографии, а научное исследование фактов биографии творческой личности, оказавшей на жизнь своего народа «благотворное влияние». Маколей действительно полон «блеска изложения», «из него с удовольствием узнаете вы фактические подробности событий, с которыми до него были знакомы лишь немногие специалисты», но Маколей лишен самостоятельности воззрения, писал Чернышевский, рецензируя первый том русского издания сочинений английского историка (1860). «Бесхарактерность мысли, при высокой оригинальности изложения, лишает нас возможности говорить собственно об убеждениях Маколея» (VII, 392, 393). Приговор касался, естественно, и биогра-

<sup>1</sup> «Библиотека для чтения», 1855, № 5, Литературная летопись, стр. 7.

<sup>2</sup> Там же, стр. 8, 11.

<sup>3</sup> «Библиотека для чтения», 1856, № 6, Критика, стр. 45.

<sup>4</sup> Там же, 1856, № 9. Науки и искусства, стр. 45—96. Там же, 1857, № 2. Смесь, стр. 136—140.

<sup>5</sup> Там же, 1857, № 2. Науки и искусства, стр. 149—212.

<sup>6</sup> «Отечественные записки», 1858, № 11, отд. III, стр. 1.

<sup>7</sup> Там же, стр. 4, 8.

<sup>8</sup> Там же, 1860, № 1, Иностранная литература, стр. 25—26.

фических работ этого писателя, включенных в рецензируемую книгу. Таким образом, Чернышевский специально указывал на необходимость в биографических монографиях ясно выраженной позиции самого биографа, его взгляда, его общественного пафоса.

Выступления Чернышевского против «биографического» метода, против «босвеллизма» в защиту научного жизнеописания делают его высказывания значительными для советской биографики. Рассмотренные в совокупности, они позволяют сделать следующие выводы. Назначением биографии является изображение творческой личности, воссоздание конкретных условий, в которых пришлось жить и творить художнику. Если жизнеописание—«ученый труд», то, по Чернышевскому, цель биографии—в установлении исторического места писателя, в кропотливом изучении оказавших на него непосредственное воздействие внешних обстоятельств, слагающихся из общеисторических, общественно-социальных факторов, а также выводимых из знания ближайшего окружения писателя (семейного, дружеского, враждебного). Обнаружение единства личности и творчества, посредством которого высказываются прогрессивные или отсталые взгляды писателя, объяснение причин и следствия переломных моментов в жизни и творчестве—также цель жизнеописания. Научность исследования не будет достигнута, как бы предупреждал Чернышевский, если биограф сам не проникнется прогрессивными устремлениями времени и потребностями «народного развития», если не сумеет произвести с этих позиций критический отбор фактов, извлеченных из первоисточников. Чернышевский умел видеть в биографии не отвлеченный, схоластический, сухой, безынтересный анализ жизни писателя, но труд, исполненный научного достоинства и, вместе с тем, гражданской определенности. Составленное с «приноравливаниями к нашим домашним обстоятельствам» (XIV, 313) жизнеописание Лессинга—яркий пример плодотворности и жизненности этой передовой для своего времени методологии.

А. М. ГАРКАВИ

## ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И СТИХОТВОРЕНИЕ НЕКРАСОВА «ПОЭТ И ГРАЖДАНИН»

«Поэт и гражданин» (1856)—одно из известнейших стихотворений Н. А. Некрасова, замечательный манифест передового, революционно-демократического искусства. В стихотворении отразился творческий опыт Некрасова, его многолетние раздумья о жизни и литературе.

Несомненно также, что в стихотворении «Поэт и гражданин» сказалось большое и благотворное влияние эстетики Чернышевского. В настоящее время это признано всеми исследователями. Как уже отмечалось, воздействие идей Чернышевского, которое испытал в ту пору Некрасов, шло двумя путями: через печатные работы Чернышевского и в процессе живого общения двух великих демократов, которое было тогда весьма интенсивным<sup>1</sup>.

Нам хотелось бы несколько конкретизировать эти общие представления о путях и характере воздействия эстетики Чернышевского на Некрасова, как на автора стихотворения «Поэт и гражданин».

\* \* \*

Более полувека назад было высказано мнение, что в «Поэте и гражданине» Некрасов вывел Чернышевского в образе одного из двух персонажей стихотворения — Гражданина (а самого себя в образе второго персонажа — Поэта). В 1911 году Е. А. Ляцкий писал, что стихотворение «наглядно воспроизводит одну из типичнейших бесед Чернышевского с Некрасовым»<sup>2</sup>. Это мнение развил В. Е. Евгеньев-Максимов, который в своей книге «Н. А. Некрасов и его современники» (1930)

<sup>1</sup> См.: В. Евгеньев-Максимов. Н. А. Некрасов и его современники. М., «Федерация», 1930, стр. 202—206.

<sup>2</sup> Евг. Ляцкий. Н. Г. Чернышевский в редакции «Современника». — «Современный мир», 1911, № 10, стр. 170.

указал, что в стихотворении «довольно точно обрисована та бытовая обстановка, в которой происходили беседы Чернышевского с Некрасовым, затем воспроизведены почти дословно подбадривания, адресованные хандрящему Некрасову Николаем Гавриловичем; наконец, в словах Некрасова о гражданском призвании поэта, о состоянии современного общества, о неизбежности борьбы слышатся явные отголоски мнений Чернышевского»<sup>1</sup>. Тут же В. Е. Евгеньев-Максимов подметил, что слова Гражданина, обращенные к Поэту: «Твои поэмы бестолковы, твои элегии не новы<...>, твой стих тягуч» и т. п., — противоречат оценке поэзии Некрасова Чернышевским; это «несоответствие» исследователь связывал с «врожденной скромностью» Некрасова<sup>2</sup>.

Однако вся эта прямолинейно биографическая трактовка стихотворения оказалась несостоятельной. Был опубликован черновик некрасовской поэмы «В. Г. Белинский», из которого явствует, что один из монологов Гражданина («Напрасно быть толпе угодней...» и т. д., отдельно печатавшийся под заглавием «Русскому писателю»), по первоначальному замыслу Некрасова, вкладывался в уста не Чернышевского, а Белинского<sup>3</sup>. Поэтому В. Е. Евгеньев-Максимов, пересмотрев свою точку зрения, пришел к выводу, что в образе Гражданина отражены черты и Чернышевского, и Белинского<sup>4</sup>. Другой отрывок из речей Гражданина (соответствующий стихам 50—65 окончательного текста стихотворения) был в черновом автографе озаглавлен «Самому себе», то есть оформлен Некрасовым как автопризнание. Все это говорит о том, что образ Гражданина не может быть сведен к какому-то одному прототипу: это обобщенный образ демократа-революционера.

И все же связь образа Гражданина с личностью Чернышевского, а монологов Гражданина с проповедью Чернышевского представляется несомненной. Вложенные в уста Гражданина призывы к революционной борьбе, программные высказывания о гражданском назначении искусства—все это напоминает прежде всего о Чернышевском. Характерно, что и время действия в стихотворении приурочено к середине 1850-х годов («В ночи, которую теперь мы доживаем боязливо» — явный намек на только что закончившуюся полосу «мрачного семилетия» 1848—1855 г.), к той эпохе, когда выступления

<sup>1</sup> В. Евгеньев-Максимов. Н. А. Некрасов и его современники, стр. 201.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Памяти Н. А. Некрасова. К пятидесятилетию со дня смерти. М., изд. Русского Общества друзей книги, 1928, <стр. 19>.

<sup>4</sup> В. Евгеньев-Максимов. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. II, М.—Л., Гослитиздат, 1950, стр. 224—225.



Чернышевского по вопросам эстетики и другие его боевые статьи уже находились в центре внимания русской общест-венности.

Результатом художественного обобщения является и об-раз другого персонажа—Поэта. Психологическому облику Поэта Некрасов придал некоторые свои черты, в значитель-ной мере обусловленные тяжелой болезнью, которая принес-ла Некрасову много страданий. Уже из первых строк сти-хотворения мы узнаем, что Поэт «хандрит и еле дышит». Чер-нышевский, как известно, помогал Некрасову преодолевать подобные настроения<sup>1</sup>. Увидев в монологах Поэта отголосок этих личных обстоятельств. Чернышевский писал Некрасову 5 ноября 1856 г.: «...Вы говорите не о любви к женщине, а о любви к людям—но тут еще меньше права имеете Вы уны-вать за себя:

Клянусь, я честно ненавидел,  
Клянусь, я искренно любил!

Не вернее ли будет сказать Вам о себе:

...я честно ненавижу,  
...я искренно люблю!» (XIV, 324).

Но неправильно было бы отождествлять Поэта-персонажа с самим Некрасовым. Характеристика творческого пути, со-общаемая Поэтом, не может быть понята как самооценка Не-красова. К некрасовской поэзии можно отнести лишь слова Поэта о его юношеской поэзии, честной и искренней, проник-нутой высоким гражданским чувством:

Без отвращения, без боязни  
Я шел в тюрьму и к месту казни,  
В суды, в больницы я входил.  
Не повторяю, что там я видел...  
Клянусь, я честно ненавидел!  
Клянусь, я искренне любил!

Показательно, что именно эти стихи Чернышевский осмыс-лил как самопризнание Некрасова. Дальнейший же рассказ Поэта о своем творческом пути резко расходится с тем, что мог бы сказать Некрасов о своей поэзии. Поэт-персонаж со-общает о себе, что двадцати лет он, под давлением внешних обстоятельств, изменил своим идеалам и с тех пор пишет лишь о природе («добродушно воспеваает» «то гром небес, то ярость моря») да бичует «маленьких воришек для удовольст-вия больших» (имеется в виду либеральное обличение от-дельных злоупотреблений, зачастую благосклонно встречав-

---

<sup>1</sup> См.: Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XIV, М., Гос-литиздат, 1949, стр. 323—325. В дальнейшем ссылки на это издание дают-ся в тексте (римской цифрой обозначается том, арабской—страница).

шеися столпами помещичье-буржуазного мира). Так писать о себе Некрасов не мог и не имел никаких оснований<sup>1</sup>.

В данном случае нас особенно интересуют те эстетические принципы, которые воплощены в монологах Поэта. В новых статьях о Некрасове есть тенденция рассматривать Поэта как адепта «чистого искусства». Сторонники этого мнения ссылаются на то, что Поэт в стихах Некрасова «с восторгом» указывает на известные строки из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа»: «Не для житейского волненья»,—воспринимавшиеся в то время как лозунг «чистого искусства»<sup>2</sup>.

Однако Поэт-персонаж выведен отнюдь не как убежденный приверженец школы «чистого искусства». Ведь, восхищаясь пушкинским четверостишием (кстати сказать, им восхищается и Гражданин: «Да, звуки чудные...»), Поэт в то же время понимает, что его собственное творчество оскудело, как только он, изменив гражданским идеалам своей юности, отдал дань «чистому искусству» (и либеральному обличительству): «...Муза вовсе отвернулась, презренье горького полна». Это заключительный итог сложных и противоречивых размышлений Поэта-персонажа о поэзии. И нельзя не признать, что этот итог перекликается с требованиями революционно-демократической эстетики: ср., напр., у Чернышевского: «Стремления, отвлеченные от действительной жизни, бессильны; поэтому, если когда стремление к прекрасному и усиливалось действовать отвлеченным образом (разрывая свою связь с другими стремлениями человеческой природы), то не могло произвести ничего замечательного даже и в художественном отношении» (III, 237).

Таким образом, идеи революционно-демократической эстетики нашли в стихотворении «Поэт и гражданин» всестороннее воплощение не только в монологах Гражданина, но отчасти и в монологах Поэта: на «отрицательном опыте» Поэта показано, насколько губительно для художественного творчества забвение гражданских идеалов.

\* \*

В научной литературе много говорилось о близости идейных установок стихотворения «Поэт и гражданин» с такими программными трудами Чернышевского, как «Эстетические отношения искусства к действительности» и «Очерки гоголевского периода русской литературы».

---

<sup>1</sup> Подробнее об этом — в моей статье «Обоснование революционно-демократической эстетики в поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х годов». — Ученые записки Калинингр. пед. ин-та, вып. I, 1955, стр. 40—41.

<sup>2</sup> См.: М. Гин. Манифест революционно-демократической поэзии. (Стихотворение Некрасова «Поэт и гражданин»). — «Литература в школе», 1962, № 6, стр. 11.

Эти общие соображения, как нам кажется, могут быть конкретизированы. Напрашивается сопоставление «Поэта и гражданина» с рассуждениями Чернышевского о патриотизме и гражданском характере русской литературы в 4-й статье «Очерков гоголевского периода...» Это та самая статья, по поводу которой Некрасов писал 29 марта 1856 г. цензору В. Н. Бекетову: «Бога ради, восстановите вымаранные Вами страницы о Белинском <...>. Пробегите эти страницы и решите спокойно: могут ли они кого-нибудь раздражить и вызвать бурю? Клянусь, нет», и т. д.<sup>1</sup>. Письмо не оставляет никаких сомнений в том, что Некрасов отлично знал текст этой статьи Чернышевского. Надо также учесть, что «Поэта и гражданина» Некрасов создал в основном (если не считать нескольких написанных раньше небольших отрывков) летом 1856 года<sup>2</sup>, то есть вскоре после появления статьи Чернышевского. Поэтому переключка стихотворения со статьей вряд ли может быть объяснена простой случайностью.

Чернышевский в своей статье писал: «...Историческое значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами родине, его человеческое достоинство — силою его патриотизма» (III, 137)—и в подтверждение этой мысли ссылаясь на гражданскую и патриотическую направленность творчества крупнейших русских писателей XVIII и первой половины XIX века. Этой же заботой о том, чтобы русская литература верно служила общественным идеалам, этим же пафосом гражданского патриотизма проникнуты и речи Некрасовского Гражданина, который обращается к Поэту с призывом: «Будь гражданин! служи искусству, для блага ближнего живи...» и т. д.—и восклицает:

Не может сын глядеть спокойно  
На горе матери родной,  
Не будет гражданин достойный  
К отчизне холоден душой...

Помимо общности идейной платформы, можно отметить и некоторые частные совпадения. Стремясь в четкой, афористической форме выразить мысль о том, что русский писатель должен раньше всего быть гражданином, Чернышевский и Некрасов обратились к одному и тому же литературному источнику. Чернышевский писал: «...Ни в ком из наших великих писателей не выражалось так живо и ясно сознание своего патриотического значения, как в Гоголе. Он прямо себя считал человеком, призванным служить не искусству, а отечеству; он думал о себе:

<sup>1</sup> Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X, М., Гослитиздат, 1952, стр. 269—270.

<sup>2</sup> К «Поэту и гражданину» относятся слова Некрасова в письме к И. С. Тургеневу от 27 июня 1856 г.: «Пишу длинные стишечки и устал». — Там же, стр. 281.

Я не поэт, я гражданин»<sup>1</sup> (III, 137).

Общеизвестно, что этот же стих Рылеева был источником афоризма, вложенного в некрасовском стихотворении в уста Гражданина и обращенного к Поэту:

Поэтом можешь ты не быть,  
Но гражданином быть обязан<sup>2</sup>.

Вполне возможно, что именно статья Чернышевского напомнила Некрасову о рылеевском стихе; во всяком же случае несомненно, что мысль Некрасова и Чернышевского работала в одном направлении.

Характерно также, что в статье Чернышевского и в стихотворении Некрасова отразилась одна и та же теоретико-литературная концепция (она, конечно, не может быть принята нами, но соответствовала уровню развития русской эстетической мысли в середине XIX века), согласно которой выдающиеся писатели должны быть подразделены на две группы: первая—творцы вечных образцов искусства; вторая—писатели, посвятившие свой талант гражданскому служению родине<sup>3</sup>.

К первой группе Чернышевский в рассматриваемой статье отнес некоторых зарубежных писателей: Шекспира, Ариосто, Корнеля, Гете. Что же касается русских писателей, то только те из них, по мысли Чернышевского, оказались достойными признания, которые служили общественным целям; к таким писателям Чернышевский отнес Ломоносова, Державина, Карамзина, Пушкина, Гоголя (III, 136—137).

Необходимо, впрочем, заметить, что отношение Чернышевского к наследию Пушкина было противоречивым. Преклоняясь перед гением Пушкина, признавая огромные заслуги Пушкина в деле развития русской литературы и русского просвещения, Чернышевский тем не менее в ряде статей оценивал Пушкина как поэта-художника, индифферентного к общественным вопросам (см., напр., II, 473; III, 21); при этом Чернышевский иногда ссылался на стихотворение Пуш-

---

<sup>1</sup> Цитата не вполне точна; у Рылеева в посвящении к поэме «Войнаровский»: «Я не поэт, а гражданин». Имя Рылеева в статье Чернышевского не было названо, очевидно, из цензурных соображений.

<sup>2</sup> Более подробное сопоставление этих стихов Рылеева и Некрасова см. в кн.: Н. Степанов. Н. А. Некрасов. М., Гослитиздат, 1962, стр. 75.

<sup>3</sup> Эта концепция была выражена и в других, более ранних статьях Чернышевского (см., напр., II, 473; III, 21). Ср. также в письме Некрасова к В. П. Боткину от 16 сентября 1855 г.: «Дарования всегда разделялись и будут разделяться на два рода: одни колоссы, рисующие человека так, что рисунок делается понятен и удивителен каждому без отношения к месту и времени (таковы Шекспир, пожалуй, отчасти наш Пушкин и т. п.), другие: которые не могут иначе понять и изображать человека, как в данной обстановке <...>» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X, стр. 247).

кина «Поэт и толпа» (II, 474)<sup>1</sup>. Точно такую же непоследовательность в оценке пушкинского творчества допускал в середине 1850-х годов и Некрасов. В своих «Заметках о журналах» он то подчеркивал прогрессивный общественный смысл поэзии Пушкина<sup>2</sup>, то в полемике с теорией «чистого искусства» нападал на стихотворение Пушкина «Поэт и толпа»<sup>3</sup>. Примечательно, что в цитированном нами письме к В. П. Боткину от 16 сентября 1855 г., относя творчество Пушкина к «вечным» образцам искусства, Некрасов делал это не без колебаний («пожалуй отчасти наш Пушкин»).

В стихотворении «Поэт и гражданин» Пушкин представлен именно как творец «вечных» созданий искусства, далекий от социальной борьбы. Отношение Некрасова к Пушкину, отличающееся большой сложностью, выражено здесь ярче всего в монологах Гражданина. Гражданин говорит Поэту: «Твои стихи живее к сердцу принимаю» (чем стихи Пушкина), однако он восхищен «поразительной силой» звуков пушкинской поэзии. Указывая на исторические заслуги Пушкина перед Россией, перед русской поэзией, Гражданин сопоставляет Пушкина с солнцем (см. стихи «Но так без солнца звезды видны...», «Моли, чтоб солнца он дождался...», «Нет, ты не Пушкин. Но покуда не видно солнца ниоткуда...»). В этой сложности, противоречивости, в этой глубине суждений о Пушкине Некрасов еще раз перекликается с Чернышевским.

Сопоставление «Поэта и гражданина» со статьями Чернышевского наглядно показывает, что Некрасов и Чернышевский работали в близком контакте; эстетические идеи, воплощенные в «Поэте и гражданине», как в деталях, так и по существу совпадают со взглядами Чернышевского.

\* \* \*

«Поэт и гражданин» был опубликован в первом издании «Стихотворений» Некрасова, вышедшем в свет 19 октября 1856 года.

<sup>1</sup> Стихотворение «Поэт и толпа» в течение нескольких десятилетий несправедливо считалось декларацией «чистого искусства». Выступив против такого толкования, М. Горький в 1909 году высказал глубокую мысль, что в этом стихотворении Пушкин под «черню» подразумевал не народ, а «светское, столичное общество» (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти т., т. 24, М., Гослитиздат, 1953, стр. 94). Эта точка зрения принята и обоснована советскими литературоведами; ее правильность подтверждается документальными материалами.

О сложности, глубине и противоречивости высказываний Чернышевского о Пушкине см.: Е. И. Покусаев. Н. Г. Чернышевский. М., Учпедгиз, 1960, стр. 106—116; А. Лаврецкий. Эстетические взгляды русских писателей. М., Гослитиздат, 1963, стр. 242—248; М. Г. Зельдович. Статьи Н. Г. Чернышевского о Пушкине в общественно-литературной борьбе 50-х годов.—В сб.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, т. 4. Саратов, 1965, стр. 5—39.

<sup>2</sup> Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 364.

<sup>3</sup> Там же, стр. 296.

Чернышевский собирался написать статью об этой книге. Поскольку поместить статью в «Современнике» было бы неудобно («Современник» не мог судить о книге своего редактора), Чернышевский предложил ее А. В. Дружинину, редактировавшему журнал «Библиотека для чтения». Однако Дружинин отклонил предложение Чернышевского. 5 ноября 1856 года Чернышевский сообщил Некрасову: «Мне очень хотелось написать о Ваших стихотворениях. Поэтому я просил Ивана Ив. <Панаева> сказать Дружинину, что я желал бы поместить в «Библ. для чтения» статью о Вас,—и, не успокоившись на этом, сам был у Друж. с выражением того же желания. Он принял меня, как и сообразно с его правилами, очень любезно, но отвечал, что сам уже написал статью о Вашей книге (это справедливо),—впрочем, я и полагал, что он не согласится,—ведь дело идет о принципах, по мнению Дружинина, и было бы изменою этим принципам позволить мне писать в «Библ.» о таком предмете, как Ваши стихотворения» (XIV, 322).

Несомненно, что, отклоняя просьбу Чернышевского, Дружинин руководствовался мотивами, подсказанными литературной борьбой 50-х годов: апологет «чистого искусства» не мог пропустить в своем журнале статью, которая неизбежно (сочетание имен Чернышевского и Некрасова не оставляло на этот счет никаких сомнений) превратилась бы в программное выступление революционной демократии. Однако примечание к письму Чернышевского: «Возможно, что ссылка на нее (статью Дружинина о «Стихотворениях» Некрасова.—А. Г.) была для Дружинина только благовидным предлогом для того, чтобы отказаться от предложения Чернышевского» (XIV, 806)—нуждается в коррективе. Ссылка Дружинина на статью, которую он писал, не была фиктивной.

Статья эта, до последнего времени ускользавшая от внимания исследователей, любопытна, между прочим, тем, что в ней содержались резкие выпады против Чернышевского: прокламируя свои эстетские взгляды, Дружинин негодовал по поводу «журнальных выходов против искусства чистого и ребяческих толков о том, что искусство не может существовать без дельной мысли. Одна строка из подобного рода диссертаций,—продолжал Дружинин,—показывает яснее дня, до какой степени самые основные, необходимые понятия о сущности слова *искусство* незнакомы составителям таких диссертаций. Как бы то ни было, подобные люди читают русских поэтов и даже судят о русских поэтах»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> См.: М. Г. Зельдович. Неопубликованная статья А. В. Дружинина о Некрасове.—«Некрасовский сборник», IV, Л., «Наука», 1967, стр. 245. Вкравшуюся в эту публикацию опечатку (вместо «понятия» — «познания») исправляем по автографу Дружинина (ЦГАЛИ СССР,



Извращая смысл некрасовской поэзии, Дружинин в своей статье силился доказать, будто талант Некрасова в основе своей не связан с «дидактикой», под которой Дружинин подразумевал передовое, гражданское направление в литературе. Поэтому естественно, что стихотворение «Поэт и гражданин», в котором эстетические воззрения Некрасова выразились наиболее четко, вызвало у Дружинина неудовольствие. Он писал: «Гражданин и поэт», невзирая на энергию многих стихов, на два или три поэтические места, на тщательность обработки, редкую у поэта нашего,—есть, по нашему мнению, произведение неудачное по форме и крайне шаткое по идеям, в нем изложенным»<sup>1</sup>.

Статья Дружинина не была напечатана<sup>2</sup>. Передовые же читатели встретили книгу Некрасова с восторгом. Огромный успех ее был обусловлен прежде всего ее боевым, революционно-демократическим звучанием—это наглядно свидетельствует о ложности и предвзятости критических замечаний Дружинина.

Извещая о выходе книги Некрасова в свет, Чернышевский в краткой информационной заметке (появившейся в № 11 «Современника» за 1856 г.) перепечатал несколько наиболее ярких стихотворений Некрасова, в том числе и стихотворение «Поэт и гражданин» (см. III, 615—624).

---

ф. 167, оп. 3, № 98, л. 3 об.). В автографе вместо слов «основные, необходимые понятия» первоначально было «поверхностные, гимназические понятия» (не опубликовано), что в данном случае звучало, конечно, еще грубее. В словах о «составителях диссертаций» содержится прямой пасквильный намек на Чернышевского и его диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности».

<sup>1</sup> М. Г. Зельдович. Неопубликованная статья А. В. Дружинина о Некрасове, стр. 249.

<sup>2</sup> Очевидно, из-за цензурного запрета 30 ноября 1856 г. министр народного просвещения А. С. Норов отдал распоряжение, «чтобы впредь не было дозволяемо новое издание «Стихотворений Н. Некрасова» и чтобы не были печатаемы ни статьи о сей книге, ни выписки из оной» (Мих. Лемке. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия, СПб., книгоиздательство М. В. Пирожкова, 1904, стр. 313).

Возможно, что в связи с теми же обстоятельствами Дружинин не закончил свою статью (в архиве сохранилось ее начало на 8 листах).

Г. Н. АНТОНОВА

### ЧЕРНЫШЕВСКИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННО- ФИЛОСОФСКОЙ ПРОЗЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ СОРОКОВЫХ-ПЯТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ XIX ВЕКА

Г. В. Плеханов, отметив, что Чернышевскому «очень нравится» мысль Аристотеля о «философском достоинстве» искусства, писал: «Конечно, на самом деле взгляд Аристотеля мог быть объяснен в том чисто теоретическом смысле, какой придал ему Гегель в своей «Эстетике» и какой мы чаще всего встречаем в касающихся этого предмета рассуждениях Белинского. Но Чернышевский, подобно Лессингу, истолковывает его в дорогом для «просветителей» практическом направлении»<sup>1</sup>. Подчеркнув, что в высказываниях Чернышевского преобладало просветительское сближение задач искусства и науки (философии), Плеханов справедливо отделил здесь Чернышевского от Белинского. В то же время, замечал Плеханов, это не значит, что Чернышевский «отождествляет искусство с наукою»<sup>2</sup>.

Высказывания Плеханова при всей их глубине носили слишком общий характер и не освещали отношения Чернышевского к тому или иному произведению художественно-философского жанра.

Наиболее полное освещение данной проблемы возможно лишь в том случае, если будут осмыслены конкретные отзывы Чернышевского о произведениях, которым свойственны существенные признаки этого жанра. Одновременно необходимо уяснить, в какой связи находятся соответствующие высказы-

---

<sup>1</sup> Г. В. Плеханов. Литература и эстетика, т. I, М., Гослитиздат, 1958, стр. 486.

<sup>2</sup> Там же, стр. 477.

вания Чернышевского с его теоретическими суждениями о беллетристике философского типа<sup>1</sup>.

Изучение интересующего нас вопроса осложняет то обстоятельство, что еще не определен полностью круг произведений художественно-философского жанра в русской литературе сороковых-пятидесятых годов. К нему относят «Героя нашего времени» Лермонтова, «Доктора Крупова» и «Кто виноват?» Герцена, «Противоречия» и «Запутанное дело» Салтыкова. Чернышевский включает в этот круг произведений и роман Тургенева «Рудин». Как соотносится тургеневский роман с русской художественно-философской литературой названных лет? Какова поэтика Рудина?

## 1

В обширной литературе о Тургеневе «Рудин» именовался обычно социально-психологическим романом. Это определение, несмотря на его очевидную справедливость, не охватывает всей жанровой специфики тургеневского произведения. В действительности «Рудину» свойственны и некоторые существенные признаки философского жанра, ярким образцом которого в русской литературе XIX века явилась проза Герцена сороковых годов. Поэтика «Рудина» особенно близка к поэтике романа Герцена «Кто виноват?».

Элементы философского повествования в «Рудине» обусловлены были самим конфликтом романа. Подобно Герцену, Тургенев поставил в своем произведении важнейший вопрос эпохи—о возможности «практики», основанной на логическом понимании закономерностей жизни и «блага» отдельного человека. Идейный замысел «Рудина» складывался в полемике с узенькой философией практицизма «либеральных западников» пятидесятых годов и объективно совпадающим с нею учением славянофилов, ограничивавших роль разума в познании «истины». Отвергая эти «теории», Тургенев отстаивал значение принципов сороковых годов, пропагандистом которых явился в романе Рудин—идеолог по преимуществу. Мироззрение Рудина раскрывается в жизненных столкновениях с Пигасовым, Волынцевым, Натальей и Лежневым. Все они соотносены с Рудиным в плане этико-философском, хотя одновременно и являются конкретными социально-психологическими типами.

---

<sup>1</sup> Т. Усакина справедливо подчеркнула сходство позиции Чернышевского в понимании специфики и задач искусства с точкой зрения В. Майкова, расширявшего «горизонты искусства за счет науки» и оправдывавшего «полунаучную-полухудожественную форму отражения действительности». Ею был разъяснен общественный смысл и поэтика таких произведений этого направления, как проза Герцена и Салтыкова сороковых годов (см.: Т. Усакина. Петрашевы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX века. Изд. Сарат. ун-та, 1965).

Эта соотнесенность прослеживается прежде всего в композиции романа, как бы отражающей движение Рудина от гегельянского признания превосходства общего над частным к пониманию интересов отдельной личности и, наконец, переход от теоретического осознания истины к ее «одействованию». Композиционная структура «Рудина» выявляла объективный процесс развития и смены идей передовой русской интеллигенции тридцатых-сороковых годов, в том числе Белинского и М. Бакунина.

Разумеется, процесс духовной эволюции «тургеневского» поколения дан в «Рудине» не с такой логической отчетливостью: он получил в романе лишь опосредствованное выражение.

Появление Рудина ознаменовано его столкновением с «практическим человеком» Пигасовым. В споре с Рудиным Пигасов отрицает всякую пользу «общих рассуждений, гипотез там, систем», пренебрежительно именуя их «умствованием», «метафизическими тонкостями». «Передавайте, господа, факты и будет с вас»,—говорит он, полагая, что достоверны лишь показания «опыта», «собственного чувства». И далее, издеваясь над верою в силу ума, «образованности», «философии», Пигасов заявлял: «Философия—высшая точка зрения! Вот еще смерть моя, эти высшие точки зрения. И что можно увидеть сверху? Небось, если захочешь лошадь купить, не с каланчи на нее смотреть станешь!»<sup>1</sup>.

В высказываниях Пигасова пародийно переосмыслена бескрылая «положительная» философия «либеральных западников» пятидесятых годов, отрицавших под видом «метафизики» диалектику и способность логически познать законы жизни. Объективно с этой философией сближалось и учение славянофилов, упрекавших «лишних людей» в пристрастии к «теоретизированию»<sup>2</sup>.

Сопоставление Рудина с Пигасовым, а впоследствии и с Вольным подчинено было цели развенчать подобные «концепции», убедить в превосходстве «мысли», «знания» над «впечатлением» и «чувством». Тургенев настойчиво подчеркивает при этом, что мировоззрение Рудина—это мировоззрение деятеля. Самое знание истины необходимо ему для того, чтобы «делать дело». «...Если у человека,—говорит Рудин,—нет крепкого начала, в которое он верит, нет почвы, на которой он стоит твердо, как может он дать себе отчет в потребно-

<sup>1</sup> И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем т. VI, Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, стр. 255. В дальнейшем ссылки приводятся по этому же изданию с указанием в тексте тома и страницы.

<sup>2</sup> Подробнее см. об этом: Г. Н. Антонова. Роман Тургенева «Рудин» и журнальная полемика о «лишних людях» в первой половине 50 гг. XIX в.—Ученые записки Орловского гос. пед. ин-та, т. 17, 1963.

стях, в значении, в будущем своего народа? Как может он знать, что он должен сам делать?» (VI, 263).

Одновременно в первых же главах романа выясняется, что под «общим благом» Рудин подразумевал не интересы каждой отдельной личности, но счастье «человечества вообще». Он подчиняет человека «общему» «мировому духу», исторической закономерности, считает отдельную личность лишь «орудием высших сил». Именно таков смысл рассказанной Рудиным скандинавской легенды, которую он заключил следующими словами: «...наша жизнь быстра и ничтожна, но все великое совершается через людей. Сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости: в самой смерти найдет он свою жизнь, свое гнездо...» (VI, 270). О том же говорит и Лежнев, вспоминая, что после речей Рудина участники кружка «с каким-то священным ужасом благоговения <...> чувствовали себя как бы живыми сосудами вечной истины, орудиями ее, призванными к чему-то великому» (VI, 298).

В следующих далее главах Тургенев раскрывает, что означало на практике рудинское абстрактное понимание «общего блага». Рудин, проповедуя любовь к людям, часто сам поступал как эгоист. Нисколько не желая повредить влюбленному Лежневу, когда тот был еще молод, Рудин своим постоянным вмешательством в его жизнь «все-таки разрушил его счастье». Бестактными расспросами Натальи и намеками на любовь к ней Волынцева Рудин причиняет ей боль, не понимая, что она любит его самого. Он заставляет страдать и Волынцева, приехав к нему с ненужными объяснениями чувств Натальи. Наконец, говоря о своих поисках «чистых и преданных душ», Рудин на самом деле «мало обращал внимания» на благоговевшего перед ним Басистова. Страсть Рудина во все вмешиваться, его рефлексия, иронически называемая Лежневым «проклятой привычкой каждое движение жизни, и своей и чужой, припиливать словом, как бабочку булавкой», тоже вытекала, по Тургеневу, из его созерцательного понимания «дела», предполагавшего углубленную разработку собственной личности и постоянный анализ внутреннего мира других людей. Рефлексия в конечном счете развивала эгоизм, уводила от понимания действительности.

Идейным завершением предшествующих глав, содержащих критику абстрактных рассуждений Рудина, явилась сцена объяснения его с Натальей у Авдюхина пруда. Кульминационный смысл этой сцены заключался и в том, что она знаменовала начало эволюции Рудина, когда он стал понимать святость прав отдельного человека и необходимость перехода от слова к делу.

Новейшие исследователи, говоря о постепенном преодолении Рудиным «разрыва между проповедью возвышенных

идеалов и их практическим осуществлением»<sup>1</sup>, не отметили, однако, тот существенно важный факт, что поведение Рудина меняется не только под влиянием жизни, но и в результате изменения его мировоззрения. Его идеал со временем становится более конкретным и более гуманным. О новых «верованиях» Рудина, не столько осознанных им, сколько прочувствованных, в романе говорится скупно, но достаточно определенно. Пересмотр прежних взглядов и постепенное понимание интересов отдельного человека происходит у Рудина после разрыва с Натальей. Объясняясь с Рудиным, Наталья упрекала его в том, что, погруженный в «высокие идеи», он не понял ее и ее чувств: «Да, вы не ожидали всего этого—вы меня не знали».—И далее иронически прибавила: «Вам предстоят занятия, более достойные вас» (VI, 325—326). Задумавшись над упреком Натальи, Рудин не мог не согласиться с нею. «Да, вы правы,—пишет он,—я вас не знал, а я думал, что знал вас! <...> Я едва ли даже старался узнать вас <...> и я мог вообразить, что полюбил вас!! За этот грех я теперь наказан»<sup>2</sup>.

Тургенев раскрывает ценность человеческого сочувствия, считая его основой активной разумной деятельности, направленной на преобразование жизни. Таков смысл эпилога<sup>3</sup>, где дается окончательное разъяснение авторского призыва «делать дело», понимаемого как действенная любовь к людям, к каждому конкретному человеку в отдельности. Именно здесь конкретизируется тургеневская мысль о необходимости практики, мысль, над философским обоснованием которой бился и Белинский, и автор «Кто виноват?».

Под влиянием горького опыта жизни постаревший Рудин осудил свое фразерство в пору молодости, когда он «ясно не сознавал, чего хотел» и «верил в призраки». «Слепую бабуку и все ее семейство своими трудами прокормить, как помнишь, Пряженцев... Вот тебе и дело» (VI, 364—365),—говорит он Лежневу, добавляя: «хочу достигнуть цели близкой, принести хотя ничтожную пользу». Жизнь научила Рудина ценить участие людей. После долгих мытарств встретившись с Лежневым, Рудин глубоко тронут, заметив, что тот «с каким-то особенным участием посмотрел ему в лицо». После предложения Лежнева «возобновить старину» и говорить «ты друг другу» «Рудин встрепенулся, приподнялся, а в глазах его промелькнуло что-то, чего слово выразить не может» (VI, 357). Вдохновляемый благородным порывом «сделать добро, принести пользу существенную», Рудин неутомимо трудится, сна-

<sup>1</sup> О. Я. Самочатова. Композиция романа «Рудин». Из опыта постановки специального курса по творчеству И. С. Тургенева в педагогическом институте. Брянск, 1961, стр. 121—122.

<sup>2</sup> Подчеркнуто мною—Г. А.

<sup>3</sup> Здесь и в дальнейшем имеется в виду эпилог при публикации романа в 1856 г., то есть эпизод встречи Лежнева и Рудина в трактире. На этот эпилог ссылался впоследствии и Чернышевский.



чала мечтая об «усовершенствованных», «нововведениях» в помещичьей усадьбе, затем пытаюсь «одну реку в К...ой губернии превратить в судоходную», заботаюсь, наконец, о «коренных преобразованиях» в гимназии, чтобы «благоотворно действовать на юношество».

Но планы Рудина не имели никакой реальной пользы. Таким образом, окончательно становится ясной несостоятельность Рудина как практика. Не противоречит ли этот факт тому значению, которое мы придаем эпилогу?

Противоречия здесь нет. Эпилог раскрывает и другую грань тургеневской мысли о необходимости действия—сомнение в возможности гармонического объединения высокой идеальности и трезвой практичности. Это сомнение высказано в романе еще очень острожно, но безусловно присутствует в авторском сознании, определяя ту или иную оценку персонажей произведения. Тургенев полагал, что Рудин является «неоконченным существом», так как ему недостает практического начала. «Он не сделает сам ничего именно потому,—говорит писатель устами Лежнева,—что в нем природы, крови нет», что «природа» «отказала ему в силе деятельности, в умении исполнять собственные замыслы» (VI, 348). Высокая идеальность, по Тургеневу, неизбежно связана с отсутствием житейского здравого смысла, трезвого реалистического понимания явлений действительности. Образом Лежнева эта же мысль оттеняется с другой стороны: практицизм и деловая целеустремленность «придают», говоря словами Тургенева, «некоторое однообразие мыслям, односторонность уму». Практик Лежнев посредственен и не обладает глубиной и блеском рудинской мысли. Самой невыразительной и непривлекательной наружностью Лежнева, контрастирующей с оригинальным и умным лицом Рудина, подчеркивается его заурядность по сравнению с талантливостью последнего. В эпилоге, демонстрирующем несостоятельность практических начинаний Рудина и ограниченность хозяйственного Лежнева, окончательно разъясняется смысл сопоставления этих героев на протяжении всего произведения.

Итак, анализ композиции «Рудина» достаточно ясно свидетельствует об идеологической заостренности романа.

Как роману идей, «Рудину» свойственна и некоторая рационалистичность повествования. Смена эпизодов и поступков героев подчас диктуется исключительно логикой доказательств той или иной мысли вопреки даже логике развития характеров. Автор крепко держит нити повествования в своих руках, неожиданно поворачивая иногда судьбы героев и заставляя их выступать от своего имени в угоду главной идее всего произведения. Исключение в этом отношении представляет Рудин. Но последовательность и закономерность его эволюции достигается в ряде случаев за счет некоторого наруше-

ния жизненной логики образов второстепенных персонажей— прежде всего Лежнева и Натальи.

В романе остается по существу немотивированным переход Лежнева от осуждения Рудина (в первых главах) к восторженной оценке его впоследствии (в главе XII). Идеино и композиционно помещение сочувственной оценки Рудина после отъезда его из усадьбы Ласунской до эпилога, повествующего о его попытках действовать, вполне оправдано. Сказанное Лежневым подготавливает читателя к восприятию изменившегося Рудина, каким он показан в конце XII главы и, особенно, в эпилоге. Но в момент произнесения пылкой тирады Лежневу еще ничего не было известно об идейном и нравственном изменении Рудина. «Лежачего не бьют, а я тогда боялся, как бы он тебе голову не вскружил»,—так отвечал Лежнев на упрек Липиной в том, что он «немного увлекся в пользу Рудина, как прежде увлекался против него». Однако в тех главах, где Лежнев осуждал Рудина, нет никаких намеков на его чувство ревности. Напротив, Лежнев был обеспокоен, главным образом, влиянием Рудина на Наталью (глава IV). Очевидно, слова Лежнева отражали первоначальный нереализованный замысел Тургенева, намеревавшегося показать, как значилась в плане романа, что «и А<лександра>П<авловна>подпадает под влияние Рудина» (VI, 466). Вряд ли Тургенев не замечал, что слова Лежнева не связаны с предшествующим развитием сюжета. Но он заботился в данном случае не столько о жизненном правдоподобии отдельных эпизодов, сколько о внутренней логике мысли романа в целом. Тургенев и в дальнейшем поручает объяснение и оправдание Рудина Лежневу, хотя последний именно в эпилоге заметно снижен по сравнению с Рудиным и вообще не является для писателя идеалом человеческой личности.

Утверждению задушевной мысли Тургенева о превосходстве сознательности, образованности над «естественной непосредственностью» служит в романе и неожиданный поворот в судьбе Натальи, вышедшей замуж за Волынцева. Этот эпизод в какой-то степени нарушает логику жизненного развития Натальи, воспринявшей уже от Рудина его гуманистический идеал служения общему благу и знающей истинную цену Волынцеву. Во всяком случае, писатель не без умысла не мотивирует поступок Натальи и по сути дела замалчивает дальнейшую историю ее жизни, оставляя, впрочем, последнее слово за Лежневым, сообщающим Рудину о ее счастье: Наталья невольно утрачивает прежнюю привлекательность. Кроме того, из романа исчезает один из главных судей Рудина, что объективно поднимает последнего на значительную высоту.

О некоторой близости поэтики «Рудина» к поэтике философской прозы свидетельствует и обращение Тургенева в романе к сюжетной схеме «Родственников» И. Панаева. Самый

факт полемического использования уже известного литературного сюжета—своеобразный художественный прием, придающий произведению условность, рационалистичность и потому наиболее часто применяющийся в философских жанрах (например, у Вольтера). Тургенев прибегает к сюжету «Родственников» как к одной из широко известных повестей 40-х годов, высмеивающих «философствования», «лишнего человека», с целью коренным образом переосмыслить ее идейное содержание.

Так, героиня Панаева Наташа, непосредственная, эмоциональная натура, после разрыва с «лишним человеком», романтиком Григорьем Алексеичем, выходит замуж за практика—помещика Захара Михайлыча Рулева. Наташа, подчеркивает И. Панаев, сделала достойный выбор. Эпизод этот, заканчивающий повесть, завершал развенчание «лишнего человека», возвеличивая эмпириков-дельцов. Подобный же сюжетный ход Тургенев наполнил иным содержанием и, смещая акценты, утверждал в итоге превосходство Рудина—идеолога над окружающей его в России средой.

Таким образом, использование известного в литературе сюжета служило у Тургенева целям дискредитации узенькой «философии» практицизма и разъяснению огромного значения разума в процессе познания жизни и изменения ее.

Стремление предельно обнажить существо противопоставляющихся идей обусловило своеобразный драматизм романа, что обнаружилось в сжатости повествования, обилии разговоров—диалогов действующих лиц, одноплановости сюжета, сценичности отдельных эпизодов и т. д.<sup>1</sup>

Своеобразие конфликта повлекло за собой и такие композиционные особенности романа, как чрезвычайная краткость предыстории героев, скупость бытовых деталей при характеристике не только странствующего «философа» Рудина, но и неподвижно осевших в своих поместьях Ласунской, Волицева, Пигасова, Лежнева. Даже о хозяйственных начинаниях антипода Рудина—«практика» Лежнева говорится вскользь.

## 2

Как роман с элементами философской прозы «Рудин» во многом соответствовал тому направлению художественной литературы, необходимость развития которого теоретически обосновывал Чернышевский в пятидесятые годы.

В диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышевский, следуя за Белинским, выделял разные типы художников. У одних «умственная деятельность слаба, когда подобный человек—поэт или художник, его про-

<sup>1</sup> О драматизме «Рудина» см. подробнее: В. Баевский. «Рудин» Тургенева — «Вопросы литературы», 1958, № 2. Констатируя самый факт близости «Рудина» к драме, исследователь, однако, не объяснил его.

изведения не имеют другого значения, кроме воспроизведения любимых им сторон жизни. Но если человек, в котором умственная деятельность сильно возбуждена вопросами, порождаемыми наблюдением жизни, одарен художническим талантом, то в его произведениях, сознательно или бессознательно, выразится стремление произнести живой приговор о явлениях, интересующих его. <...> Тогда художник становится мыслителем, и произведение искусства, оставаясь в области искусства, приобретает значение научное»<sup>1</sup>.

Отдавая предпочтение художнику-мыслителю, Чернышевский решительно отделял при этом «искусство, имеющее научное значение», от дидактической литературы. «Произведения придумывающего, рассчитывающего поэта холодны, непоэтичны», — писал критик-демократ. Но, борясь с дидактикой в литературе, Чернышевский защищал искусство, «способное распространять в огромной массе людей понятия, добытые наукою, потому что знакомиться с произведениями искусства гораздо легче и привлекательнее для человека, нежели с формулами и суровым анализом науки» (II, 117). Отстаивая литературу, которая служит «посредницею между чистою отвлеченною наукою и массою публики» (IV, 5), критик считал, что Лессинг, Шиллер, Байрон выше Шекспира, и особенно ценил гетевского «Фауста», ссылаясь на него в диссертации для подтверждения тезиса о важном значении художника-мыслителя.

Переходя к русской литературе, Чернышевский обосновывал свой взгляд на взаимосвязь искусства и науки особым общественным положением писателя в России. Подобно автору «О развитии революционных идей в России», Чернышевский писал: «Литература у нас пока сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа, и потому прямо на ней лежит долг заниматься и такими интересами, которые в других странах перешли уже, так сказать, в специальное заведывание других направлений умственной деятельности» (III, 303).

В целом все эти положения эстетики Чернышевского определялись его верой в силу научного мировоззрения как основу не только передовой теории или практики, но и искусства. При этом задачи современной науки и литературы Чернышевский видел в разъяснении актуальности передового идейного наследия сороковых годов, то есть в критике романтической отвлеченности, в требовании практического осуществления теории, направленной на защиту интересов «действительного человека», в стремлении «к деятельности, которая была бы вполне благотворна для людей». Вот почему критик с особенным сочувствием отзывался о произведениях, поэтика и обще-

---

<sup>1</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II. М., Гослитиздат, 1949, стр. 86. Все последующие ссылки приводятся по этому изданию с указанием в тексте тома и страницы.

ственный смысл которых наиболее соответствовали его пониманию беллетристики, присоединяющей «к художественному своему достоинству еще высшее достоинство—значение научное».

Так автора «Героя нашего времени» Чернышевский называл «мыслителем глубоким для своего времени, мыслителем серьезным» (II, 211). При этом содержание идей Лермонтова Чернышевский связывал с теоретическими исканиями передовых деятелей сороковых годов, прежде всего Белинского и Герцена. Почти дословно повторяя Герцена, сказавшего о Лермонтове: «он полностью принадлежит к нашему поколению»<sup>1</sup>,—Чернышевский писал в шестой статье «Очерков гоголевского периода»: «Лермонтов <...> самостоятельными симпатиями своими принадлежал новому направлению» (III, 223).

В свете всего сказанного особый интерес представляют и высокая оценка Чернышевским «Запутанного дела» Салтыкова в пятидесятые годы<sup>2</sup>, и сочувственный отзыв критика о романе Герцена «Кто виноват?». Примечательно, что свое суждение о романе Герцена Чернышевский явно противопоставил мнению Белинского о нем. Известно, что Белинский, сочувствуя общественному пафосу «Кто виноват?», был недоволен композицией романа и нарушением некоторой логики развития характеров, в частности Бельтова. Эти недостатки романа критик объяснял тем, что Герцен был не столько «художником», сколько «философом по преимуществу». Между тем весь строй романа Герцена не мог не импонировать Чернышевскому. Вот почему критик-демократ в «Очерках гоголевского периода» с неудовольствием отметил, что Белинский, сравнивая «Обыкновенную историю» Гончарова и «Кто виноват?», был «более снисходителен к «Обыкновенной истории» (III, 233).

Оценка «Рудина» включалась в общую систему размышлений Чернышевского о тенденциях развития и проблемах художественно-философской прозы пятидесятых годов.

### 3

Прежде всего Чернышевский рассматривал роман Тургенева как своеобразное идейно-художественное единство, не соглашаясь с мнением А. В. Дружинина, например, который писал: «Художественная сторона повести <...> сама давала на себя оружие многим чересчур взыскательным ценителям.

---

<sup>1</sup> А. И. Герцен. О развитии революционных идей в России. Собр. соч. в 30-ти т., т. VII. М., изд. АН СССР, 1956, стр. 225.

<sup>2</sup> Н. Г. Чернышевский. Материалы для биографии Н. А. Добролюбова. М., 1890, стр. 316.



Во многих местах «Рудина» вместо живых сцен тянулся голый рассказ от авторского лица, вместо личностей, рельефно-очертанных, появлялись фигуры, едва обозначенные не совсем верной кистью<sup>1</sup>. В неопубликованной статье «Разговор отчасти литературного, а более не литературного содержания» Чернышевский высмеял Дружинина в лице Чистомазова, отвергнув его мнение, будто «Рудин» «слаб в художественном отношении». Роман силен «жизнью и мыслью», подчеркивал критик-демократ, указывая тем самым на его интеллектуальный характер, определивший и специфику авторского повествования.

Не случайно поэтому, что в центре внимания Чернышевского — анализ мировоззрения Рудина. Вообще Чернышевский ценил роман как типическое изображение теоретических исканий русской передовой общественности сороковых годов. Недаром особенный интерес Чернышевского вызвал «рассказ Лежнева о временах его молодости и удивительный эпилог г. Тургенева», то есть последняя часть романа, где показаны попытки Рудина осуществить свои гуманистические идеалы. При этом Чернышевский подчеркивал, что идеал Рудина — идеал деятеля, так как его стремление познать законы жизни вызывалось желанием преобразовать ее. В «Заметках о журналах» («Современник», 1857, № 2) Чернышевский раскрыл гуманистический характер «идей», для которых живет Рудин, именуя его «энтузиастом, совершенно забывающим о себе и <...> поглощаемым общими интересами». Отсюда, по словам Чернышевского, и вытекает его «пламенная ревность трудиться, трудиться неутомимо». Общественные идеалы Рудина возвышают его, в представлении Чернышевского, над такими «лишними людьми», как Онегин и Печорин, сблизая более всего с Бельтовым, для которого «личные интересы имеют второстепенную важность».

Точка зрения Чернышевского была противоположна суждениям славянофилов и русских последователей «положительной» философии с той стороны, с какой выступал против них и Тургенев. К. Аксаков, например, одобрил в романе критику Рудина, «путающегося в жизни, вследствие желания строить ее отвлеченно, вследствие попытки все определять, объяснять, возводить в теорию»<sup>2</sup>. При этом под отвлеченностью Рудина подразумевалось и то, что было дорого для Тургенева — вера в знание, научную истину, утонченность ума, отшлифованного цивилизацией. Ценя эти же качества в Рудине, Чернышевский возражал А. В. Дружинину и С. С. Дудышкину, упрекавшим тургеневского героя с позиций рефор-

<sup>1</sup> А. В. Дружинин. Собр. соч., т. VII, СПб, 1865, стр. 366.

<sup>2</sup> К. С. Аксаков. Обзорение современной литературы.—«Русская беседа», 1857, № 1, стр. 22.



мизма в отсутствии гармонии между «стремлением к идеалу и стремлением к жизни положительной»<sup>1</sup>.

Не противоречат ли всему сказанному другие, более поздние отзывы Чернышевского о «Рудине» в «Русском человеке на rendez-vous» и особенно в рецензии на «Сочинения Н. Готорна», где роман иронически назван «винегретом сладких и кислых, насмешливых и восторженных страниц, как будто сшитых из двух разных повестей» (VII, 449)?

Мотивы изменений оценок Чернышевского верно определены в современной литературной науке. В самом деле, на новом историческом этапе—во второй половине пятидесятых годов—революционер-демократ подчеркивал недостаточность общественных требований прогрессивной интеллигенции сороковых годов. В этой связи по-новому был охарактеризован им и Рудин.

Но при всех идейных расхождениях с Тургеневым понимание поэтики «Рудина» оставалось у Чернышевского прежним. Говоря о том, что части романа «как будто сшиты», Чернышевский имел в виду следы рационализма в его повествовании. В этом же смысле он упрекал Тургенева и в некотором «искажении психологической истины», полагая, что слишком резким был переход от апофеоза Рудина к его критике. Насколько был прав Чернышевский—об этом уже говорилось выше. В данном случае важно другое: самый факт «искажения» критик объяснял авторским «предубеждением», то есть не столько логикой развития характеров, сколько логикой мысли писателя.

Так Чернышевский снова подчеркнул то своеобразие поэтики «Рудина», которое включало этот роман в традицию русской художественно-философской прозы.

---

<sup>1</sup> А. В. Дружинин. Повести и рассказы И. Тургенева.—«Библиотека для чтения», 1857, № 5, стр. 38; С. Дудышкин. Повести и рассказы И. С. Тургенева.— «Отечественные записки», 1857, № 1.

А. А. ЖУК

## ИЗ ИСТОРИИ ЖУРНАЛЬНОЙ ПОЛЕМИКИ 1860-х годов

### 1

В идейно-литературной борьбе шестидесятых годов возникшее в начале 1863 года полемическое столкновение «Современника» (в лице его ведущей силы—М. Е. Салтыкова-Щедрина) с журналом «Время» (представленным также самой крупной его фигурой—Ф. М. Достоевским) является весьма заметным событием. Ему уделили внимание как исследователи журнальной деятельности великого романиста, так и специалисты, изучавшие публицистику великого сатирика<sup>1</sup>.

Тем не менее небесполезно новое обращение к этому эпизоду: материалы, связанные с ним, далеко не исчерпаны, а те ответы, которые дает специальная литература, оставляют открытыми значительную часть вопросов, неизбежно возникающих при чтении полемических статей Салтыкова и Достоевского.

Не будем сосредоточиваться на предыстории этого ожесточенного столкновения, общеизвестной, и изложим ее очень кратко и схематично.

С самого начала журнал братьев Достоевских напутствует сочувственными словами в своей статье Н. Г. Чернышевский<sup>2</sup>. Вслед за ним «самые крупные сотрудники «Современника» по части изящной литературы и даже Некрасов и Щедрин, отдававшие все свои силы этому журналу, ясно выказали свое

<sup>1</sup> М. Лемке. Эпоха цензурных реформ 1859—1865 гг., 1904, стр. 281—285; Л. П. Гроссман. Комментарий в кн.: Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., т. XXIII, 1918; В. Спиридонов. Направление «Времени» и «Эпохи». — «Достоевский». Однодневная газета, 1921, стр. 2—9; В. Комарович. «Мировая гармония» Достоевского.—«Атеист», 1924, № 1, 2; В. С. Дороватовская-Любимова. Достоевский и шестидесятники. «Достоевский», М., 1928; Я. Эльсберг. Салтыков-Щедрин Жизнь и творчество. М., 1953, стр. 159; С. Борщевский. Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы. М., 1956; В. Кирпотин. Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966.

<sup>2</sup> Новые периодические издания.— «Современник», 1861, № 1.

особое расположение ко «Времени»<sup>1</sup>. Затем были дискуссии и серьезные взаимные возражения: «Время»... даже нападало на Чернышевского и Добролюбова, а они в то время были боги»,—писал Ф. М. Достоевский в статье «Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов»<sup>2</sup>. М. А. Антонович в статьях «О почве (не в агрономическом смысле, а в духе «Времени»), «О духе «Времени» и г. Косиц. как наилучшем его выражении» опровергал основного пропагандиста почвенничества Н. Н. Страхова. Но это еще не рассматривалось редакциями обоих журналов как «объявление войны» и не мешало Достоевскому добиваться «сотрудничества авторов «Современника» в своем журнале, а последним—участвовать в нем»<sup>3</sup>.

Очень характерно, что по поводу статьи М. А. Антоновича—«О духе «Времени» и о г. Косиц. как наилучшем его выражении»—наиболее «непримиримой» на этом раннем этапе спора—Н. Н. Страхов и впоследствии писал: «она направлена исключительно против меня», «в статье было даже тщательно заявлено, что ее упреки и возражения не простираются на роман «Униженные и оскорбленные» и на «Записки из Мертвого дома»<sup>4</sup>.

Все переменялось с сентября 1862 года, когда в № 9 «Времени» появилось написанное Ф. М. Достоевским объявление об издании журнала на 1863 год. С. С. Борщевский считает его объявлением войны «Современнику», слегка замаскированным по тактическим соображениям<sup>5</sup>.

Определяя свою позицию, Достоевский отмежевался в «Объявлении» как от «доктринеров» (идеологов консервативного направления), так и от «теоретиков» (представителей революционной демократии). Однако отношение его к последним было много сложнее, чем обычно считается.

Прежде всего, вопреки распространенному представлению, Достоевский и не пытался замаскировать свои разногласия с этим направлением, очень четко определяя главный пункт спора: «Мы с жаром восставали на теоретиков, не признаю-

---

<sup>1</sup> «Современник», который «достиг в это время самой вершины своего процветания и решительно господствовал над петербургской публикою», приветствовал «Время», и «его привет был действительно всяких объявлений»,—вспоминал впоследствии Н. Н. Страхов. (Н. Н. Страхов. Воспоминания о Ф. М. Достоевском. В кн.: Биография, письма, заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, СПб, 1883, стр. 235).

<sup>2</sup> «Время», 1863, № 1, стр. 37.

<sup>3</sup> В частности, Салтыкова Достоевский настойчиво «приглашал... к участию и даже... упрекал в равнодушии». См.: М. Е. Салтыков (Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 488. В апреле и сентябре 1862 г. сатирик, как известно, во «Времени» опубликовал «Соглашение», «Погоню за счастьем», «Наш губернский день».

<sup>4</sup> Н. Н. Страхов. Воспоминания о Ф. М. Достоевском, стр. 238.

<sup>5</sup> С. С. Борщевский. Щедрин и Достоевский, стр. 31—33.

щих не только того, что в народности почти *все* заключается, но даже и самой народности... В своем отвращении от грязи и уродства они за грязью и уродством многое проглядели и многого не заметили. Конечно, желая искренно добра, они были слишком строги. Они с любовью самоосуждения и обличения искали одного только «темного царства» и не видели светлых и свежих сторон. Нехотя они иногда почти совпадали с клеветниками народа нашего, с белоручками, смотревшими на него свысока... Мы, разумеется, отличали их от тех гадливых белоручек, о которых сейчас упомянули. Мы понимали и умели ценить и любовь, и великодушные чувства этих искренних друзей народа, мы уважали и будем уважать их искреннюю и честную деятельность, несмотря на то, что мы не во всем согласны с ними». «Боже нас сохрани, чтоб мы теперь свысока говорили об обличителях. Честное, великодушное, смелое обличение мы всегда уважаем... Разумеется, мы вместе с нашими обличителями, и дельными и дешевыми, отвергаем и гнилость иных наносных осадков, и исконной грязи... Но мы не хотим вместе с грязью и выбросить золота — естественных родовых оснований русского характера и обычая», ибо «здесь больше залогов к прогрессу, чем в мечтаниях самых горячих обновителей запада»<sup>1</sup>. Не вызывает ни малейшего сомнения, что приведенные строки относятся главным образом к «Современнику»: крылатое добролюбовское определение, «темное царство», служило очень заметным и, конечно, не случайным сигналом. Несколько позже, уже прямо называя имя Добролюбова, символизирующее направление «Современника», Достоевский повторил: «во многом соглашаясь с ним», когда он боролся «за освобождение общества от темноты, от грязи, от рабства внутреннего и внешнего», «Время» не примирялось с якобы присущим Добролюбову «неверием в светлые и отрадные явления в народе»<sup>2</sup>.

Как видно, главным, что разделило «Современник» и «Время», были непримиримость революционного отрицания и различное отношение к «народному началу», и Достоевский это понимал. Но, по-своему толкуя «обличение» и «народность», он, тем не менее, не отказывал своим оппонентам в праве считаться «искренними друзьями народа»<sup>3</sup>. Особенно важно отметить, что, остро ощущая свое расхождение с «теоретиками» в позитивных моментах, Достоевский чувствует себя гораздо ближе к ним в критике сущего — «разумеется, мы вместе... отвергаем...» (к этому очень значительному моменту нам еще предстоит вернуться). Характерно также, что эту книжку своего журнала, завершённую «Объявлением»,

<sup>1</sup> «Время», 1862, № 9, стр. 2—3, 6—7.

<sup>2</sup> <Ф. М. Достоевский>. Журнальные заметки. I. Ответ Свисуну. — «Время», 1863, № 2, стр. 218.

<sup>3</sup> Ср. В. Я. Кирпотин. Достоевский в шестидесятые годы, стр. 71.

редакция сочла возможным открыть сатирами Щедрина и, видимо, не усматривала в этом непримиримого противоречия.

Разъяснив основные пункты почвеннической программы «Времени», в заключение Достоевский пишет те язвительные памфлетные строки, которые вызвали всю полемическую вспышку: «Но мы ненавидим пустых безмозглых крикунов, позорящих все, до чего они ни дотронутся, марающих иную чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют; свистунов, свистящих из хлеба и только для того, чтоб свистать; выезжающих верхом на чужой украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающих себя маленьким кнутиком рутинного либерализма. Убеждения этих господ им ничего не стоят... Они их тотчас же и продадут, за что купили!»<sup>1</sup>. Обычно эту часть статьи и рассматривают как враждебный выпад против «Современника». Однако развернутое обращение к некрасовскому журналу, шедшее выше, заставляет предположить, что лагерь «обличителей» Достоевский воспринимал более дифференцированно и эти резкие определения характеризуют кого-то другого. Правда, в полемике 1860-х годов кличка «свистуны», генетически связанная с добролюбовским «Свистком», прилагалась прежде всего к его участникам. Но очень скоро это слово приобрело расширительный смысл, обозначая вообще всех деятелей демократической сатиры и публицистики. В частности, употребляли его для автохарактеристик писатели-искровцы.

Итак, очевидно, «обличители» были для Достоевского неоднородны: он видел в их рядах деятелей двух совершенно различных нравственных и общественных «качеств»: честных, хотя и ошибающихся (с его точки зрения) борцов, настоящих судей общественного зла, и «дешевых обличителей», узурпировавших, по мысли писателя, «чужую», «чистую, честную идею», людей, чье присутствие в данном лагере случайно и непринципиально.

Следующая статья Достоевского: «Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов», опубликованная в № 1 «Времени» за 1863 год, подхватывала и разъясняла мотивы, прозвучавшие в «Объявлении». Она подтверждает со всей определенностью, что у выпадов Достоевского в «Объявлении» был адрес точный и конкретный: в виду имелась «Искра». Об этом писала еще В. С. Дороватовская-Любимова<sup>2</sup>, но в позднейших работах ее выводы не были учтены.

<sup>1</sup> «Время», 1862, № 9, стр. 9.

<sup>2</sup> «Нужно точно зафиксировать, что здесь он (Достоевский—А. Ж.) имел в виду определенного противника—«Искру». (В. С. Дороватовская-Любимова. Достоевский и шестидесятники. «Достоевский», М., 1928, стр. 37).

Главные герои «Необходимого литературного объяснения» — те же обличители «по моде», как представляется автору статьи, попутчики, по расчёту примкнувшие к авторитетному идейному течению.

Свидетельства того, что признаки этого «хлебного» направления Достоевский усматривает именно в редакции «Искры», многочисленны и разнообразны. В самом начале статьи в качестве конкретного образца «хлебного свистуна» прямо назван «Обличительный поэт» Д. Д. Минаев<sup>1</sup>; само перечисление излюбленных предметов «хлебной» сатиры («Век», Лев Камбек, кукельван, Виктор Ипатьевич Аскоченский, стулья на Невском, корнет, играющий на пистоне, табачная фабрика М. М. Достоевского) — действительный список юмористических тем, к которым «Искра» в 1862—1863 годах обращалась неоднократно, но ни «Современник», ни «Свисток» не писали об этом никогда. Именно к «Искре» относился упрек в «проигранном» год назад «деле с Писемским по поводу фельетонов Никиты Безрылова»<sup>2</sup>. Про «Современник», не появившийся с июня 1862 г., Достоевский не мог говорить, имея в виду реакцию на сентябрьское «Объявление»: «Обидчики наши, которые вот уже четыре месяца как выходят из себя»<sup>3</sup>. В статье все время подчеркивалось, что речь идет о специализированном юмористическом издании («тяжелая ярыжность», вместо «острот», «обличения», взамен которых выходит «сплетня», «ваши юмористы будут только ворон пугать, а не дело делать»<sup>4</sup>) и т. д. Наконец, Достоевский и прямо отделил адресатов своей страстной филиппики от «Современника»: «Ну, смели бы вы напасть на Тургенева, если б не раздался голос «Современника»?.. Вы именно на тех только и нападаете, на кого вам старшие укажут»<sup>5</sup>.

Заключая статью, Достоевский отказался от полемики с «Искрой» по принципиальным вопросам, считая единственным противником, достойным серьезного спора, — «Современник»: «Вы нападаете еще на нас за почву, за народное нача-

<sup>1</sup> Следует отметить, что Д. Д. Минаев в конце 1850-х годов был близок к братьям Достоевским через кружок А. П. Милюкова и на первых порах участвовал во «Времени» (см.: Н. Н. Страхов. Воспоминания о Ф. М. Достоевском, стр. 213). Но уже 3 июля 1861 г. в письме Я. П. Полонскому Достоевский, с уважением упоминая имена Чернышевского и Некрасова, презрительно отзывается о «партии Минаевых и Курочкиных (воображающих, что они составляют партию)». Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, ГИЗ, М.—Л., 1928, стр. 302—303.

<sup>2</sup> См.: И. Г. Ямпольский. Сатирические журналы 1860-х гг., М., 1964, стр. 158—160; Н. Н. Страхов. Воспоминания о Ф. М. Достоевском, стр. 198.

<sup>3</sup> «Время», 1863, № 1, стр. 29.

<sup>4</sup> Там же, стр. 36—37.

<sup>5</sup> Там же, стр. 38.



ло, за соединение и примирение; но об этом мы с вами говорить не будем, потому что считаем это дело серьезным. Мы об этом поговорим с другими»<sup>1</sup>.

Но «разговор с другими», как справедливо заметили В. С. Дороватовская-Любимова и С. С. Борщевский, в сущности был начат уже здесь. С досадой и глухим упреком Достоевский писал: «На нас вдруг поднялись целые тучи врагов. Всякий из них, даже вовсе и не хлебный свистун, принимал наше выражение на свой собственный счет. Мы полагаем, что хлебные-то и соблазнили всех, даже и не хлебных, подняться на нас, уверив тех, что мы вредим общему делу»... «не хлебные... народ чрезвычайно легкомысленный, спешливый и доверчивый... какой-нибудь отъявленный свистун из хлеба их надует, и они ему поверят и примут его в сотрудники»... «Большинство всех этих благороднейших, но не совсем глубоко плавающих господ чаще всего нападает именно на то, во что само же верует; слепо не различает своего в другой форме»<sup>2</sup>.

Эти темные формулировки проясняются при обращении к конкретным обстоятельствам осени 1862 года, когда формировалась новая редакция «Современника» и готовился его первый номер. Одним из руководителей журнала, которым «вверился» Некрасов, теперь стал Г. З. Елисеев—старый искровский оппонент «Времени».

Очень важны для уяснения статьи Достоевского письма, которыми он и Некрасов обменялись в ноябре 1862 года. 3 ноября Некрасов обратился к Достоевскому с просьбой освободить его от обещания дать стихи для «Времени», так как сейчас ему неудобно появляться в чужом издании: «Променя... распустили слухи, что я отступился от прежних сотрудников, набираю новых, изменяю направление журнала. Все это завершается прибавлением, что я *предал* Чернышевского и гуляю по Петербургу»<sup>3</sup>. Достоевский ответил в тот же день и с большой горячностью: «Всего лучше обругайте нас в январском номере «Современника», а на февральский наш номер дайте нам Ваших стихов. Не могу не признаться Вам между прочим <i>и</i> в двух обстоятельствах или лучше в сомнениях моих: 1) Как можно Вам, такому известному человеку в литературе, да еще поэту, так дрожать перед всяким неустановившимся и (по природе своей) летучим и неосновательным мнением? 2) Почему участие в нашем журнале могло бы Вас компрометировать и утвердить такие, например, слухи, что Вы предали Чернышевского? Разве наш журнал

<sup>1</sup> «Время» 1863, № 11, стр. 37.

<sup>2</sup> Там же, стр. 30—31.

<sup>3</sup> Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч., т. X, М., Гослитиздат, 1952, стр. 479.

ретроградный? Уж, кажется, нет даже и для врагов наших. Можно все говорить, но только не об ретроградстве<sup>1</sup>. Этот упрек в неустойчивости, подвластности «летучим и неосновательным мнениям» по-своему отразился в статье.

Несколько необычно предложение «обругать нас в январском номере «Современника». С. С. Борщевский вообще считает, что все «Необходимое литературное объяснение» «написано с целью предотвратить последствия выступления Щедрина» в январской хронике «Нашей общественной жизни»<sup>2</sup>. Здесь есть некоторое преувеличение. Но следует предположить, что прежде всего само письмо Некрасова было связано с готовящимся выступлением сатирика: всего через несколько дней, 9 ноября 1862 года, Е. Н. Пыпина, сообщая родным в Саратов о подготовке первого номера «Современника» как важную литературную новость, передавала: «Салтыков (Щедрин) начал уже писать фельетон; он читал его Некрасову и тот говорил Саше (А. Н. Пыпину—А. Ж.), что написано очень хорошо. Теперь вообще идут приготовления, так что можно ждать скорого выхода и второй книжки»<sup>3</sup>.

По-видимому, была уже готова та часть первой щедринской хроники, где шла речь о журнале Достоевских (именно о том, что его сентябрьское объявление «вредит общему делу»), это и заставило Некрасова взять назад свое обещание.

Судя по всему, о «фельетоне» Салтыкова в какой-то мере был информирован и Достоевский, поскольку в литературной среде интерес к работе сатирика в «Современнике» был очень велик—это засвидетельствовали и Достоевский<sup>4</sup>, и Страхов: «Припомним... начало 1863 года. Какое было тогда самое важное явление в петербургском литературном мире?... важнейшим тогдашним событием было вступление г. Щедрина в редакцию «Современника»... Как только газеты и объявления разнесли радостную весть о вступлении г. Щедрина в «Современник», на этот журнал обратилось всеобщее внимание»<sup>5</sup>.

Достоевскому казалось, что его выступление истолковано ошибочно («слепо не различают своего в другой форме»), и поэтому в своей январской статье он объяснился более подробно.

### 3

Исходное положение «Необходимого литературного объяснения»—в признании, что «антагонизм» «нетерпеливой части прогрессистов» и «тех, которые рассуждают и сомне-

<sup>1</sup> Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 312—313.

<sup>2</sup> С. С. Борщевский. Щедрин и Достоевский, стр. 41.

<sup>3</sup> «Литературное наследство», т. 25/26, 1936, стр. 391.

<sup>4</sup> <Ф. М. Достоевский>. Оять «Молодое перо».—«Время», 1863, № 3, стр. 153.

<sup>5</sup> Н. Страхов. Заметка летописца. Последние два года в петербургской журналистике.—«Эпоха», 1864, № 10.

ваются, когда надо дело делать», — «вечен», «мы считаем его вполне законным... И без этих нетерпеливых, передовых и свет не стоит. Мало того, если б все были одни рассуждающие, одни сомневающиеся и осмотрительные, ничего бы и не было... Но зато те, которые себя считают представителями прогрессистов и прогрессивной идеи, о! те всегда должны уметь дать отчет своей совести. Они должны знать, куда идут...»<sup>1</sup>. Ради этого им прощается «горячность и поспешность до неосмотрительности» в служении «справедливой идее», «правдивым идеям и начинаниям», «великой мысли»<sup>2</sup>, Достоевский настойчиво подчеркивает, что эта «идея», это «общее дело» не чужды и ему: «часто нам бывало очень больно, когда вы дело проигрывали. Мы болели за вас душой. Вы били своих и не ведали, что творили, да и теперь не догадываетесь»<sup>3</sup>.

Но для Достоевского представляют эту идею с подлинным правом лишь немногие: великие основоположники, «авторитеты, которые стяжали себе особое уважение», — Чернышевский и Добролюбов. «Добролюбов... был человек глубоко убежденный, проникнутый святой, праведной мыслью и великий борец за правду. Чернышевский работал с ним вместе»<sup>4</sup>.

В январской статье Достоевскому пришлось дать объяснение по поводу хлесткого определения «хлебные свистуны». Он доказывал, что был далек от намерения сделать его универсальным, обобщающим для целого направления: «Вопрос о «свистунах из хлеба» мы теперь кончим... На свой собственный счет вы, г-да, или лучше сказать, огромная часть из вас его не может принять, тем более, что хлебные люди в последнее время слишком ярко определились в нашей журналистике: их со всех сторон видно»<sup>5</sup>. Но в этой статье (и ряде последующих) Достоевский настойчиво доказывал, что в самом направлении в целом, со смертью Добролюбова и арестом Чернышевского лишенном вождей, сейчас назрела опасность «застоя прогресса» («бездарность есть тот же застой прогресса») <sup>6</sup>, что «великая мысль», попавшая в руки «мелкоплавающих и близоруких» эпигонов, либо догматически мертвеет («вы мертво-холодны... в вас нет жару, нет духа, убеждения не

<sup>1</sup> «Время», 1863, № 1, стр. 34.

<sup>2</sup> Там же, стр. 32, 35.

<sup>3</sup> Там же, стр. 36. Интересно, что именно работа Достоевского во «Времени» дала А. В. Луначарскому материал для вывода: «у Достоевского внутри живет социалист». — «Русская литература», 1962, № 1, стр. 140.

<sup>4</sup> <Ф. М. Достоевский>. Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов. — «Время», 1863, № 1, стр. 38.

<sup>5</sup> Там же, стр. 31.

<sup>6</sup> <Ф. М. Достоевский>. Опять «Молодое перо». — «Время», 1863, № 3, стр. 161.

свои, а заемные»)<sup>1</sup>, либо мельчится («Вы опошлили и измельчили в глазах общества правдивые идеи и начинанья», «бездарно волочили великую мысль по улице»)<sup>2</sup>.

«Эпигоны» представлялись Достоевскому прежде всего успокоившимися и остановившимися: «Многие из этих мыслителей давным-давно уже ни о чем не задумываются. Сомнений, страданий у них, по-видимому, никогда ни в чем не бывало. Убеждения их удивительно ограничены и обточены. Сомневаться им уже не в чем»<sup>3</sup>. Достоевского, судя по всему, отталкивал и самый тон писаний искровских сатириков, Елисеева, Антоновича, в котором ему мерещилось самодовольство («успокоились вседовольно на Льве Камбеке»). Все это казалось Достоевскому симптомом наступления «казенного либерализма», когда место свободного исследования вечно меняющейся жизни заняло слепое и нерассуждающее поклонение авторитету. Эти симптомы, по мнению Достоевского, ярко сказались у «Искры». Но формулировки статьи вполне поддавались расширенному толкованию, и можно было понять, что тенденция сползания в эту сторону реально грозит и новой редакции некрасовского журнала. «Чернышевский и Добролюбов были другое дело», — заключал Достоевский<sup>4</sup>.

Суждения эти чрезвычайно противоречивы, не поддаются однозначной трактовке и требуют тщательного и тонкого анатомирования. Разумеется, ни к чему бесплодные попытки «улучшать» позицию Достоевского-публициста. Но до последнего времени в этот сложный лабиринт мысли мы вторгались слишком «простым» способом: отбирая наиболее уязвимые строки (которые преподносились как выражение позиции писателя) и отбрасывая без обсуждения все прочее — в качестве «казуистических рассуждений», «не меняющих существа дела»<sup>5</sup>.

Так, сличая журнальные статьи Достоевского с его записными книжками и находя в последних внутренний спор, несогласие с Чернышевским и Добролюбовым, С. С. Борщевский неизменно объясняет это «сторонними» или даже низмен-

---

<sup>1</sup> <Ф. М. Достоевский>. Необходимое литературное объяснение... — «Время», 1863, № 1, стр. 34.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же, стр. 32.

<sup>4</sup> Там же, стр. 38.

<sup>5</sup> С. С. Борщевский. Щедрин и Достоевский, стр. 56. Гораздо глубже и тоньше позиция Достоевского-журналиста в целом освещается в новейшей монографии В. Я. Кирпотина «Достоевский в шестидесятые годы». К сожалению, переходя непосредственно к полемике Достоевского с «Современником», исследователь, по существу, опустил конкретный анализ «антищедринских» статей писателя (как и «Необходимого литературного объяснения...») и предпочел остаться в пределах традиционных характеристик.

ными соображениями. Представление о сложности Достоевского при этом предельно упрощается: будучи «внутри» последовательным ретроградом, «снаружи» он порою демонстрировал свободомыслие, изворачивался и фальшивил из боязни столкнуться с таким сильным полемистом, как Чернышевский, из страха упустить подписчика и т. п. Даже в неопубликованных строках из карманной книжки: «Мы начинать не хотели (открытой полемики с «Современником». — А. Ж.), хотя давно уже ежились. Но вы были нам дороги, мы вам сочувствовали, и мы решились лучше молчать...» — подозревается какое-то необъяснимое лицемерие<sup>1</sup>. Достоевский как литературный деятель (а не только как личность) приобретает в таком освещении удивительно мелкие черты: «Он... «решался молчать» и даже вторил мотивам «ярого вольнодумства», пока «Современник» возглавляли «нерушимые авторитеты» — Чернышевский и Добролюбов. Теперь же ему кажется, что наступил удобный случай начать выбирать из «подполья»<sup>2</sup> и т. п. Между тем, обширные параллели, приводимые исследователем<sup>3</sup>, неопровержимо доказывают одно: то ошибочное, по мнению Достоевского, что у основоположников революционно-демократической теории содержится в тенденции и уравнивается заслугами смелой мысли, именно его берут у них и доводят до абсурда лишённые светлых прозрений «эпигоны».

В заметках Достоевского для себя, так же, как и в его статьях, опубликованных осенью 1862 — зимой 1863 года, мы должны видеть прежде всего искреннее желание «выяснить отношения» — разобраться в сложном соотношении собственных воззрений с идеями «нетерпеливой части прогрессистов». В переломный исторический момент, в изменявшейся на глазах общественной ситуации писатель напряженно размышлял о судьбах чуждой ему теории и ее носителей. И надо сказать, что идеологические трудности, в самом деле назревавшие у «теоретиков», он уловил чутко и с молниеносной точностью: вспыхнувшая вскоре многосторонняя полемика в самой их среде подтвердила это. Общеизвестно, что угроза упрощения и вульгаризация ряда теоретических положений Чернышевского его последователями, несоизмеримыми с ним по масштабу мысли, наметилась вполне реально. Она вовсе не была клеветническим измышлением Достоевского.

Конечно, оценка «свистунов» у Достоевского была пристрастно критической и оттого нередко пристрастно несправедливой. Об этом написано немало. Но сейчас следует, трезво

<sup>1</sup> С. С. Борщевский. Щедрин и Достоевский, стр. 62.

<sup>2</sup> Там же, стр. 69.

<sup>3</sup> Большой заслугой С. С. Борщевского является то, что он впервые ввел в научный оборот этот богатейший и интереснейший материал, ранее совершенно неизвестный.

разобравшись в материале, отметить и другое: чутьем гениального художника Достоевский угадал некоторые действительно уязвимые места и трагические беды своих антагонистов.

Он остро, почти болезненно ощущал глубину пропасти, лежащей между революционным «авангардом» и крестьянской массой,—истолковывая это по-своему, как безусловное свидетельство ошибочности революционной теории: «Народ, может быть, и слушать-то их не станет, об чем бы они ни говорили ему. В правдивость, в искренность нашего сочувствия не верит народ до сих пор», «они одни, на воздухе, в совершенном одиночестве и без всякой опоры на почву»<sup>1</sup>.

Глубокое убеждение Достоевского в том, что вне опоры на народную почву невозможна никакая плодотворная деятельность<sup>2</sup>, еще не содержало в себе ничего такого, что было бы чуждо революционной демократии,—ведь и Салтыков считал, что только народ «в силах искупить наше бессилие,.. может спасти нас» и «какова бы ни была деятельность, но если она ищет опору инде, то эта деятельность пройдет мимо, каковы бы ни были ее намерения»<sup>3</sup>.

Разумеется, руководимый Достоевским журнал отдал щедрую дань пропаганде «слияния» сословий—тем самым «общительным мечтаниям», над которыми в апрельской хронике «Нашей общественной жизни» столько иронизировал Салтыков<sup>4</sup>. Но у того же Достоевского бывали трезвые прозрения: «Слышал я недавно, что какой-то современный помещик, чтоб слиться с народом, тоже стал носить русский костюм и повадился в нем на сходки ходить; так крестьяне как завидят его, так и говорят промеж себя: «Чего к нам этот ряженный таскается?». Да так ведь и не слился с народом помещик-то»,—читаем в «Зимних заметках о летних впечатлениях»<sup>5</sup>. Характерно, что эту мысль о соотношении «благородного» и «неблагородного» сословий писатель подтверждает «словами старосты в одном из губернских очерков Щедрина»<sup>6</sup>. Но еще ближе, чем «Губернские очерки», к сатирической сцене, нарисованной Достоевским, были эпизоды из «Нашей общественной жизни»: «Сладко и умирительно путешествовать в настоящую минуту по российским палестинам..»

— А ну-ка, братцы! Как бог работатъ помогает (не работатъ, а работатъ—этого требуют правила общения)?—спра-

<sup>1</sup> <Ф. М. Достоевский> Объявление о подписке на журнал «Время» на 1863 г.— «Время», 1862, № 9, стр. 3, 4.

<sup>2</sup> «Общество дойдет до настоящего пути», лишь когда поймет, что «без соединения с народом оно одно ничего не сделает» («Время» 1862, № 9, стр. 8).

<sup>3</sup> М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 112.

<sup>4</sup> Там же, стр. 97.

<sup>5</sup> «Время», 1863, № 2, стр. 229.

<sup>6</sup> Там же, стр. 300.



шивает какой-нибудь Сидор Сидорович, а сам так-то веселенько хихикает.

— Рады стараться для вашего здоровья, Сидор Сидорыч!—отвечают «непочатые родники»...

— Что, видно, не спорится? Или дерябнуть для куражу?

...Приносят водку... Но водка кончилась, а «непочатые родники» ни с места...

— Ах, пострели вас горой! думает Сидор Сидорыч...

Итак, наши общительные мечтания покуда не привели на практике ни к какому результату: мы стоим сами по себе, а «непочатые родники» сами по себе<sup>1</sup>.

Достоевский не расходился с демократией и в своем протесте против «вторичного нравственного крепостного права», «самодовольного цивилизаторства», «опеки» над народом «говорунов, желающих его осчастливить»<sup>2</sup>. О том, что «массы сами желают устроить свою жизнь и, до поры до времени, требуют... одного: отгоняйте тех, которые мешают им, а паче всего не мешайте им сами», приблизительно в одно время с Достоевским писал Салтыков<sup>3</sup>. Неслучайно наиболее «верный взгляд на народность» в этом отношении Достоевский, «к удивлению своему», обнаружил в демократической газете «Очерки», которую и выделил «из числа других новых изданий»<sup>4</sup>. Однако «самодовольное цивилизаторство», привычка «с капральской самоуверенностью стоять над народом»<sup>5</sup> писателю виделись не у одних «гадливых белоручек»—дворянских идеологов, но в не меньшей мере и у революционных «теоретиков». Тем не менее, он был не очень далек от истинного положения вещей, угадывая одиночество революционного авангарда, и ход реальных событий—сама развязка общественной «драмы» 1860-х годов подтвердила правоту его горьких предположений. Характерно, что немного лет спустя почти теми же словами сказал о судьбе «шестидесятников» человек совершенно иной ориентации—П. Н. Ткачев: ...«За ними не стояла никакая реальная сила», «у них не было прочных корней» «в

<sup>1</sup> М. Е. Салтыков. (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 96—97. Достоевского сближает с Салтыковым и сама ирония над цветистой либерально-славянофильской фразеологией: «душу народа как-то уже давно принято считать чем-то необыкновенно свежим, непочатым и «неискушенным». Нам же, напротив, кажется..., что судьба до того ее починала... что пора бы... не судить о ней по карамзинским повестям...» На эти строки Достоевского впервые обратил внимание В. Я. Кирпотин. (См.: В. Я. Кирпотин. Достоевский в шестидесятые годы, стр. 20).

<sup>2</sup> <Ф. М. Достоевский>. Щекотливый вопрос. — «Время», 1862, № 10.

<sup>3</sup> М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 499.

<sup>4</sup> <Ф. М. Достоевский>. Журнальная заметка о новых литературных органах и новых теориях.— «Время», 1863, № 1, стр. 185.

<sup>5</sup> <Ф. М. Достоевский>. Зимние заметки о летних впечатлениях.— «Время», 1863, № 2, стр. 307.

народе»<sup>1</sup>. Размышления об этом, проникнутые глубоким трагизмом, мы находим и в «Прологе» Чернышевского.

Достоевский улавливал действительную, реальную слабость «теоретиков» и тогда, когда писал: «нетерпеливая часть прогрессистов» «удовлетворяется умозрениями, потому что и не подозревает еще всего того, чему после ей придется научиться у жизни»<sup>2</sup>. С полемическим азартом он упрекал своих противников в том, что они «санкционируют регламенты», «для них жизнь что-то такое маленькое, что в нее не стоит и вдумываться»<sup>3</sup>, «оранжерейные прогрессисты... чрезвычайно довольны своей оранжерейностью»<sup>4</sup>.

Но ведь эти соображения о необходимости преодолевать известную книжность и отвлеченно-умозрительное восприятие жизни—исключительно важный момент *пересечения мыслей* Достоевского и Салтыкова. Сохранившееся в корректуре окончание январской хроники «Нашей общественной жизни», совпадающее с очерком «Каплуны», содержало серьезную критику революционного авангарда—«мальчишества»—за «растрачивание... как попало» своей «силы», негибкую тактику и «себялюбивую брезгливость мысли», мешающую «прикоснуться к действительности». Главная беда «мальчишек» в том, что они «решительно не признают жизни текущей и не хотят иметь с ней никаких счетов», «веруя в готовые идеалы», «вне сферы которых ничего не признают». Ратуя за «будничное, некрасивое дело», требуя, чтобы передовая «мысль» не была «сосредоточена в кабинете», Салтыков доказывал, что «презрение к массам слышится в этом высокомерном отношении к жизни»<sup>5</sup>.

Вместе с тем разница в *оценках*, в *отношении к факту*, который оба писателя диагностировали во многом одинаково,—наглядна. Для Достоевского вся деятельность революционной демократии — болезнь исторического роста России, один из смелых, но ошибочных шагов, без которых никогда не обходятся поиски обновления жизни. Деятельность «партии» «Современника» — экспериментальная попытка, вскрывшая бесплодность «скачков и опасных salto mortale», не дающих «выход на настоящую дорогу»<sup>6</sup>.

Для Салтыкова революционные «мальчишки» оставались героями истории, правыми именно в главном, основном на-

<sup>1</sup> Цитирую по изданию: М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. 6, стр. 24. См. также: В. Кирпотин. Достоевский в шестидесятые годы, стр. 14.

<sup>2</sup> <Ф. М. Достоевский>. Необходимое литературное объяснение...—«Время», 1863, № 1, стр. 34.

<sup>3</sup> Там же, стр. 31, 32.

<sup>4</sup> <Ф. М. Достоевский>. Зимние заметки о летних впечатлениях.— «Время», 1863, № 2, стр. 305.

<sup>5</sup> М. Е. Салтыков—(Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 492—499.

<sup>6</sup> «Время», 1862, № 9, стр. 5—6, 8.

правлении своей «подземной» работы. Только они и есть та «сила», которая «держит общество в постоянной тревоге новых запросов» и вызывает «осуществление новых жизненных форм»<sup>1</sup>.

Достоевский прикоснулся к тому «больному месту», которое чувствовал и Салтыков. Но в начале 1863 года сатирик счел несвоевременным «делать строгий выговор» «мальчишеству» в трудный для него момент, когда оно «без того подвергается выговорам» (см. начало мартовской хроники «Нашей общественной жизни»—«Оговорка»)<sup>2</sup>. Заключительные страницы январско-февральской статьи в печати не появились. Для Достоевского этих соображений не существовало. И независимо от намерений писателя его выступление в тяжелую «минуту ликвидации»<sup>3</sup>, когда надо было с трудом удерживать рассеиваемые силы, с неизбежностью было воспринято как попытка «повредить общему делу».

Этим объясняется суровый тон абзаца, посвященного журналу Достоевских в январско-февральской хронике Салтыкова: «Время» упоминается в одном ряду с лекциями Юркевича, выступлениям «Русского вестника» и «Нашего времени»<sup>4</sup>. Это не было попыткой обороны «своего» органа: участие сатирика в «Искре» очень эпизодично. Автор «Нашей общественной жизни» выступил в защиту направления в целом (хотя внутри его и наметилось многое, с чем он сам не был согласен), принимая на себя и удар, нацеленный против «Искры».

Но следует отметить сразу, что резкий упрек Салтыкова журналу Достоевских имел все же характер предупреждения. Сатирик проводил заметную черту между купленным рвением «благонадежной» прессы, исходившей «ненавистью к мальчишкам и нигилистам», и заблуждением Достоевского, в котором не подозревалась никакая корыстная «заинтересованность»: «Справедливость требует, однако ж, сказать, что «Время» не прилагает этих эпитетов собственно к мальчишкам... «Время» свистит и в то же время говорит: «Из чести лишь одной я в доме сем свищу»<sup>5</sup>. В этой связи особенно интересны заключительные страницы январско-февральской хроники, где Салтыков в общей форме, не упоминая имен, разделил голоса, прозвучавшие в «антинигилистическом» хоре. Он отграничил «паразитов», которые стремятся «угнездиться именно там, где более обеспечено еды», от «людей просто забывчивых» и к последним «обратился» со страстным упреком-напоминанием:

---

<sup>1</sup> М. Е. Салтыков. (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 54—55, 491.

<sup>2</sup> Там же, стр. 56.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Там же, стр. 51—52.

<sup>5</sup> Там же.

«Неужели вы в самом деле забыли? Неужели вы не метались и не кипели? Неужели сошли на путь благонамеренности... случайно и безразлично... Нет, это невероятно. Это невероятно потому, что нет такого человека, которого заплесневелая душа не умилилась бы перед воспоминанием о давнопрошедших сладких днях молодости... Ибо, каково бы ни было содержание молодости (положим, что оно было беспутно с вашей *нынешней* точки зрения), все же оно говорит о силе, говорит о надеждах, о жажде подвига, говорит о той книге жизни, которая когда-то читалась легко и которая туго и тупо дается осторожно-каплуныему пониманию старчества... Я просто становлюсь на историческую почву и говорю «благонамеренным»: вспомните то время, когда вы были мальчишками, и поищите в своей памяти, не было ли и тогда «благонамеренных»? Думаю, что этого вопроса достаточно, чтобы заставить их покраснеть»<sup>1</sup>.

К кому могли относиться эти строки?

Лишь немногие из «людей сороковых годов» оказались способны, подобно Салтыкову и Некрасову, принять революционные истины, провозглашенные новым поколением «шестидесятников».

К «деятелям», для которых убеждения—«дело торговое» Салтыков, судя по контексту, относил Н. Ф. Павлова, А. А. Краевского, М. Н. Каткова. В сороковые годы они были прикосновенны к кругу Белинского, противостояли продажной литературной когорте Булгарина-Греча, подвергались нападкам «охранителей». В середине пятидесятих—находились в первых рядах шумных «поборников гласности». К 1863 году оказались, открыто или прикровенно, на содержании у «властей», во главе похода против революционных «мальчишек» и передовой литературы.

«Забывчивыми», которым Салтыков настойчиво напоминал время их собственного «мальчишества», для него могли быть только два человека, чьи имена также прозвучали в хронике, сверстники его литературной молодости: автор «Записок охотника» и бывший петрашевец, «пропагатор» утопического социализма, поплатившийся за передовые убеждения многолетней каторгой,—Достоевский.

#### 4

Достоевский не замедлил с ответом на упреки Салтыкова, но, как известно, внешним поводом для его резкого памфлета «Молодое перо» оказалась появившаяся в №№ 1—2 «Современника» параллельно с «Нашей общественной жизнью» анонимная «Литературная подпись».

<sup>1</sup> М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 53.

С. С. Борщевский снял с нее всякое серьезное значение, считая «отправным пунктом горячего спора» январскую хронику, а бурную реакцию Достоевского именно на «Литературную подпись» интерпретировал как тактическую хитрость, попытку увести спор с главного русла в побочное<sup>1</sup>. Между тем для Достоевского были равно важны оба выступления Салтыкова, и он объединил их в своем ответе. Без внимательного прочтения «Литературной подписи» мы рискуем не понять, чем внушен пафос двух статей Достоевского о «молодом пере», чем подсказано самое их название.

Через оба памфлета проходит мотив измены, отречения от «прежнего»: «или вы уж так весь впились в интересы редакции «Современника», что, впиваясь, оставили прежнее у порога?»<sup>2</sup> «Не просто прогрессист, а перепеченный недавно в нигилисты по редакционной надобности», «примкнул к «quasi—нигилистам», «хлебным свистунам», «думая, что они посильнее»<sup>3</sup>. Так уже упорно повторяются два характеризующих мотива: указание на «юность» («молодой человек», «молодой рецензент», «молодое перо», «начинающий талант», «молодое необстрелянное дарование») и «аристократизм» («почему вы за генералов одних стоите, почему они так вам милы, блестящий и талантливый аристократ?» «вы, генерал и блестящий писатель», «генерал от литературы»)<sup>4</sup>.

Для точного понимания этих строк необходимо учитывать следующее: весь первый номер «Современника» был направлен в защиту «трудного подвига» молодого поколения, против благоразумного отступничества и оппортунизма; и в центре его публицистического материала оказалась именно хроника Салтыкова<sup>5</sup>. Сопоставив революционное «мальчишество» 60-х годов с дворянскими либералами, идейно выветрившимися «бывшими друзьями Белинского и поклонниками Грановского», Салтыков выразил уверенность в том, что только с «мальчишеством» связано «будущее» России. Критика не случайно увидела пафос щедринской хроники в «заступничестве» за «молодое поколение»<sup>6</sup>.

Все эти суждения были приурочены в хронике к роману «Отцы и дети». Тургеневу же Салтыков посвятил в «Литера-

<sup>1</sup> С. С. Борщевский. Щедрин и Достоевский, стр. 32—33.

<sup>2</sup> <Ф. М. Достоевский>. «Молодое перо».—«Время», 1863, № 2, стр. 225.

<sup>3</sup> <Ф. М. Достоевский>. Опять «Молодое перо».—«Время», 1863, № 3, стр. 149, 158, 160, 162.

<sup>4</sup> <Ф. М. Достоевский>. «Молодое перо».—«Время», 1863, № 2, стр. 221, 223, 225.

<sup>5</sup> См. воспоминания Г. З. Елисеева в кн.: Шестидесятые годы, М. — Л., «Academia», 1933, стр. 281.

<sup>6</sup> К. Л. <Леонтьев>, Наше общество и изящная литература. — «Голос», 1863, 20 марта, № 67.

турной подписи» иронические строки, касающиеся обстоятельство- ств его разрыва с Некрасовским журналом<sup>1</sup>.

На фоне бурной полемики об «Отцах и детях» все это неизбежно должно было казаться Достоевскому признаком разрыва сатирика, «человека 40-х годов», со своим поколением. Для Достоевского за «прежним» вставляли именно общие истоки их идейно-литературного формирования, от которых, как ему казалось, ныне отрекался Салтыков. Как мы помним, об этом соотношении поколений размышлял и к тому же «прежнему» взывал и автор «Нашей общественной жизни». Но остаться верным «прежнему» для сатирика означало как раз—уметь принять новые революционные истины, и в этом величие и сила его мысли. В качестве «отступника» своего поколения и апологета «мальчишек» Салтыков и был иронически аттестован в памфлетах Достоевского как «юное дарование»: Достоевский, видимо, был по-настоящему задет строками об «осторожно-каплуныем понимании старчества»: «Вы начинающий талант, блестящий—это правда, но послушайте, однако, нас, стариков. Не тратьте даром молодых сил, сил юных, пылких, неопытных»<sup>2</sup>.

В свою очередь эти подчеркнутые эпитеты, которые не прошли мимо внимания Салтыкова<sup>3</sup>, подсказали ему, очевидно, прозрачный псевдоним «Михаил Змиев-Младенцев», которым он воспользовался в первый и последний раз в апрельском номере «Современника».

Наконец, нужно помнить еще одно: для Достоевского «хлебный свистун есть тот, который... свищет на первого встречного по заказу»<sup>4</sup>. Намек Салтыкова на столкновение Тургенева с Некрасовым, конечно, был воспринят редактором «Времени» как эта разновидность «свиста»—«по заказу» хозяина. А внешнее биографическое обстоятельство: поступление в редакцию «нигилистического» журнала почти прямо с вице-губернаторского поста, видимо, казалось убедительным свидетельством присоединения к «нигилизму» «по моде» и расчету. Общеизвестно, что этот, действительно, необычный биографический факт на первых порах внушал необоснованные сомнения не одному Достоевскому: о «вице-губернаторских распеканиях» Щедрина писал в апреле 1863 года В. Зайцев в «Русском слове», упоминал журнал «Развлечение»<sup>5</sup> и т. д.

<sup>1</sup> М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. V, стр. 286.

<sup>2</sup> <Ф. М. Достоевский>. «Молодое перо»—«Время», 1863, № 2, стр. 222.

<sup>3</sup> «Время», ...желая избидеть одного из наших сотрудников... постоянно называет его «молодым человеком» (Н. Щедрин. Полн. собр. соч., т. VI, стр. 74).

<sup>4</sup> <Ф. М. Достоевский>. Журнальные заметки. I. Ответ Свистуну. —«Время», 1863, № 2, стр. 215.

<sup>5</sup> Заметки Свистуна. — «Развлечение», 1863, № 8, 23 февр., стр. 123.



Кроме того, существовало, очевидно, какое-то недоразумение, не проясненное биографами Щедрина и Достоевского, о котором свидетельствует заметка в записной книжке последнего: «Я преследовал в нем литератора продажного (что я слышал лично от г-на Щедрина)»<sup>1</sup>. По-видимому, источник его—ошибочное истолкование какого-то высказывания сатирика<sup>2</sup>. Надо отметить только, что на публицистическом языке Достоевского «продать» не обязательно означало материально-денежную сделку. Еще в самом первом объявлении о журнале «Время» он писал, что «можно продавать свои убеждения и не за деньги. Можно продать себя, например, от излишнего врожденного подобоострастия или из-за страха прослыть глупцом за несогласие с литературными авторитетами»<sup>3</sup>.

## 5

Во втором памфлете Достоевского «Опять «Молодое перо» сатирик открыто поставлен в параллель с искровцами: вся его статья «только «головешкина» отрывка и ничего больше»<sup>4</sup>, Салтыков вообще пошел на поводу у искровцев: «Мы восстали на хлебных свистунов, мы сказали святую правду, вы нас за это слепо ругаете... Какой это нигилист из «Головешки» вас этому научил!»<sup>5</sup>. Достоевский был убежден, что «Искра», будучи несамостоятельна, в данном случае повела за собой «Современник».

Реальное соотношение сил было обратным. Авторитетный и веский голос Салтыкова, прозвучавший в разгаре спора, много значил для редакции «Искры». Журнал В. С. Курочкина, в свою очередь, поддержал «Современник» в начавшейся борьбе. Н. А. Лейкин в воспоминаниях, относящихся к 1863—1864 годам, свидетельствует: «Я слышал о Салтыкове много восторженных речей от сотрудников «Искры», от самого В. С. Курочкина, который даже ездил к нему советоваться с некоторыми рукописями»<sup>6</sup>. Вполне возможно, что действия

<sup>1</sup> С. С. Борщевский. Щедрин и Достоевский, стр. 65.

<sup>2</sup> Достоевскому легко было превратно понять такие, например, суждения: «Что старая сила, доселе питавшая общество, истощилась и закончила свой цикл, — в этом не может быть сомнения. ...Ясно также, что и примкнуться к ней нельзя; нет расчета. Стало быть, должна быть другая сила, а эта сила... заключается в мальчишестве. Это сила новая, свежая, примкнуться к ней лестно... да и расчет есть: того гляди, она наверх всплывет» (М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 491).

<sup>3</sup> Ф. М. Достоевский. Полн. собр. худож. произведений, т. 13, М.—Л., ГИЗ, 1930, стр. 499.

<sup>4</sup> <Ф. М. Достоевский>. Опять «Молодое перо». — «Время», 1863, № 3, стр. 150.

<sup>5</sup> Там же, стр. 160.

<sup>6</sup> М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 1957, стр. 69.

обоих журналов в борьбе с органом почвенничества были координированы<sup>1</sup>.

Полемические материалы «Искры» и в существе, и в деталях совпадают с щедринскими хрониками, подхватывая и развивая их мотивы. До этого «Искра» писала о «Времени» часто, но больше враздробь и по мелочам (о табачной фабрике М. М. Достоевского, туманной философичности статей Косицы-Н. Н. Страхова, о знаменитых «антиспатах» — грубой ошибке, вкравшейся в набор при публикации во «Времени» лекций Т. Н. Грановского). Совершенно по-новому в смысле и содержания, и тона она выступила после того, как в первом номере «Современника» сказал свое слово Щедрин.

В большой статье «Домашний театр «Искры». Ванна из почвы или галлюцинации М. М. Достоевского. Фантастическая сцена» «Хлебный свистун»<sup>2</sup> дал развернутую оценку «Необходимому литературному объяснению...» «Сцена» близка по существу к фельетону «Тревоги «Времени», появившемуся в мартовской хронике Щедрина. Критика двойственной позиции «Времени» — главное и в щедринском фельетоне, и у сатирика «Искры». Салтыков настойчиво вскрывал объективные тенденции неизбежного дальнейшего движения журнала, не имеющего твердой программы: «вы начнете катковствовать в самом непродолжительном времени»<sup>3</sup>. О том, что позиция журнала чревата отступлениями в сторону консерватизма, пишет и искровский автор: «То, что он называет *теперь* «тяжелую ярыжность», он же сам считал прежде очень остроумным... и даже других уверял в этом»<sup>4</sup>. Так же, как Салтыков, «хлебный свистун» нападает на претензию «Времени» представлять «новую мысль»<sup>5</sup>, отнимает у него право апеллировать к авторитету «умершего Добролюбова и безмолвствующего Чернышевского»<sup>6</sup>, (ср. в хронике: «С чьего разрешения вы приплели Чернышевского и Добролюбова в эту грустную повесть ваших самолюбивых тревог?»<sup>7</sup>). Вместе с Салты-

<sup>1</sup> Сделать это было тем легче, что их связывали общие сотрудники. Так, В. П. Буренин, участник этой полемики (см. его стихотворение «Ах, зачем читал я «Время». — «Современник», 1863, № 4, «Свисток» № 9) был постоянным автором «Искры»; Г. З. Елисеев, по-видимому, не оставлял ее, войдя в редакцию «Современника».

<sup>2</sup> Со ссылкой на П. В. Быкова И. Ф. Масанов раскрывает авторство Д. Д. Минаева («Словарь псевдонимов», т. 3, М., 1958, стр. 216).

<sup>3</sup> М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 74.

<sup>4</sup> «Искра», 1863, № 7, 22 февр., стр. 107.

<sup>5</sup> Там же, стр. 105. (Ср. у Салтыкова: «Какой руководящей мысли вы были органом? Никакой... Вы постоянно стремились высказать какую-то истину, вроде сапогов всямку» — М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 73).

<sup>6</sup> «Искра», 1863, № 7, 22 февр., стр. 107.

<sup>7</sup> М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 73.

ковым сатирик «Искры» высмеивает «самолюбие неумеренное» издателей «Времени»<sup>1</sup> и т. д.

«Ванна из почвы» опубликована в «Искре» от 22 февраля 1863 года. «Современник» с мартовской щедринской хроникой вышел позже. Но вторая корректура этой хроники датируется 23 февраля<sup>2</sup>. Можно считать, что обе статьи писались одновременно, «Современник» и «Искра» готовили объединенный удар по «Времени».

С появлением хроник Салтыкова «Искра» заметно расширила репертуар своих юморесок по поводу «Времени», и в них неизменно просматривается соответствие с материалом «Нашей общественной жизни» вплоть до прямых напоминаний и цитаций<sup>3</sup>.

Н. А. Лейкин, видимо, не преувеличивал, когда писал о «восторженном» отношении искровцев к сатирику. Как свидетельствуют факты, журнал Курочкина развернул в начале 1863 года энергичную защиту «Современника» и избавил Салтыкова от необходимости вести личную полемику с Достоевским.

## 6

Апрельские материалы, опубликованные в № 9 «Свистка» («Современник», 1863, № 4), были уже остаточными явлениями спора, на углубление которого Салтыков в них не пошел. Он повторил в форме лапидарных юморесок мотивы своих прежних выступлений. Наибольшее значение здесь имеют миниатюры, связанные с оценкой Салтыковым Достоевского — писателя: характер этой оценки тоже нуждается в дальнейшем выяснении и уточнении.

Еще в «Тревогах «Времени» Салтыков, подытоживая свои несогласия с журналом, бросил упрек: «ваше сентиментальничанье с либерализмом есть тысячекратно повторяемое трясение гоголевской «Шинели»<sup>4</sup>. К кому и чему конкретно относились эти строки?

По-видимому, повод для них сатирику дал не сам

<sup>1</sup> «Искра», 1863, № 7, 22 марта, стр. 105.

<sup>2</sup> См.: «Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома АН СССР». IX. М.—Л., 1961, стр. 100.

<sup>3</sup> Так, в щедринских «Тревогах «Времени» как бы заданы темы ряда кэрикатур Н. А. Степанова: «Мелкоплавающие и близорукие», «Время, напуганное своей тенью» («Искра», 1863, № 7, 22 марта, стр. 95). В интереснейшем искровском «Опыте словаря псевдонимов современной русской литературы» читатель просто отсылается к январской хронике «Нашей общественной жизни». (Там же, № 13, 12 апреля, стр. 195). Анонимная апрельская статья «Искры» «Козни злонамеренных (плач о погибающих)», в сущности, подытожила весь спор 1863 года между Салтыковым и «Временем». (Там же, № 14, 19 апреля, стр. 206—207).

<sup>4</sup> М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 76.

Ф. М. Достоевский-писатель, как чаще всего считают<sup>1</sup>, а состав беллетристического отдела первого номера «Времени» в целом. Прямыми реминисценциями из гоголевской повести выглядели эпизоды нескольких рассказов и очерков, опубликованных в этой книжке журнала. Так, Н. Соколовский («Из записок следователя в арестантской роте. Самоубийца») рискнул полностью повторить самый характер Башмачкина: «Синицын был из самых смиренных, самых забытых и самых работающих чиновников... Товарищей своих Синицын чуждался, он больше молчал угрюмо... несмотря на аккуратность и исполнительность служба Синицыну не везла... он в 40 лет оставался тем же писцом, каким и поступил... Синицын служил постоянным центром для потехи товарищей... Долго, бывало, отмалчивается от навязчивых приставаний, только, как очень невтерпеж станет, так скажет: Ведь я никого из вас, господа, не трогаю, что же вы-то ко мне с такими все пакостями лезете?»<sup>2</sup>.

Автор «физиологического очерка» «Бедные жильцы» Петр Горский присвоил своим героям все щемящие бытовые детали бедственной эпопеи Акакия Акакиевича: «Шинель, служащая во все времена года защитой от непогод, постелью, одеялом и халатом. Ворс на сукне до того вытерся, что оно походило больше на тюль, чем на сукно»<sup>3</sup>—и т. д.

Эти почти цитатно звучащие места не могли ускользнуть от Салтыкова. Подобная беллетристика разменивала социальный гуманизм на снисходительное сочувствие к «маленьким людям», ставшее анахронизмом в шестидесятые годы. Салтыков выступил здесь защитником того «сурового реализма» в изображении народной жизни, который выдвинул как программное требование Н. Г. Чернышевский в знаменитой статье «Не начало ли перемены?».

Претензии сатирика совершенно очевидно относились не к Достоевскому-автору, но к Достоевскому—руководителю журнала. Вернувшись к этому мотиву в апрельском «Свистке», Салтыков опять подчеркнул то же самое:

Раз беспечно он «Шинелью»  
Гоголя играл  
И обычной канителью  
«Время» наполнял.

<sup>1</sup> Так, С. С. Борщевский оспорил мнение Л. П. Гроссмана, утверждавшего в комментариях к 23 тому полного собрания сочинений Достоевского (1913), что Щедрин «выделил из поля своих нападок произведения Достоевского»: «Такое истолкование, однако, не согласуется с тем, что Щедрин... чрезвычайно резко отзывался о литературной деятельности Достоевского», — пишет С. С. Борщевский (Щедрин и Достоевский, стр. 43).

<sup>2</sup> «Время», 1863, № 1, стр. 20—21.

<sup>3</sup> Там же, стр. 283, 297.

Тем не менее, необходимо заметить, что даже в момент острейшей полемики, подвергая сокрушительной критике позицию журнала в целом, Салтыков все-таки склонен был сделать исключение для его беллетристического отдела, душою которого был Достоевский-писатель: «хоть всю книжку обшарь (разумеется, мы не говорим о беллетристике), ни обо что не запнешься»<sup>1</sup>.

7

Спор был яростным, во взаимном ожесточении противников было немало эмоциональных преувеличений и обоюдной неправоты: Достоевский в пылу борьбы объявлял щедринскую сатиру беспредметным «искусством для искусства»<sup>2</sup>, а Салтыков предлагал юмористическую транскрипцию «Записок из Мертвого дома»<sup>3</sup>.

Но сегодня внимательного читателя статей Салтыкова и Достоевского не может не захватить интереснейшее явление: в апогее ожесточенной полемики их взгляды во многом были объективно соотносимы, хотя, по всей вероятности, оба решительно отказались бы от признания такой близости.

Необходимо вспомнить, что «Время» не было цельным органом. Едва ли не все современники отмечали, что журнал «сидит меж двух стульев»<sup>4</sup>, пытается «служить и нашим и вашим»<sup>5</sup>, его редакция соединяет в себе свойства «радикалов, каких свет не видывал», и «консерваторов, каких свет тоже не очень часто теперь выдает»<sup>6</sup>. Но теперь можно было бы сказать, что в этом факте заключался не только минус, но и своеобразный плюс. Журнал, руководимый Ф. М. Достоевским, не стал «своим» органом для Павлова, Каткова, Скрятина.

Эта «двойственность» «Времени» создавалась главным образом за счет выступлений Достоевского, который часто говорил не то, что его коллеги—Н. Н. Страхов, И. Г. Долгомыслов<sup>7</sup>, и не всегда оставался верным самому себе. «Он слишком для меня близок и непонятен,—признавался Страхов.—В нем как будто не было ничего сложившегося, так обильно нарастали мысли и чувства, столько таи-

<sup>1</sup> М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 75.

<sup>2</sup> <Ф. М. Достоевский>. Опять «Молодое перо». — «Время», 1863, № 3, стр. 159.

<sup>3</sup> «Опыты сравнительной этимологии или «Мертвый дом» по французским источникам». Поучительно-увеселительное исследование Михаила Змиева-Младенцева (М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. V, стр. 256).

<sup>4</sup> И. С. Аксаков. Письмо Н. Н. Страхову от 6 авг. 1863 г. См.: Н. Н. Страхов. Воспоминания о Ф. М. Достоевском, стр. 257.

<sup>5</sup> К. А-ъ. Народный дух. — «Наше время», 1862, № 66, 25 марта.

<sup>6</sup> П. В. Диковинки русской журналистики. — «Современная летопись» «Русского вестника», 1862, № 43, стр. 15.

<sup>7</sup> Ср.: В. Я. Кирпотин. Достоевский в шестидесятые годы, стр. 13.

лось неизвестного и непроявившегося под тем, что успело сказаться»<sup>1</sup>.

Достоевский неслучайно проводил водораздел между собой и «теоретиками» в области «веры», присоединяясь к ним нередко в «отрицаниях». Его отношение к «свисту» вообще было своеобразно и не совпадало с позицией, например, Страхова.

Как известно, с самого начала грубейшей кампании Каткова против «Свистка» Достоевский встал на сторону последнего<sup>2</sup>. Но и в 1863 году он упорно заявлял: «...Собственно против свиста мы ничего не имеем. Это только особенная форма проведения мысли, употреблявшаяся в последнее время с большим успехом в отечественной словесности»<sup>3</sup>. Как свидетельствует «органически не расположенный к нигилизму» Страхов, «похвала свисту», появлявшаяся порою в его статьях, «вообще... выражает вовсе не мои вкусы», а «принадлежит Федору Михайловичу, и я уступил его довольно горячему настоянию»<sup>4</sup>. Достоевский не остался нечувствителен к публицистической манере, открытой «Свистком»<sup>5</sup>, и сам писал статьи «со свистом»<sup>6</sup>.

Контакты Достоевского с Салтыковым обнаруживаются именно в «свистящей», критической части его статей. Ближе всего два великих современника оказались в критике отступничества вчерашних шумных либералов, спешно сдававших свои позиции под угрозой реакционного натиска, в общей оценке положения русской прессы в начале 1863 года.

Первая хроника Салтыкова появилась почти одновременно с «Журнальной заметкой о новых литературных органах и новых теориях» Достоевского<sup>7</sup>. К сожалению, до последнего времени эта важнейшая статья выпадала из поля зрения новейших исследователей публицистики писателя, как и более ранний, также очень значительный «Щекотливый вопрос». Впервые обратился к этому материалу В. Я. Кирпотин, но использовал его далеко не в полную меру. Чутко улавливая «признаки времени», Достоевский параллельно с Салтыковым ставит себе ту же задачу: определить «новый тон, новые идеи, новые принципы, новый настрой наших ор-

<sup>1</sup> Н. Н. Страхов. Воспоминания о Ф. М. Достоевском, стр. 275.

<sup>2</sup> См.: В. Я. Кирпотин. Достоевский в шестидесятые годы, стр. 92—93, 116.

<sup>3</sup> <Ф. М. Достоевский>. Журнальные заметки. I. Ответ Свистуну. — «Время», 1863, № 2, стр. 215.

<sup>4</sup> Н. Н. Страхов. Воспоминания о Ф. М. Достоевском, стр. 235.

<sup>5</sup> Там же, стр. 213.

<sup>6</sup> <Ф. М. Достоевский>. Щекотливый вопрос. Статья со свистом, с превращением и с переодеванием. — «Время», 1862, № 10.

<sup>7</sup> «Время», 1863, № 1.



ганов», ибо уже с конца 1862 года «предчувствовалось какое-то новое, наклеывающееся словечко»<sup>1</sup>.

Собственно, этот признак по-разному отметили все газеты и журналы, люди разной, даже противоположной идейной ориентации: Салтыков, Павлов, Катков, Аксаков. Все дело было в оценке явления, отношении автора к этому факту. «В самом общественном мнении 1862 год произвел благотворную перемену, — удовлетворенно свидетельствовал, например, М. Н. Катков.—После того как некоторые направления общественной мысли дошли до последней степени бессмыслия, выразившись в нелепых петербургских прокламациях, в расположении умов начался перелом, содействовать которому обязаны все люди благомыслящие»<sup>2</sup>.

Центральное, принципиальное, существенное место статьи Достоевского необходимо привести целиком, не смущаясь размерами цитаты: «Стадо куриц... внезапно испуганное», бежит, куда попало, в паническом страхе. Да курица и постоянно, всю жизнь свою до самого супа живет в паническом страхе... Но вот гроза... прошла: хохлатки собираются опять в кучу... Малодушные и раздирающие их вопли перешли уже в какой-то даже солидный тон... В этом кудактании уже проглянуло чувство собственного достоинства... кудактается что-то такое как будто о морали; слышится даже что-то как будто о семействе, о собственности. Проступает, наконец, доктринерство и в заключение гордое торжество: «мы говорили, мы предсказывали, вот плоды! Кудак-так-так!.. Они толкуют, что что-то потеряно, что-то проиграно, что общество в чем-то оказалось несостоятельным... Они как будто уверены или себя уверили, что была какая-то битва, какая-то катастрофа..., что что-то упало, что-то погибло... А между тем, в сущности, ничего не упало, ничего не погибло, ничего не пропало, все тянется через пень-колоду по-старому, и ничего такого особенного не произошло, под чем бы можно было провести черту и подписать Finis»<sup>3</sup>.

В то время как реакционная печать славилла наступившую «благотворную перемену», а дюжинная либеральная публицистика «Отечественных записок», «Санкт-Петербургских ведомостей», «Голоса» на все лады обвиняла «нетерпеливых» революционеров, которые своими «крайностями» заставили правительство перейти к реакционному курсу и погубили таким образом «великие начинания», Достоевский, солидаризируясь невольно с передовой журналистикой, заклеил ма-

<sup>1</sup> <Ф. М. Достоевский>. Журнальная заметка о новых литературных органах и новых теориях. — «Время», 1863, № 1, стр. 176.

<sup>2</sup> «Московские ведомости», 1863, № 1, 3 января.

<sup>3</sup> <Ф. М. Достоевский>. Журнальная заметка о новых литературных органах и новых теориях. — «Время», 1863, № 1, стр. 176—177.

лодушное бегство вчерашних «прогрессистов» с собственных позиций<sup>1</sup>.

Представление о том, что в предшествующие годы шла «битва» за «преображение» России, «проигранная» по вине нигилистов, с лета 1862 года из номера в номер распространяли с особенной настойчивостью издания А. А. Краевского. В концентрированной форме выразил эти постоянные идейно-образные мотивы С. С. Громека: «Года четыре тому назад... каждый спешил, не разбирая званий, подсобить дружному натиску общественного мнения... Вдруг, посреди атакующих и атакуемых упала со свистом и шумом бомба отрицания. Первые осколки посыпались на лагерь осаждавших... тем временем осажденные возводили укрепление за укреплением, запасали оружие и умножали свою силу. Когда же артиллерия отрицания... готовилась нанести оружие на крепостные стены, осажденные забросали ее шапками, взяли живьем ее прислугу, заклепали ее орудия»<sup>2</sup>.

Напряженные «батальные» метафоры такого рода и скрытую в них убого-ограниченную мысль совместно осмеивали Достоевский и Салтыков: «Все это написано очень хорошим слогом и со всем этим можно бы было даже согласиться, если б начертанная г. Громекою картина не была выдумана им из головы... Красноречивый публицист совершенно произвольно представляет это дело в виде осады: никакой осады тут не было... не было ни осажденных, ни осаждающих, а были только дозволяющие и дерзающие»<sup>3</sup>.

Оба писателя подвергли разоблачению фальшивые лозунги, под которыми в 1862 году был начат крестовый поход на передовую интеллигенцию («кудакtaется что-то... о морали... о семействе, о собственности»—ср. в сентябрьской хронике Салтыкова уроки насчет «священного права собственности», которые дает «старый, покрытый плесенью каплун» «еще не совсем оперившемуся каплуенку»)<sup>4</sup>.

Как и в «Нашей общественной жизни», в «Журнальной заметке» подчеркнуто единство либерально-консервативного фронта<sup>5</sup>, который, согласно проповедуя «девиз» «умеренность и аккуратность»<sup>6</sup>, первым «закудактал об опасности».

<sup>1</sup> Ср.: В. Я. Кирпотин. Достоевский в шестидесятые годы, стр. 139.

<sup>2</sup> С. С. Громека. Современная хроника России. — «Отечественные записки», 1863, № 3, стр. 8—10.

<sup>3</sup> М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 117—118.

<sup>4</sup> Там же, стр. 163.

<sup>5</sup> В попутных замечаниях Достоевский прямо расшифровал имена, которые он имеет в виду: от Скарятин и Каткова до Краевского, Розенгейма, Дудышкина, издателей «Дня».

<sup>6</sup> <Ф. М. Достоевский>. Журнальная заметка о новых литературных органах и новых теориях. — «Время», 1863, № 1, стр. 178.

Параллельно с январско-февральской хроникой Салтыкова Достоевский раскрывает в своей статье особую (и необычную для русской общественно-литературной традиции) роль «словесности», печати: они оказались застрельщиками реакционного похода: «приживалки и старые бабушки... при первом удобном случае» «начали стучать своей благодетельнице, матушке-помещице: «вот, мы говорили, мы предсказывали, не хотели слушать, что ж вышло»<sup>1</sup>.

Так же, как Салтыков, Достоевский намекает на небескорыстное рвение Краевского-Каткова-Скарятина — «сонма прозорливых и, главное, практических мужей», находя для характеристики их сатирическую формулу щедринской силы: «что-то вроде опухоли, флюса отечественной словесности»<sup>2</sup>.

В «Нашей общественной жизни» Салтыков, исследуя «благонамеренность» в специфическом литературном проявлении, с негодованием писал о публицистах, которые «еще не раз в своей жизни будут состоять и в мальчишках, и в благонамеренных—смотря по тому, где больше поживишки», «иной... даже не скрывает: «Ну да, говорит, я был мальчишкой, покуда не коснулась меня благодать благонамеренности... что ж из того? а если опять меня коснется благодать мальчишества, я и опять буду мальчишкой... что ж из того?»<sup>3</sup>. Журнальным «превращениям и переодеваниям» специальную статью — «Щекотливый вопрос» — посвящает Достоевский. Главными объектами своего сатирико-психологического исследования писатель сделал Каткова («Вы доказываете... что я сам был благонамерен и возбуждал... Но, боже мой. ведь это было, да сплыло. Теперь я благонамерен и не возбуждаю. Я одумался, я воротился»<sup>4</sup> и Павлова («он... ретроград, если судить его теперь сравнительно с его прежней деятельностью в то модное прогрессивное время лет пять тому назад, когда роль прогрессиста сулила почет и выгоду»)<sup>5</sup>.

Особенно часто в этой связи в публицистике и Достоевского, и Салтыкова упоминается имя А. А. Краевского. Издатель «Отечественных записок» и «Голоса», видимо, казался им персонифицированным воплощением принципа торговли либеральным или консервативным «товаром» — в зависимости от спроса. Именно эту позицию Салтыков определял

<sup>1</sup> <Ф. М. Достоевский>. Журнальная заметка о новых литературных органах и новых теориях. — «Время», 1863, № 1, стр. 178.

<sup>2</sup> Там же, стр. 176.

<sup>3</sup> М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 52 — 53.

<sup>4</sup> Ф. М. Достоевский. Полн. собр. худож. произведений, т. 13, стр. 273. (См. также: В. Я. Кирпотин. Достоевский в шестидесятые годы, стр. 106—107).

<sup>5</sup> Там же, стр. 259.

как «дело торговое»<sup>1</sup>, Достоевский—как «купеческое дело»<sup>2</sup>.

Вместе с Салтыковым Достоевский возложил на печать ответственность за травлю революционной демократии в связи с печально знаменитыми «майскими пожарами» в Петербурге. Он разошелся при этом во мнениях с членами собственной редакции<sup>3</sup> и отстаивал свою позицию с редкой последовательностью. Две статьи о пожарах, подготовленные для «Времени», были запрещены цензурой, и журнал едва не подвергся восьмимесячной приостановке вместе с «Современником»<sup>4</sup>. В «Щекотливом вопросе» Достоевский снова вернулся к этому: «В нашей литературе раздался недавно очень щекотливый вопрос, именно: «кто виноват?»... Некоторые даже рады были приписать все зло молодежи... Естественно, что тотчас же и сам собою... возник вопрос: «Кто ж виноват? Кто наущал молодежь и с пути ее совращал?»... посыпались, яростные обвинения и обличения... Иных обвиняемых, особенно таких, которые почему-либо не могли защищаться, окричали наиболее, даже с ругательствами»<sup>5</sup>. Эти строки, в которых Достоевский открыто брал под защиту запрещенный «Современник» и арестованного Чернышевского, появились в октябрьском номере журнала, уже после опубликования «Объявления» на 1863 год.

Наконец, в январе 1863 года, когда явно наметилась трещина между «Временем» и кругом «Современника», Достоевский не изменил своего отношения к этому вопросу и фактически выступил вместе с Салтыковым: «г. Скарятин намекает даже на подметную литературу, на зарево пожаров и удивительно высоким слогом все это расписывает. С г-ном Скарятиним... очевидно, сходятся отчасти и прочие новые и обновленные издания. А ведь такое смешение фактов, по-нашему, неверно... Говорить, что народ прямо обвинил в пожарах наше юношество, опять неверно... Совсем не так, прямая клевета. Народ действительно обвинял, но кто подвигнул его к этому обвинению, кто надумил-а? Хохлатки и тогда уже бегали в паническом страхе? Закудактали они перыце?»<sup>6</sup>.

Однако в этой же статье Достоевский пишет о «велико-

<sup>1</sup> М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 53.

<sup>2</sup> «Время», 1863, № 1, стр. 29. См. также «Время», 1863, № 1, стр. 143, 177.

<sup>3</sup> Так, Н. Н. Страхов навсегда остался при убеждении, что в «поджогам трудно было сомневаться» (Воспоминания о Ф. М. Достоевском, стр. 239—240).

<sup>4</sup> См.: Б. П. Козьмин. Братья Достоевские и прокламация «Молодая Россия». — «Печать и революция», 1929, кн. 2—3.

<sup>5</sup> Ф. М. Достоевский. Полн. собр. худож. произведений, т. 13, стр. 258—260.

<sup>6</sup> <Ф. М. Достоевский>. Журнальная заметка о новых литературных органах и новых теориях. — «Время», 1863, № 1, стр. 177.

лепном» начале эпохи реформ: «Лет шесть тому назад приобретен был великолепный результат: все общество проснулось, восстало в одном великом движении и с верою и надеждою стало заявлять свои требования... Повторяем: этот результат был великолепный. Им надо было воспользоваться»<sup>1</sup>. Разнообразные «съезды, комитеты, адреса», «общества» открывали, как предполагал писатель, большие перспективы изменения жизни путем общественной самодеятельности. В том, что это движение оказалось безрезультатно, он обвинил «перепуганных», «закудактавших» либералов.

На цитируемые строки не замедлил откликнуться (в майской хронике) Салтыков: «Есть другие, которые... утверждают, что шесть лет тому назад все-таки жилось веселее». Он отверг эту иллюзию: «Лет шесть тому назад началось у нас какое-то движение, которое многие умы преисполнило гордынею великою... Как оказалось впоследствии, это было движение мелочей и подробностей»<sup>2</sup>...

Корень неполноты и убогих результатов «великой реформы» сатирик видел, конечно, гораздо глубже и вернее, чем Достоевский: «Я знаю, многие обвиняют... так называемых либералов: «это, говорят, все они натягивали, да теперь и сплетничают!» Однако... если мы вспомним, что наши русские либералы... всегда питались мясом, а не мякиной, то невозможно сомневаться насчет того, куда они принадлежат своими наклонностями и привычками»; «шесть лет тому назад, точно так же как и теперь, наше общество... пребывало в совершенно одинаковом положении,... оно не имеет даже права сказать, что жизнь остановилась, потому что ее в строгом смысле и не было»<sup>3</sup>.

---

Итак, характеризуя спор Достоевского со Щедриным на начальном его этапе—в период «Времени», следует пересмотреть привычную оценку позиции Достоевского.

Совершенно очевидно, что в настоящее время уже не может быть принята точка зрения, согласно которой журнальная работа писателя—всего лишь «одно из деятельных проявлений той травли, которой реакция подвергла революционную интеллигенцию»<sup>4</sup>. Как убеждает материал, картина идейной жизни 1860-х годов была чрезвычайно сложной, и любые однолинейные, облегчающие толкования позиций таких крупных,

---

<sup>1</sup> Ф. М. Достоевский. Журнальная заметка о новых литературных органах и новых теориях.—«Время», 1863, № 1, стр. 180.

<sup>2</sup> М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. VI, стр. 105, 107.

<sup>3</sup> Там же, стр. 97, 106.

<sup>4</sup> Я. Е. Эльсберг. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. М., 1953, стр. 159.

своеобразных мыслителей, как Салтыков-Щедрин и Достоевский, могут только исказить ее реальные пропорции.

Диалектика воззрений Достоевского и Салтыкова в момент их спора была не менее сложной, чем соотношение позиций Салтыкова и Писарева во время знаменитого «раскола в нигилистах»<sup>1</sup>. Прозрения Достоевского ломали логику ограничивавшей его теории, писатель прорывался к глубоким и непредвзятым оценкам основных общественных «стихий» русской жизни 1860-х годов.

---

<sup>1</sup> Е. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы, Саратов, 1957, стр. 234—240.

---



В. Г. ПРОКШИН

## О СВОЕОБРАЗИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В РОМАНАХ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Н. Г. Чернышевский признавал психологический анализ едва ли не самым существенным из того, что дает жизнь и силу творческому таланту. Он первым из критиков указал отличительные особенности разновидностей психологического анализа в современной ему художественной литературе и дал настолько меткое определение своеобразия психологизма молодого Л. Н. Толстого, что оно стало ключом к исследованию всех последующих произведений великого писателя. Интерес Чернышевского к психологическому анализу вполне согласуется с тем пониманием отношения искусства к действительности, которое выражено им в знаменитой диссертации. «Внутренняя жизнь человека», сказано там, воспроизводится искусством как одно из «интереснейших явлений действительной жизни»<sup>1</sup>. В соответствии с этим теоретическим положением он проявляет повышенный интерес к «психологической стороне типов» (IV, 301) не только в ранних произведениях Л. Н. Толстого, но и в «Губернских очерках» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Естественно ожидать, что подобное внимание к «психологической стороне типов» будет проявляться и в художественном творчестве Чернышевского. Основательность такого ожидания подтверждается еще и тем, что герои романа «Что делать?» судят о достоинствах художественных произведений также по глубине и тонкости психологического анализа (XI, 268).

Однако исследованию своеобразия психологического анализа в художественном творчестве писателя мешало предубеждение, навязанное идеологическими противниками революционного демократа, яростно отрицавшими его идеи, а заодно и художественный талант. Известно, как резко критиковал отголоски таких суждений В. И. Ленин, какую оценку давали им Г. В. Плеханов и А. В. Луначарский.

<sup>1</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., том II, М., Гослитиздат, 1949, стр. 85. Последующие ссылки на сочинения Н. Г. Чернышевского даются по этому же изданию с указанием тома и страницы в тексте.

Первые конкретные соображения о «специфических приемах» психологического анализа в романе «Что делать?» были высказаны А. П. Скафтымовым в статье «Чернышевский и Жорж Санд» (1938)<sup>1</sup>. П. А. Амосов пытался пополнить их<sup>2</sup>. Изучением психологического анализа в творчестве Чернышевского настойчиво и плодотворно занимается М. П. Николаев. В его работах говорится не только о «психологических наблюдениях» в «Прологе», но и о «психологической повести» и «психологической драме» в творчестве Чернышевского<sup>3</sup>. На «сложный психологический анализ душевных движений и поступков героев» Чернышевского, на «тонкую и точную разработку психологии героев» указывается в последнее время и в работах других литературоведов<sup>4</sup>.

Однако некоторые критики не замечают этого. В. Турбин, например, уверен, что «никто не станет искать в... «Прологе» утонченных психологических наблюдений»<sup>5</sup>. А между тем первым, кто указал на такие наблюдения, был автор «Пролога» (XII, 117). Больше того, Чернышевского раздражало отсутствие чуткости критиков к своеобразию его психологизма. Тех, кто не замечал психологического анализа на указанных им страницах в повести «Алферьев», он просил «не читать дальше: повесть не стоит чтения для такого читателя» (XII, 122).

Склонность Чернышевского к психологическому анализу проявилась еще в юношеских дневниках<sup>6</sup>. Уже тогда от «исследования собственной природы в поисках «стимулов», движущих человеком, Чернышевский собирался перейти к писательской практике, замышляя повесть психологического характера...»<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> А. Скафтымов. Статьи о русской литературе. Саратов. Книзд-во, 1958, стр. 217, 222.

<sup>2</sup> П. А. Амосов. Художественное мастерство в романе «Пролог». — Ученые записки Кишиневского пед. ин-та, т. 2, 1954, стр. 43 и др.

<sup>3</sup> М. П. Николаев. Художественные произведения Н. Г. Чернышевского, написанные на каторге и в ссылке. Тула, 1958.

<sup>4</sup> Е. И. Покусаев. Николай Гаврилович Чернышевский. М., Учпедгиз, 1960, стр. 256; Б. Рюрик ов. Н. Г. Чернышевский, М., Гослитиздат, 1961, стр. 181.

<sup>5</sup> В. Турбин. Товарищ время и товарищ искусство. М., «Искусство», 1961, стр. 7.

<sup>6</sup> Размышления о новой «практической» морали толкнули Чернышевского, по словам Т. И. Усакиной, к попытке подтвердить возможность и необходимость ее «внутренним опытом», детальным «анализом» своих поступков, исследованием «разнообразности принципов», управляющих понятиями и деятельностью (1, 133, 153—154, 190). Этими «исследовательскими» задачами (анализ души человеческой) определяются во многом назначение и содержание дневниковых записей и Чернышевского, и Толстого. — (Т. И. Усакина. К истории статей Чернышевского о Толстом. — В сб.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Изд. Саратов. ун-та, 1965, стр. 51.

<sup>7</sup> Там же.

Обостренное внимание юноши Чернышевского к самонаблюдению, к изображению внутреннего мира героев в произведениях Ф. М. Достоевского и других писателей, по справедливому мнению Т. И. Усакиной, связано с эстетическими взглядами петрашевцев, видевших в анализе «внутреннего человека» путь к постижению «законов гармоничного устройства межлических отношений»<sup>1</sup>. Пора перейти к детальному изучению своеобразия психологизма в романах Н. Г. Чернышевского. Такая попытка и является целью данной статьи.

Умению проникать в мир души и сердца других людей, умению отыскивать затаенные причины их поступков автор романа «Что делать?» придает особое значение. Беспощадно высмеиваемый им «проницательный читатель» оказывается «плох» не только «по части художественности», но и «по части психологии». А вот Рахметов характеризуется Чернышевским как «великий психолог» (XI, 203). И дело, конечно, не только в том, что Рахметов «знал и умел выполнять законы постепенного приготовления». Рахметов назван «великим психологом» прежде всего потому, что он основательно изучил своеобразие народной психологии, психологии новых и старых людей. Первое подтвердилось тем, что он сумел стать своим в среде бурлаков и заслужил лестное прозвище Никитушки Ломова. Второе выяснилось в проницательных суждениях Рахметова о причине семейной катастрофы Лопуховых, а также в предвидении того, как будет вести себя Вера Павловна при известии о самоубийстве мужа. Третье обнаружилось в определении и осуществлении мер, утвердивших в умах полицейских чиновников ложную версию о самоубийстве Лопухова.

Однако способность Рахметова к верным суждениям о людях на основании глубокого знания социальных особенностей их психологии еще не дает права говорить о методе художественного психологизма автора романа. Но дело в том, что способностью психологического анализа обладают также Кирсанов, Лопухов, Вера Павловна и другие герои. В характеристике других людей и в думах о самих себе они выступают как «тайные» и «явные» психологи. В их суждениях и проявляется своеобразие метода художественного психологизма Чернышевского. По умению проникать в мысли и чувства других людей, по способности к самоанализу герои романов Чернышевского могут быть соотнесены с людьми типа Печорина, Бельтова, Нехлюдова — Оленина. Заслуживает особого внимания то, что Вера Павловна легко отличает Лопухова от всех других людей, склонных «постоянно отыскивать

<sup>1</sup> Т. Усакина. Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX века. Изд. Сарат. ун-та. 1965, стр. 15, 149, 156 и др.

самые затаенные причины своих действий» потому, что ему свойственно «подводить эти суждения под «теорию эгоизма» (XI, 238). Эта отличительная черта самоанализа чувств и мыслей новых людей от самоанализа других интеллектуальных героев была известна Чернышевскому не только по опыту самонаблюдения, но и по тому, что он знал о близких ему людях, в частности о Добролюбове. «В самом деле, — писал Добролюбов в своем дневнике, — умри теперь Чернышевский, я о нем буду жалеть в сто раз больше, чем о своем дядушке, если бы он умер... И вот она опять теория эгоизма: кто меня больше интересуется, с кем мне быть приятнее, того я и люблю больше»<sup>1</sup>.

Кирсанов удивляет необычайной точностью диагноза душевной болезни Катерины Васильевны Полозовой. Но это уже из области медицины — слышим мы критическую реплику. Да, герой романа действительно выступает здесь как врач, представляющий сеченовское направление психофизиологии. Революционные демократы искали опоры для исследования внутреннего мира человека в материалистической физиологии и психологии. Ученый психофизиолог из числа новых людей здесь очень кстати. В его психофизиологическом анализе выводы экспериментальных наук естественно сочетаются с принципами той материалистической философии, которую разрабатывали и пропагандировали Чернышевский, Добролюбов и их соратники. В создании образа Кирсанова, в изображении его воздействия на душевное состояние Катерины Полозовой проявилось не только основательное знание психологии новых людей, но и глубокая психологическая проницательность и осведомленность о новейших достижениях материалистической физиологии и психологии. Самые значительные из них были получены И. М. Сеченовым, автором трактата «Рефлексы головного мозга». Знаменательно, что «Рефлексы...» писались одновременно с романом «Что делать?» и что в центре внимания экспериментатора стоял характер «человека с идеально сильной волей, действующего во имя... высокого нравственного принципа и отдающего себе ясный отчет в каждом шаге...»<sup>2</sup>. Автор трактата стремился объяснить развитие его характера на основе теории рефлексоза. Он пришел к выводу, что верность убеждениям может брать верх над всеми влечениями и человек может действовать «наперекор всем естественным инстинктам, потому что голос этот бледен при яркости тех наслаждений... которые даются... правдою и любовью к человеку»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 8, М.-Л., Гослитиздат, 1964, стр. 559.

<sup>2</sup> И. М. Сеченов. Избранные произведения. М., 1953, стр. 64.

<sup>3</sup> Там же, стр. 107.

Правда и любовь к человеку, заглушающие все другие влечения, все лишения и невзгоды людей «с идеальной сильной волей» — как все это знакомо читателям романа «Что делать?» Результаты исследования основ силы воли и других черт характера «особенного человека», полученные психофизиологом-материалистом и художником-реалистом, оказались очень сходными. И это не удивительно: успехи исследований И. М. Сеченова были связаны с развитием идей, высказанных в статье «Антропологический принцип в философии»; в психологическом анализе новых и «особенных» людей Н. Г. Чернышевский опирался на достижения материалистической психологии и физиологии.

Философской основой психологического анализа в романе «Что делать?» следует считать теорию разумного эгоизма. На нее ссылаются все положительные герои романа, но наиболее последовательно и полно развивает и излагает ее Лопухов. «Лопухов находил, что его теория дает безошибочные средства к анализу движений человеческого сердца, и я, — многозначительно прибавлял автор, — признаюсь, согласен с ним в этом» (XI, 178).

Однако концепция человека, который придерживался Чернышевский во время работы над романом, выражается теорией разумного эгоизма неполно. Главное в этой концепции — материалистическая идея единства человеческого организма. Она была изложена Чернышевским в статье «Антропологический принцип в философии» (1860). Психологические явления представляют собой результат деятельности организма, они протекают одно из другого и из внешних обстоятельств по закону причинности, поэтому могут быть изучены не только путем внутреннего самонаблюдения, но и иными способами.

Анализ причин, обуславливающих разнообразные поступки, приводит Чернышевского к выводу о едином источнике руководящих стимулов. Во всех своих делах — хороших и дурных, благородных и низких, героических и малодушных — «человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия» (VII, 285). Такое толкование детерминированности поступков людей на первый взгляд стирает грань между добром и злом, поскольку все люди оказываются эгоистами. Однако Чернышевский стремится не к оправданию себялюбцев, а к утверждению этики новых людей-революционеров, которые полагают, что «расчетливы только добрые поступки; рассудителен только тот, кто добр, и ровно настолько, насколько добр» (VII, 291).

Теория разумного эгоизма «выкраивалась» для всех времен и народов, ее сторонники апеллировали к «вечной» и

«единой» человеческой природе. Стремление русских революционных демократов подновить эту теорию, а затем взять за основу суждений о причинах поступков людей не имело успеха<sup>1</sup>. Теория разумного эгоизма, даже и в том обновленном виде, который был придан ей русскими революционными демократами, не способствовала успеху психологического анализа. Нарочитое стремление автора «Что делать?» все подводить под эту теорию и именно в ней искать объяснение всех, в том числе и самых возвышенных душевных движений, самых альтруистических поступков, налагает на роман отпечаток догматизма.

Внутренние монологи и диалоги, в которых воплощаются невысказанные мысли, не проявившиеся в действии мечты и чувства, дневники, письма, сны, своеобразные задушевные беседы-исповеди и другие привычные формы изображения внутренней жизни героев занимают добрую половину романа «Что делать?».

Ни Лопухов, ни Вера Павловна не говорят о том впечатлении, которое они производят друг на друга при первой встрече. Но писатель делает нас более прозорливыми, воплощая живой процесс впечатления-суждения в форму прямой, невысказанной речи. Лопухов при встрече с незнакомой ему высокой стройной девушкой подумал: «густые хорошие волосы...», «глаза хорошие, даже очень хорошие...» «Когда выйдет в свет, будет производить эффект. А впрочем, не интересуюсь» (XI, 44). Корреспондирующее этому впечатление-суждение Веры Павловны о Лопухове выражено более кратко: «недурен и, должно быть, добр, только слишком серьезен» (XI, 44).

Невысказанные суждения часто сопутствуют произносимому диалогу, образуя собою параллельный, иногда более важный, хотя и непрозвучавший диалог. Вот один из многочисленных примеров двоянного диалога. Лопухов вошел в комнату, увидел Розальских за чайным столом.

— Прошу садиться, — сказала Марья Алексеевна, — Матрена, дай еще стакан.

— Если это для меня, то благодарю вас; я не буду пить... (XI, 48). Одновременно с этим диалогом в сознании героев возникают и находят другую форму выражения более важные впечатления и мысли. Заметив, что прижимистая Марья Алексеевна обрадована его ответом, Лопухов взглянул на Веру Павловну.

«А ведь он увидел, что я покраснела».

«Однако же он вовсе не такой дикарь, он вошел и поклонился легко, свободно», — подумала Вера Павловна.

<sup>1</sup> О несостоятельности и противоречивости теории разумного эгоизма см. в кн.: Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения. Т. IV, М., Соцгиз, 1958, стр. 261.



«Однако же, если она и испорченная девушка, то, по крайней мере, стыдится пошлостей матери» (XI, 48),—мелькнуло в сознании Лопухова, невольно наблюдавшего за незнакомой ему девушкой.

Это примеры простых наблюдений, не претендующих на раскрытие диалектики души, а лишь слегка приоткрывающих развитие чувств и мыслей, скрытых от постороннего наблюдателя, лишённого необходимой пронизательности. Более интересный, но и гораздо более сложный пример «двоенного диалога представляет собой известный «теоретический разговор» Лопухова с Кирсановым.

Герои Чернышевского совершают разные поступки, поражающие самоотверженностью и великодушием. Но в психологическом самоанализе они руководствуются одними и теми же теоретическими принципами, поэтому приходят к сходным выводам: побудительную причину своих поступков они видят в разумном расчёте собственной пользы и выгоды. Характерными примерами таких исключительно великодушных поступков является отказ Лопухова от желанной научной карьеры ради вызволения из «подвала» Веры Павловны, а затем его «самоустранение» ради выхода из тупика трагического «треугольника».

Размышляя о своем решении осуществить первое из указанных намерений, Лопухов понял, что любимая им девушка может подумать: «ах, какую он для меня принес жертву!» — а значит и обременить себя признательностью в ущерб чувству собственной свободы. Это огорчило его. Продолжая свой воображаемый разговор с любимой, он мысленно уверял ее: «жертва—сапоги всмятку. Как приятнее, так и поступаешь... самому жить хочется, любить хочется,—понимаешь? — самому, для себя все делаю» (XI, 94). Его удручает не отказ от научной карьеры, а то, что он не сможет создать материальных условий для счастья любимой им девушки. Анализ чувств, мыслей, определявших поступки Лопухова со времени его первой женитьбы до того момента, когда он «сошел со сцены», дается в письме отставного медицинского студента. Желание добра Вере Павловне было лишь одной и далеко не главной причиной «самоустранения» Лопухова. Главной, движущей силой этого дела «служило,—говорит он,—влечение собственной моей натуры к лучшему для меня самого» (XI, 236).

Однако мотивировка самоубийства, пусть даже и фиктивного, соображениями «личной пользы и выгоды» все же не убедительна. Правде о новых людях было тесно прокрустово ложе теории разумного эгоизма. Автор вкладывает в уста «сошедшего со сцены» следующее признание: «Тут я поступил уже под влиянием того, что могу назвать благородством..., и тут я узнал, какое высокое наслаждение—чувствовать себя поступающим, как благородный человек» (XI, 236).

Удаление Лопухова «со сцены» здесь мотивировано уже не расчетом личной пользы и выгоды, а потребностью чувствовать себя благородным человеком. Здесь еще нет разрыва с теорией разумного эгоизма, но нет и полного подчинения ей. Доброта и благородство естественны для человека. Проявление этих естественных, не изуродованных влиянием антагонистической среды свойств доставляет радость. *Человек добр по своей природе* — вот исходная мысль Лопухова. Чернышевскому в то время, когда писался роман, данная концепция человека не казалась последним словом науки. Если в рецензии на «Губернские очерки» (1857) он рассуждал в полном соответствии с нею, то в статье «Антропологический принцип в философии» (1860) высказал иное представление о человеке. *Человек не добр и не зол по своей природе, а становится добрым или злым, смотря по обстоятельствам.* Устранение тех обстоятельств, которые заставляют человека быть злым, усилит доброту его (XII, 264).

В ответном письме Веры Павловны выясняется, что тот взгляд на человека, которого придерживается Лопухов, и связанная с ним теория разумного эгоизма как основа психологического анализа усвоены также и ею. Именно этим и объясняется сходство их суждений о себе как по приемам, так и по результатам. Заканчивая ответное письмо, Вера Павловна спрашивает: «К чему этот анализ, раскрывающий самые тайные мотивы чувств, которых никто не мог бы доискаться?» И дает такой ответ: «Все-таки у меня, как и у Дмитрия Сергеевича, это саморазоблачение делается в свою же пользу, чтобы можно было сказать: я тут не виновата, дело зависело от такого факта, который не был в моей власти» (XI, 242). А фактом было несходство характеров. Оно-то и вызвало чувство неудовлетворенности первым браком вначале у Веры Павловны, а затем и у Дмитрия Сергеевича. Последующие события явились следствием указанных причин. К такому выводу независимо друг от друга приходят Лопухов, Рахметов и Вера Павловна. И это вполне естественно, так как им известны одни и те же факты, в их анализе они руководствуются сходными теоретическими принципами.

Герои Чернышевского приходят к своим психологическим открытиям и выводам не интуитивно, а путем вдумчивого логического анализа впечатлений, наблюдений и фактов. Читатель вовлекается в этот процесс, становится его участником. Он невольно следит за развитием мысли Лопухова, разгадывающего маневр своего друга, восхищается благородством, безграничным взаимным доверием и доброжелательностью друзей-соперников во время их «теоретического разговора». Вместе с Лопуховым, анализирующим поведение Веры Павловны после возобновления посещений Кирсанова, читатель следит за внешним проявлением развития любви Веры Пав-

ловны к Кирсанову и поэтому не удивляется, когда она признается своему мужу: «Милый мой, я люблю его». Не удивляет на сей раз читателя и необычайно великодушное и спокойное отношение мужа к случившемуся, так как ему известен весь ход размышлений Лопухова накануне «теоретического разговора» и в процессе его; известно и нечто большее, установленное углублением психологического самоанализа героев в авторском послесловии к «теоретическому разговору». Это «нечто» заключалось в не высказанном Лопуховым недовольстве своей семейной жизнью. Стремясь успокоить Веру Павловну, Лопухов говорит: «Что тебе лучше, то и меня радует». По примеру автора читатель не подвергает сомнению искренность Лопухова. Слова у него, как правило, не расходятся с делом. Однако за словами—«Что тебе лучше, то и меня радует»—стоит не только самоотверженность героя и представление о любви, как желании счастья любимому, но и не осознанная еще забота Лопухова о себе самом.

Психологический анализ в романе «Что делать?», как видно из приведенных здесь примеров, резко отличается от того изображения «подробностей чувства», к которому мы привыкли в романах о рефлектирующих героях. Средствами психологического анализа Чернышевский открыл неведомый для читателя внутренний мир новых людей. Следя за ходом анализа, читатель учится различать новых и «особенных» людей не только с социально-политической, но и с психологической точки зрения.

Способностью подчинить личные интересы общественным, отказаться от счастья любви и семьи ради народного освобождения обладают только люди «с идеально сильной волей». «Наперекор всем естественным инстинктам» они могут подвергнуть себя даже тяжелейшему физическому испытанию, чтобы сохранить «верность убеждениям» при возможных истязаниях в царских застенках<sup>1</sup>. Обыкновенным людям это непосильно. Для поверхностного наблюдателя Рахметов может показаться «мрачным чудовищем» по его натуре, но тоскливые думы и скорбь порождаются не натурой его, а внешними обстоятельствами, в условиях которых для человека с пламенной любовью к добру подобные чувства и поступки совершенно естественны. Психологическая характеристика Рахметова служит и объяснением, и эстетической оценкой его характера, не случайной она завершается восторженным гимном в честь людей рахметовского типа.

Анализ душевного состояния Веры Павловны после отъезда Лопухова из Петербурга до первой встречи с Кирсановым на первый взгляд не кажется таким специфичным, как в ее

---

<sup>1</sup> Слова, поставленные в кавычки, заимствованы у автора «Рефлексов головного мозга».

переписке с Лопуховым. Сложная душевная борьба героини в указанное время изображается как борьба чувства благодарности Лопухову с чувством любви к Кирсанову. Лопухов уехал в Рязань, не взяв с собой жену. Что же ей делать? Ехать вслед за ним? Иначе нельзя! Поеду! Только дождусь письма, потому что он просил об этом, и поеду. Так думает Вера Павловна, возвратившись с вокзала. Но часа через два мучительных размышлений в ее сознании возникают четыре слова: «он не хочет этого», а на исходе дня рядом с ними—пять других: «и мне не хочется этого». А затем, опровергая и те и другие, вновь явились посланцы сознания долга: «Но я должна ехать!» Борьба взаимоисключающих тенденций в душе героини преобразует первоначальное—«я поеду»—в нечто совсем другое и неопределенное—«поеду ли я?» Письмо от Лопухова делает поездку в Рязань невозможной. Это письмо полностью подтверждает догадку—«он не хочет этого» — и дает новое направление душевной борьбе. Прежние слова—«я должна ехать к нему»—превращаются в другие—«все-таки я не должна видеться с ним» (XI, 247). Ослабла не только категоричность императива, но изменилось и его содержание. Вера Павловна думает уже не о Лопухове, а о Кирсанове. Любовь к Кирсанову окончательно завладела ее сердцем, хотя она продолжает сопротивляться этому чувству, ищет в сознании долга и признательности мужу опору в тяжелой душевной борьбе. Но Лопухов уехал, она оказалась одна со своей любовью. И любовь победила. Вера Павловна засыпает с мыслью: «Неужели я не увижусь с ним?» Однако борьба («Не увижусь»—«увижусь») продолжалась и утром, продолжалась до тех пор, пока не созрела мысль: «нет возврата»; а затем: «нет возврата, нет выбора; начинается новая жизнь» (XI, 248).

Здесь виден живой психологический процесс. Мучительная душевная борьба поглотила все силы героини. Ей не до теоретических размышлений и расчетов. Она влечется не ими, а развивающимся чувством любви, инстинктивным стремлением к счастью, но ее поведение не опровергает теории разумного эгоизма: она поступает так, как ей приятнее.

Изображение диалектики души Веры Павловны в данном эпизоде романа—главная художественная задача. Но решается она так, что подробности чувства остаются за кадром. О них можно лишь догадываться по тем словам, которые возникают в ее сознании в результате мучительной борьбы противоречивых душевных порывов и чувств. Сложный процесс сцепления чувств и мыслей не изображен, а лишь пунктирно обозначен.

Можно по-разному оценивать мастерство психологического анализа в романе «Что делать?», но не замечать его нельзя. Распространение психологического анализа на неведомую для многих тогдашних писателей и критиков область жизни

души и сердца революционеров было важным вкладом в развитие реализма. Психологический анализ характеров новых людей требовал новых способов и форм, соответствовавших особенностям их мирозерцания, материалистическим представлениям о природе человека.

Чернышевский находил такие способы и формы и совершенствовал их от произведения к произведению. В романе «Повести в повести» он широко использовал мемуары, дневники, письма, доверительные дружеские беседы и рассказы действующих лиц о себе, о близких родных и знакомых; особой композицией романа придавал этим формам значение стройной системы. В обрамляющую повесть Верещагина он вставил повести, рассказы, написанные якобы на основе дневниковых записей, мемуаров, писем и других интимных, душевных человеческих документов, представив большинство действующих лиц романа в качестве своих соавторов. Есть основания полагать, что Чернышевский придавал таким «исповедальным» формам психологического анализа особенно большое значение. Ценность разговора повествователя с Лизаветой Антоновой, в котором заключалось «много очень глубокого психологического анализа», состояла, по его мнению, в том, что «анализ этот (сделан) рукою природы: я,—говорит автор,—только испытал его на себе и запомнил» (XII, 117).

В «Прологе» нет того разнообразия внутреннего освещения чувств и дум действующих лиц, которое мы отмечали в «Повести в повести». Чернышевский ограничивается здесь формами внутреннего монолога, дневника и доверительной беседы друзей-единомышленников, то есть теми формами, которые созданы «рукою природы».

Внутренний душевный мир новых людей в романах Чернышевского соотнесен с широким миром народной жизни, с борьбой за лучшее будущее.

По сосредоточению психологического анализа на центральных героях, по глубине самонаблюдения и роли дневника «Пролог» в чем-то близок роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». В первой части его Печорин изображен в восприятии Максима Максимыча и автора. В «Журнале Печорина» характер героя освещен внутренним светом. Левицкий в «Прологе пролога» тоже изображается в восприятии двух человек: Волгина и его жены. «Дневник Левицкого» в составе «Пролога» играет роль, аналогичную той, которую играет «Журнал Печорина» в романе Лермонтова<sup>1</sup>. Приемами психологического анализа Лермонтову удалось показать трагедию своего современника, чувствующего в душе своей «си-

<sup>1</sup> На это уже указывалось исследователями творчества Н. Г. Чернышевского. См.: М. П. Николаев. Художественные произведения Н. Г. Чернышевского, написанные на каторге и в ссылке. Тула, 1958, стр. 66.



лы необъятные», но утратившего «пыл благородных стремлений». Суд над Печориным в романе Лермонтова оказался вместе с тем и судом над теми общественными условиями, которые сделали героя романа «эгоистом поневоле», породили мучительную душевную раздвоенность. Психологический анализ чувств и размышлений Печорина осуществляется в форме его записей в дневнике, попутно с историей любовных отношений с Мери и Верой, с рассказом о поединке с Грушницким, в связи с дружескими беседами с доктором Вернером.

Для раскрытия души и сердца «демократа, социалиста, революционера» требовались иные коллизии. В шестидесятых годах недостатка в них не было: они подсказывались обострением конфликта обездоленных народных масс с крепостниками-помещиками, борьбой революционных демократов, защищавших народные интересы, с либералами, стоявшими на страже интересов господствующих классов. Именно этими важными социальными конфликтами и определены душевные волнения героев «Пролога», хотя их, как и Печорина, волнуют и интимные чувства любви, и интриги мелких завистников.

Первая душевная буря, отразившаяся на страницах дневника Левицкого, была вызвана интригой его сокурсника Петрова, пустившего сплетню о том, будто Левицкий пытался помириться с ненавистным ему и его товарищам директором института ради того, чтобы получить место на кафедре. Многие поверили сплетне интригана. Это вызвало у автора дневника мрачные чувства и думы: «Незачем жить. Невыносимо глупо жить...» Левицкий здесь еще целиком во власти страшно огорчивших его событий, мысль его еще не овладела чувством, она только рождается. Но и в эмбриональном состоянии она явно шире источника первоначальных впечатлений. И не случайно на следующем этапе она превращается в углубленное размышление о массе людей, о народе. Прежние представления и мысли здесь сталкиваются со свежими впечатлениями, проверяются ими, и в результате этого намечаются новые выводы, имеющие важное общественное, философское значение (XIII, 216, 218). Повторное размышление о том же после освежительного сна приводит Левицкого к отказу от первоначальных пессимистических выводов. «Незачем жить, потому что не для чего работать: люди глупы и легкомысленны». — Конечно, не очень рассудительны. Но потому-то и необходимо работать над улучшением их судьбы. Если бы они были не глупы и не легкомысленны, то и не о чем было бы хлопотать: давным-давно жизнь была бы устроена превосходно» (XIII, 219). Мрачные мысли о безуспешности, а значит и о ненужности борьбы и жизни отвергнуты. Левицкий укоряет себя за эгоизм и восхищается своим другом Ликаонским, который ради счастья сестер отказывается от службы в Петербурге и уезжает в родные места, но, имея в виду дело революции, говорит Ле-



вицкому: «Напиши, что я нужен тебе,—и я приеду, брошу сестер». «Вот это человек,—это не я,—воскликает автор дневника.—Человек простого, прямого, близкого долга. И с тем вместе человек, всегда готовый хладнокровно погибнуть за убеждение. Завидую ему» (XIII, 231).

В дневниковых записях Левицкого раскрывается сложный диалектический процесс рождения тех возвышенных чувств и мыслей, которые, подчиняя все другие, образуют героический характер «демократа, социалиста, революционера» (XIII, 326).

Стремление автора «Пролога» раскрыть духовный процесс формирования чувств, убеждений и нравственных принципов, определяющих характер героя своего времени, не вносит того оттенка догматизма, который отмечался нами в первом романе. Автор «Пролога», думается, уже не подчиняет психологический анализ теории разумного эгоизма, а стремится раскрыть живую диалектику чувств и мыслей.

Во время одной из доверительных бесед со своим другом, проследившая и предугадывая логику исторического развития, Волгин сказал: «Придет серьезное время... Нужно будет кому-нибудь говорить во имя народа» (XIII, 244). Ты должен поберечь себя для этой роли. Услышав эти слова, Левицкий почувствовал опьяняющую радость. Но позднее, когда пароксизм радости прошел, он горько упрекал себя за тщеславие. Одновременно с этими упреками возникла и критическая оценка мыслей старшего друга: «...Он слишком холодно советует терпеть. Это явная логическая ошибка... Народу не так легко терпеть, как нам» (XIII, 245).

В записи за 22 июня звучат новые, необычные для Левицкого иронические ноты. «Будущий незаменимый защитник и руководитель народа спасен, прибережен для блага родины. Смешно и стыдно» (XIII, 247). Левицкий согласился ехать в деревню. Волгин хвалит его за самоотверженность. А он испытывает при этом чувство стыда, так как считает, что последовал советам Волгина не по чувству долга, а потому, что потерял самообладание «от огорчения за самого себя» из-за измены Анюты. Измена Анюты мучительно переживается Левицким, но не меньшее душевное волнение вызывают у него беседы и споры с Волгиным. Волгин полагает, что пока еще «в русском обществе нет серьезных стремлений, и даже нельзя внушить их ему» (XIII, 247). Левицкий же нетерпеливо рвется к активной деятельности, думая, что «никакое положение дел не оправдывает бездействия» (XIII, 247). Но уступает убежденной настойчивости старшего друга и уезжает в Илатон. Отдохнув в деревенской тиши, он еще раз мысленно повторяет свой недавний спор с Волгиным. Припоминает его суждения, высказывает свои соображения, подтверждая их новыми аргументами, и еще более укрепляется в мысли о необходимости

активной борьбы против самодержавного деспотизма, в своей решимости вести ее.

Дневниковые записи Левицкого о радостных чувствах и мучительных переживаниях, вызванных отношениями с действительными и предполагаемыми соратниками по Делу, записи мимолетных догадок и основательных размышлений, из которых следуют выводы, определяющие его мировоззрение, чередуются с записями о любви к Анюте, к Мери. Все это проникнуто горячей страстью цельной натуры. Страстные волнения души и сердца трансформируются в интенсивный поток мысли, побуждающей к активным, решительным действиям.

На сохранившихся страницах дневника Левицкого за 1857 год запечатлен важный этап истории души человека. Здесь отразились результаты наблюдений «ума сильного над самим собою».

Склонность Левицкого к углубленному размышлению роднит его со старшим другом. Чернышевский старательно выявляет аналогичную особенность Волгина, многократно изображая его в состоянии задумчивости. «Волгин погрузился в размышление, потому что был человек, искусный в размышлениях» (XIII, 16). «Волгин начал погружаться в размышление... погрузился, стал мотать головою и, наконец, разразился неистовым хохотом» (45). «Волгин задумался» (XIII, 142). Он «погрузился в размышление» (XIII, 15). «Он улыбался с угрюмой иронией, размышляя...» (XIII, 197).

Автор романа не ограничивается тем, что фиксирует характерную позу своего героя. Используя форму внутреннего монолога, он раскрывает процесс рождения строгих логических выводов из столкновения и сопоставления противоречивых впечатлений, представлений, соображений и мыслей.

Созерцание многочисленной толпы именитых гостей Илатонцева не долго занимало Волгина. По своему обыкновению он постепенно углубился в серьезные размышления. От ненавистных крепостников и «ярких эманципаторов» мысль его перенеслась в далекое детство. Он вспомнил о ватаге пьяных волжских бурлаков, обещавших «Москву тряхнуть», но присмиривших при виде дряхлого будочника. Затем стал думать об именитых хвастунах, об их криках: «Не позволим! Не допустим!» и поневоле разволновался: «...Жалкая нация!—Нация рабов,—снизу до верху, все сплошь рабы...» (XIII, 197). Но можно ли ненавидеть рабов, даже именитых? И он стал фантазировать о способах освобождения крестьян без ущерба для помещиков. А потом подверг критике эти либеральные фантазии и противопоставил им другой ход мысли, сообразующийся с той непреложной истиной, «что история—борьба, что в борьбе нежность неуместна». Затем с огорчением подумал: «русский народ не способен поддерживать вступающих за него», значит, у него не может быть и защитников, но

вопреки этому утвердился в мысли, что сам он не может «не выставлять прав народа во всей их полноте» и что помещики «не имеют права ни на грош вознаграждения; а имеют ли право хоть на один вершок земли в русской стране, это должно быть решено волею народа. Должно; и, разумеется, не будет... Волгиц начинал злиться» (XIII, 196). Ему противно становилось видеть всех этих помещиков, которые останутся «безубыточны во всех своих, заграбленных у народа, доходах, безнаказанны за все угнетения и злодейства; противно, обидно за справедливость,—и он опускал, опускал нахмуренные глаза к земле, чтобы не видеть врагов народа, вредить которым был бессилён...» (XIII, 198).

Мысль Волгина, как и мысль Левицкого, не сразу выкристаллизовывалась из прошлых представлений и новых впечатлений. И в дневнике Левицкого, и в большом внутреннем монологе Волгина автор показал нам процесс рождения и развития мысли, ее движение к важным и строгим логическим выводам через преодоление противоречий, заблуждений и ошибок.

Психологический анализ использовался Чернышевским не только для исследования внутреннего мира новых и «особенных» людей. Он успешно применялся им также для изображения несложной душевной жизни накопительницы Марьи Алексеевны, для разоблачения аморализма Сторешникова, для раскрытия нравственной развращенности карьериста Савелова, для изображения душевной трагедии его жены.

Значительных художественных успехов достиг Чернышевский в психологическом анализе характера Мери, ее отношений с Илатонцевым. История жизни Лизы Свилиной в повести «История одной девушки» является по преимуществу психологической; трагедия Лачинова изображена Чернышевским как трагедия души «лишнего человека». В психологическом анализе сердец и душ ветхих людей Чернышевский шел следом за Гоголем и Лермонтовым, усиленно подчеркивая социальную детерминированность характеров.

Не раз указывалось на живость и яркость образов отрицательных персонажей в романах Чернышевского. Однако наиболее важные творческие достижения заключались не в них, а в создании образов новых и «особенных» людей.

Художественное открытие душевной красоты, гуманности идеалов, силы мысли и величия характеров революционеров стало возможным благодаря расширению сферы психологического анализа, а вместе с тем и сферы реализма.

Психологический анализ в романах Чернышевского отличается от всех указанных им направлений: 1) ясно выраженным стремлением опереться на научные достижения материалистической философии, физиологии и психологии; 2) доминирующим интересом к причинно-следственным связям гайн-

ственных психических процессов с явлениями социальной жизни людей; 3) преимущественным вниманием к диалектике мысли, к процессу ее развития от простейших обобщений к строгим логическим выводам, имеющим научное значение; 4) пафосом утверждения героических характеров новых людей, их способности согласовать свое поведение с убеждениями.

В использовании психологического анализа для художественного изображения красоты душевного мира революционеров Чернышевский не был одинок. Немалые творческие успехи были достигнуты Герценом и Огаревым, Некрасовым и Салтыковым-Щедриным, лучшие художественные произведения которых являются и социальным и психологическим исследованием человека.

Изучение своеобразия психологического анализа в этих произведениях необходимо и для уточнения представлений о течениях внутри критического реализма, и для установления источников традиций изображения «интеллектуальных героев» в советской литературе.

---

Н. А. ВЕРДЕРЕВСКАЯ

## О «ПРОТОТИПИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ» В ИЗУЧЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В большинстве книг и исследований о художественном творчестве Н. Г. Чернышевского, в частности о его романах «Что делать?» и «Пролог», первоочередное внимание исследователей привлекала и привлекает историческая основа этих художественных произведений. Обращаясь к эпохе 60-х годов XIX века, авторы многочисленных работ о Чернышевском стремятся выяснить, как решает Чернышевский-писатель в своих произведениях важнейшие проблемы современности, как отразилась в них политическая борьба 60-х годов, прежде всего борьба революционных демократов и либералов; какие, наконец, конкретные исторические события, обстоятельства, факты упоминаются на той или иной странице романа.

Значительно менее полно освещается вопрос о творческом методе писателя, о приемах типизации, о своеобразии его стилистической манеры. Тема «Чернышевский-художник» в нашем литературоведении до сих пор остается еще в известной степени «белым пятном».

Неразработанность этой темы оказала существенное влияние на те страницы книг и статей о Чернышевском-писателе, где идет речь о прототипах. Литература о прототипах героев художественных произведений Чернышевского обширна; большей частью указание на прототип является разновидностью исторического комментария. В отношении романа «Пролог» здесь следует назвать статьи А. Луначарского «Чернышевский как писатель»<sup>1</sup> и «Романы Чернышевского»<sup>2</sup>. Подробную расшифровку прототипов романа мы находим далее в работе

<sup>1</sup> А. В. Луначарский. Чернышевский как писатель.—«Вестник коммунистической академии», 1928, № 30.

<sup>2</sup> А. В. Луначарский. Романы Н. Г. Чернышевского.—В кн.: Н. Г. Чернышевский. Избр. произв. в 5-ти томах, т. 5, М.—Л., Соцэргиз, 1932.

А. П. Скафтымова «Исторические пояснения к персонажам романа»<sup>1</sup>. Расшифровка была повторена в статье «Историческая действительность» в романе «Пролог»<sup>2</sup> и в комментариях к XIII тому Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского и использовалась впоследствии всеми исследователями, писавшими о «Прологе».

Много внимания уделено выяснению вопроса о прототипе главного героя повести «Алферьев», несмотря на то, что о повести написано всего несколько статей. Почти в каждой из них заново приводятся доказательства того, что прототипом героя является Владимир Обручев, осужденный на каторжные работы за распространение прокламаций «Великорусс»<sup>3</sup>.

В 1957 году появляется статья С. А. Рейсера «Легенда о прототипах «Что делать?»<sup>4</sup>. Она положила конец распространенной, много раз повторявшейся версии о том, что прототипами героев романа были П. И. Боков, И. М. Сеченов и М. А. Бокова-Сеченова. Неопровержимость выводов Рейсера основывается прежде всего на хронологической ее невозможности: семейный конфликт названных лиц относится ко времени гораздо более позднему, чем создание романа «Что делать?». Однако до появления статьи Рейсера история Боковой-Сеченовой подробно излагалась почти во всех исследованиях творчества Н. Г. Чернышевского<sup>5</sup>. В работах о романе «Что делать?» большое внимание уделяется также предполагаемому прототипу Рахметова, саратовскому врачу Бахметеву.

Пристальное внимание к прототипам героев художественных произведений Чернышевского закономерно и оправдано, ибо решение этого вопроса часто является исходной точкой, изначальным моментом, предваряющим исследование твор-

<sup>1</sup> А. П. Скафтымов. Исторические пояснения к персонажам романа.—В кн.: Н. Г. Чернышевский. Пролог. «Academia», 1936.

<sup>2</sup> А. П. Скафтымов. Историческая действительность в романе «Пролог». В кн.: Н. Г. Чернышевский. Пролог. Саратов, 1948.

<sup>3</sup> Мысль о том, что Обручев является прототипом Алферьева, впервые была высказана Ю. Стекловым. См.: Ю. Стеклов. Н. Г. Чернышевский. т. II, ГИЗ, 1928, стр. 375. После этого сходные доказательства приводились в статье А. Пулицца «Образ нового человека в повести Н. Г. Чернышевского «Алферьев» (Научные записки Ворошиловградского пед. ин-та, т. 1, 1940), в кандидатской диссертации Б. Морозова «Роман Чернышевского «Алферьев» в связи с другими беллетристическими произведениями писателя» и в статье Н. Н. Новиковой, «Вл. Обручев—герой романа Чернышевского «Алферьев» (Революционная ситуация в России в 1859—61 гг. М., изд. АН СССР, 1962).

<sup>4</sup> С. А. Рейсер, Легенда о прототипах. «Что делать?».—Труды Ленингр. библиотечного ин-та им. Н. К. Крупской, т. II, 1957.

<sup>5</sup> См., напр.: Н. Богословский. Н. Г. Чернышевский. М., «Молодая гвардия», 1955, стр. 456—458; А. А. Озерова. Н. Г. Чернышевский. М., Учпедгиз, изд. 2, 1956, стр. 148—153. Встречались и попытки полного отождествления Веры Павловны и Боковой-Сеченовой. (См. напр.: С. Штрайх. Героиня романа «Что делать?» в ее письмах.—«Звенья», кн. 3. 4. М.—Л., 1934.



ческого процесса создания художественного образа. В ряде произведений Чернышевского, и прежде всего в романе «Пролог» и повести «Алферьев», связь между прототипом и художественным образом несомненна. Поэтому необходима и расшифровка прототипа, как предварительное условие литературоведческого анализа.

Однако подобная расшифровка имеет смысл только в том случае, если она помогает выяснению структуры художественного образа, а не подменяет его. В художественном произведении, если оно принадлежит перу талантливого писателя, мы имеем дело с итогом творческого процесса, несущего на себе печать индивидуальности художника, между прототипом и образом возникает дистанция. Так обстоит дело у Л. Н. Толстого — в «Войне и мире», «Воскресении», «Живом трупе» и т. д., у И. С. Тургенева в «Рудине», у М. Е. Салтыкова-Щедрина в «Господах Головлевых». Исключение могут составлять произведения мемуарного или очеркового характера, подобные «Семейной хронике» Аксакова или «Былому и душам» Герцена.

К сожалению, в большинстве работ о Чернышевском-художнике дело обстоит иначе. Расшифровка прототипов становится не началом, а концом исследования, не отправной точкой для анализа, а фактором, подменяющим анализ художественного образа. А. Лебедев в своей книге «Романы Чернышевского»<sup>1</sup> назвал такой подход к вопросу о прототипах «прототипической версией» и привел многочисленные примеры того, как эта «прототипическая версия» уводит исследователя от конкретного анализа художественного произведения, обедняет наше представление о Чернышевском-художнике. А. Лебедев закономерно видит здесь «реальное противоречие между декларативным признанием Чернышевского — замечательно интересного художника, и фактическим отсутствием всякого внимания именно к художественной стороне его творчества»<sup>2</sup>. Следует добавить, что логическим завершением упрощенного понимания проблемы прототипов является превращение романов Чернышевского в исторические документы, которые якобы могут быть использованы для ликвидации «белых пятен» в биографии того или иного исторического лица. Такая попытка уже есть: статья историка Н. Н. Новиковой «Владимир Обручев — герой романа Н. Г. Чернышевского «Алферьев»<sup>3</sup>. Автор статьи выдвигает требование: рассматривать названное произведение Чернышевского «не только и не столько как литера-

<sup>1</sup> А. Лебедев. Герои Чернышевского. М., Сов. писатель, 1962, стр. 149—163.

<sup>2</sup> Там же, стр. 150.

<sup>3</sup> Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., Изд. АН СССР, 1962, Отв. ред. М. В. Нечкина.

турное произведение, сколько как исторический источник»<sup>1</sup>, в данном случае как исторический источник для изучения биографии Владимира Обручева.

Необходимость отказа от «прототипической версии» несомненна. Художественные произведения Чернышевского должны изучаться именно как художественные произведения, а не как исторические источники. Но при этом большую важность приобретает вопрос: каковы же реальные связи прототипа и художественного образа в произведениях Чернышевского? В какой степени и с какой целью использует художник факты биографии реального лица, внешность его, характер и т. п.?

А. Лебедев пишет: «...Нет никакой возможности отрицать такую особенность художественной манеры, а в известном смысле и самого художественного метода Чернышевского, какой является очевидная, причем вполне очевидная, прототипическая портретность многих героев его произведений. Да в таком отрицании и нет никакой надобности. Дело «лишь» в том, чтобы постараться понять действительную природу этой особенности, рассмотреть ее не как некую внеэстетическую категорию фотографичности, а как определенный художественный прием, как определенную манеру, то есть именно как особенность художественного метода данного писателя, и постараться вскрыть ее действительную необходимость для него»<sup>2</sup>. Это справедливо, но нуждается в уточнении. Далеко не все герои произведений Чернышевского созданы на основе какого-либо жизненного прототипа. Вопрос о прототипах не возникал ни в связи с драматургией Чернышевского, ни в связи с рядом его прозаических произведений: романами «Повести в повести» и «Отблески сияния», повестью «История одной девушки». И только два произведения Чернышевского — роман «Пролог» и повесть «Алферьев» — в большей мере «прототипичны». Между тем и сюжетики, и приемы раскрытия образа в «Что делать?» и в «Алферьеве» однотипны, как однотипны они в свою очередь в «Прологе» и в «Истории одной девушки». Наличие или отсутствие прототипа не влияет у Чернышевского на характер типизации; приемы раскрытия образа одинаковы, идет ли речь об Алферьеве, прототипом которого был Обручев, или о Лолухове, прототипа которого в окружении Чернышевского мы не знаем.

Почему так происходит? Нам станет это ясно, если мы обратимся к тому, как именно работает Чернышевский над «прототипичным» образом, что берет он «от прототипа» и от чего, наоборот, сознательно отказывается. Обратимся для этой цели к «Алферьеву» и «Прологу».

<sup>1</sup> Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг., стр. 468.

<sup>2</sup> А. Лебедев. Герои Чернышевского, стр. 154.

Детальный портрет у Чернышевского редок. Большой частью он передает впечатление от внешности человека, использует несколько запоминающихся черт внешнего облика и поведения. Иногда — но далеко не всегда — эти черты берутся от прототипа. Так восходит к Обручеву портрет Алферьева (хотя те же самые «приметы внешности», по мнению отдельных исследователей, могут восходить и к М. Л. Михайлову)<sup>1</sup>. Автобиографична, хотя и несколько утрирована, внешность Волгина; скупой портрет Левицкого на первой странице «Пролога» напоминает о Добролюбове. Особенно отчетливо этот прием проявляется в «Прологе» в отношении графа Чаплина, которому Чернышевский дает внешность знаменитого Муравьева-вешателя. Так, в воспоминаниях Е. П. Елисейевой мы читаем: «Эта фигура (Муравьева—Н. В.) осталась в моей памяти в образе среднего роста тучного, жирного, скорее кругообразного шара с большою головой и с отвисшим подбородком чучелы. Он подвигался и именно не шел, а подвигался медленно, опустивши голову на грудь, так, что, казалось, в сторону не мог ничего видеть»<sup>2</sup>. Сравним в «Прологе»: «...в двери ввалила низенькая, еще вовсе не пожилая человекоподобная масса. Ввалила—потому что она не шла, а валила, высоко поднимая колени и откидывая их вбок, хлопотливо работая и руками, оттопырившимися далеко от корпуса, будто подмышками было положено по арбузу, ворочаясь всем корпусом, с выпятившимся животом... С оловянными, заплывшими салом крошечными глазками»<sup>3</sup>.

Портретная характеристика у Чернышевского, каково бы ни было ее происхождение, всегда имеет непосредственную связь с психологической окраской образа, с идейным замыслом писателя. Вот портрет Левицкого: «студент с длинными гладкими светлорусыми волосами», «некрасивый и неловкий», «несколько сгорбленный», «тоже в золотых очках», с лицом, которое «оставалось спокойно и холодно» (XIII, 6). Таким и пройдет Левицкий через весь роман: сохраняющим внешнее спокойствие и холодность даже в минуты сильнейших душевных волнений, равнодушным к внешности, умеющим анализировать, понимать и не обольщаться красивыми словами. И это уже не Добролюбов—это Левицкий, герой романа, домашний учитель сына Илатонцева, опасный противник грязного животного—Дедюхиной, защитник Анюты, друг

<sup>1</sup> См., напр.: А. Пулинец. Образ нового человека в повести Н. Г. Чернышевского «Алферьев». Пулинец ссылается на воспоминания Шелгунова.

<sup>2</sup> Воспоминания Е. П. Елисейевой.—В кн.: Шестидесятые годы. М. А. Антонович. Воспоминания. Г. З. Елисейев. Воспоминания, 1933, стр. 435.

<sup>3</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 16-ти т., том. XIII, М., 1949, стр. 167. Далее том и страницы указываются в тексте статьи.

Мери... А вот Алферьев—«молодой человек, одетый изящно... так непринужденна была его поза, так легко он поклонился и сделал шаг вперед ко мне, в ответ на мой поклон» (XII, 6). Он слушает «терпеливо и спокойно», возражает «холодно и коротко»; иронию собеседника встречает «с полнейшим равнодушием, с видом снисходительного одобрения... в его глазах, маленьких, серых, так и вонзавшихся в вас, светилось кроткое задумчивое добродушие. С этим взглядом, с этой улыбкой лицо его стало привлекательно» (XII, 10—11). Неважно, полностью ли соответствует это описание внешности Вл. Обручева или Михайлова: перед нами Борис Константинович Алферьев, в характере которого причудливо сочетаются любовь к изящному и сознательный аскетизм; душевное благородство, готовность прийти на помощь человеку — и полное неумение разбираться в людях; который готов пожертвовать и жертвует собою ради торжества своих убеждений, но в то же время способен играть в салоне Чекмазовых роль приманки для гостей. Портретная характеристика, какими бы ни были ее истоки, служит целям художника.

Если бы близость прототипа и образа в произведениях Чернышевского основывалась исключительно на близости портретной, никаких версий относительно «особой», исключительной роли прототипа в них не возникало бы. Портретная близость прототипа и художественного образа в литературе не редкость; достаточно вспомнить «Анну Каренину». Но Чернышевскому-писателю в его работе над прототипами свойственен еще другой прием—на этот раз чисто индивидуальный: писатель вводит в свои романы сцены и эпизоды, заимствованные из жизни, из биографии прототипа, и притом часто с фотографической точностью. Вот некоторые наиболее известные параллели: приход Алферьева в редакцию журнала—приход Вл. Обручева в «Современник» (по воспоминаниям В. Обручева). Ссора Левицкого с товарищами по педагогическому институту—ссора Добролюбова с товарищами, хорошо известная по дневнику Добролюбова. Арест и ссылка Соколовского—соответствующие факты биографии Сигизмунда Сераковского. Наконец, сообщение, что Рахметов отдает большую часть своего состояния на издания сочинений «немецкого философа»— и рассказ Герцена о Бахметева.

Если бы такие параллели были многочисленны, если бы они определяли собою сюжетику произведений, можно было бы говорить об исключительной роли прототипа или даже о тождестве прототипа и образа. Но дело в том, что параллелей таких немного и, что самое главное, все они, как правило, носят внесюжетный характер. Это либо эпизод, предваряющий развитие действия, как в «Алферьеве», либо предыстория героя (Соколовский), либо, наконец, внесюжетные авторские раздумья о дальнейшей судьбе героя—сборы Алферьева в

«дальнюю дорогу», Рахметов у «немецкого философа».

Что же касается сюжеттики художественных произведений Чернышевского, в том числе «Алферьева» и «Пролога», то она, как правило, не «прототипична»: фабула произведения не имеет параллелей в жизни каких-либо реальных лиц, в том числе и тех, кто с основанием или без основания признаны прототипами героев. Если знакомство Алферьева с рассказчиком повторяет обстоятельства прихода Вл. Обручева в «Современник», то дальнейшее развитие сюжета: увлечение Серафимой Антоновной Чекмазовой и так называемая «катастрофа», данные в комических тонах, а затем участие в судьбе Лизы Дятловой—не имеет к биографии Обручева ровно никакого отношения. То же самое в «Дневнике Левицкого» («Пролог»): только в начале произведения встречаются эпизоды, параллельные дневнику Добролюбова; с появлением Аниюты и особенно с перенесением действия в Илатон фабула становится полностью вымышленной. В отношении «Что делать?», «Истории одной девушки», всех драматических произведений Чернышевского нет никаких намеков на то, что на их сюжет оказывала воздействие какая-то известная Чернышевскому жизненная ситуация.

Независимость, вымышленность фабулы—одна из характернейших особенностей творческой манеры Чернышевского писателя. Используя иногда мелкие сцены и детали, выхваченные из жизни знакомых ему людей, Чернышевский в то же время обязательно ставит в центр произведения вымышленную сюжетную ситуацию, делает кульминационным вымышленный эпизод. Обратимся к первой части «Пролога». Борьба вокруг крестьянской реформы, деятельность петербургских «прогрессистов» были известны Чернышевскому во всех подробностях. Автобиографичность образа Волгина несомненна, и Чернышевский не пытается ее замаскировать. «Пролог пролога» воспринимается при этих условиях как политическая хроника 60-х годов. Казалось, естественно было бы Чернышевскому воссоздать в первой части «Пролога» наиболее яркие страницы борьбы—мало ли было таких страниц! Но этого нет. На месте этого—вымышленная от начала до конца сцена обеда у Илатонцева, плод творческой фантазии автора.

Нельзя забывать, что в сюжете художественных произведений Чернышевского важную роль играют женские образы. Вера Павловна и Катя Полозова в «Что делать?», Лидия Васильевна Волгина, госпожа Савелова, Аниута и Мери в «Прологе», Серафима Антоновна Чекмазова и Лиза Дятлова в «Алферьеве», Лизавета Сергеевна Крылова и Саша Тисьмина—авторы «рукописи женского почерка» в романе «Повести в повести», Лиза Свилина, героиня «Истории одной девушки»—все это персонажи, судьба которых становится непосредственным ядром сюжета, определяет содержание названных



книг. Если можно назвать тему, общую для всех произведений Чернышевского, начиная с его юношеской повести «Теория и практика», то такой темой будет судьба женщины. Между тем женские образы Чернышевского, как правило, не прототипичны. Исключение составляет только образ Лидии Васильевны Волгиной в «Прологе».

Таким образом, прототипическая портретность многих героев произведений Чернышевского—отнюдь не постоянный и далеко не так часто встречающийся прием. В этом отношении Чернышевский—писатель, мало отличающийся от других крупных представителей русского реалистического искусства XIX века.

Почему же создается впечатление, что Чернышевский фотографирует действительность? Что его герои списаны с людей, окружающих писателя? Почему возникает заманчивая потребность искать прототипы его героев даже тогда, когда для этого не имеется достаточных оснований? Почему, например, могла так долго существовать легенда о прототипах героев «Что делать?»

Потому что сам Чернышевский—тут мы снова подходим к одной из интереснейших особенностей его творческой манеры—стремится мистифицировать читателя, создать в своих книгах иллюзию фотографичности происходящего, «иллюзию факта». Он ведет повествование таким образом, чтобы создать у читателя убеждение: речь идет о людях, живущих рядом. Автор встречается с героями, автор участвует в их жизни, автор получает в свое распоряжение рукопись—дневник героя и т. п.

Прием этот не нов. Он широко распространен в литературе английского просвещения. В русской литературе им воспользовался Лермонтов, объединяя написанные ранее новеллы в роман «Герой нашего времени». Мы не принимаем на веру предисловия к роману и не гадаем, с кого были списаны Печорин, Грушницкий, Максим Максимыч и драгунский капитан. Причина этому проста: Лермонтов предвидел, а частью и испытал эту «несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов» и во втором издании «Героя нашего времени» с иронией отозвался о тех, кто готов был видеть в героях романа портреты автора и его знакомых: «Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей»<sup>1</sup>.

Правда, и Чернышевский в черновом варианте романа «Повести в повести» предостерегал: «... роман надобно читать как роман»—и с иронией писал о тех читателях (и только ли

<sup>1</sup> М. Ю. Лермонтов. Собр. соч. в 4-х т., т. 4. «Художественная литература», 1965, стр. 7.



читателях?), которые «все ищут: с кого срисовал автор вот это или вот то лицо? с себя? или с своей кузины? или с своего приятеля? Они не могут успокоиться, пока не отыщут чего-нибудь такого» (XII, 684). Но так как строки эти находятся в черновых вариантах романа «Повести в повести», а распространение «прототипической версии» связано с изучением «Что делать?», «Алферьева» и «Пролога», то предупреждение Чернышевского либо остается незамеченным, либо трактуется как «ложный ход», адресованный цензуре.

«Иллюзия факта», иллюзия авторского участия в происходящем особенно заметна в романе «Что делать?». Автор формально не входит в число действующих лиц романа «Что делать?» ни как рассказчик, ведущий повествование от первого лица, ни как участник событий. Но голос автора постоянно звучит в романе в публицистических обращениях к читателю-другу, в сценах-диалогах автора и «проницательного читателя» идейные противники персонажируются. И в своих публицистических обращениях к читателю-другу Чернышевский ведет речь о героях своего романа как о людях, лично ему знакомых и реально существующих.

«Верочке и теперь хорошо. Я потому и рассказываю (с ее согласия) ее жизнь, что, сколько я знаю, она одна из первых женщин, жизнь которых устроилась хорошо» (XI, 43). «А вот чего я действительно не знаю, так не знаю: где теперь Рахметов, и что с ним, и увижу ли я его когда-нибудь. Об этом я не имею никаких других ни известий, ни догадок, кроме тех, какие имеют все его знакомые» (XI, 208—209).

Какова цель этого приема? Прежде всего, он придает авторской интонации особую интимность и теплоту. Не случайно чаще всего мы можем встретить его в произведениях лирического плана.

Но была у Чернышевского и другая цель, связанная с идейным замыслом романа. В книге, которая должна была стать учебником жизни, дать ответ читателю на вопрос, стоящий в ее заглавии,— в такой книге должны были действовать герои, живущие одной с читателем жизнью, максимально приближенные к нему. Пусть читатель думает, что герои рядом с ним, что они ходят по тем же петербургским улицам, что к ним можно обратиться за советом, поддержкой, помощью. Чернышевский стремится создать определенную психологическую настроенность в читательском восприятии, настроенность, которая бы усилила публицистическое звучание книги.

Встречается в романе «Что делать?» и другой прием. В главу «Особенный человек» Чернышевский ввел эпизод встречи автора с Рахметовым—единственное место, где сам повествователь становится действующим лицом романа. Используются автобиографические детали: «Я был тогда уже не мо-

лод, жил порядочно, потому ко мне собиралось по временам человек пять-шесть молодежи из моей провинции» (XI, 204). Сцена, следующая за этим, невольно воспринимается как имеющая реальную основу—между тем она плод творческой фантазии автора. Ибо Чернышевский-художник постоянно сводит своих героев с автором-рассказчиком в вымышленной ситуации, стремясь таким образом разрушить грань между вымыслом и реальностью, создать опять-таки «иллюзию факта».

Прием повторен в «Повестях в повести». Чернышевский-автор и рассказчик, «представляя» нам героя романа Верещагина, от имени которого ведется рассказ в обрамляющих главах романа, сообщает нам о своем близком знакомстве с Верещагиным, его женой и дочерью; вводятся подробности, которые должны сообщить рассказу автобиографическую достоверность: «Лета Леонтия Даниловича неизвестны мне с полной точностью; на вид я дал бы ему лет 40. Его супруга пожелала, чтобы я сказал, что ей 36 лет, это и правда, как мне известно: я был родственник старичку-священнику, крестившему ее, родственник и другому старичку-священнику, венчавшему ее» (XII, 140—141). «С ее дочерью, Надиною Леонтьевною, я хорош... Я постоянно вижу Надину Леонтьевну в семействе, с которым очень близок. Я сижу в кабинете хозяина; она, подруга младших сестер жены хозяина, часто входит в этот кабинет, заваленный деловыми бумагами и неудобочитаемыми книгами; взойдет, повернется—и уйдет подальше от скуки... Но если бы кто-нибудь вздумал осведомиться у меня хотя бы даже о том, читала ли она хоть одну из моих бесчисленных статей, я затруднился бы отвечать...» (XII, 143—144). Разумеется, прототип Надины Верещагиной искать не имеет смысла.

В «Алферьеве» и «Прологе» этот прием значительно усложняется; автор передает свои функции героям. Автобиографичность Волгина не подлежит сомнению: внешность, манера держаться, семейные отношения, профессия, место, которое занимает герой в политической борьбе 60-х годов XIX века,— все ведет нас к самому Чернышевскому. Рассказчик в «Алферьеве»—тоже образ автобиографический<sup>1</sup>. Произведение композиционно построено так, чтобы оно воспринималось читателем либо как мемуарное («Алферьев», «Дневник Левицкого»), либо как историческая хроника («Пролог пролога»). Переход от экспозиции, включающей подробности автобиографического характера, к развитию сюжета не заметен; между

---

<sup>1</sup> См.: Б. Морозов. Образ рассказчика-журналиста в романе Н. Чернышевского «Алферьев».—Известия АН СССР, отделение литературы и языка, т. XII, вып. 3, 1953.

тем, как уже говорилось выше, фабула никогда Чернышевским не заимствуется.

Оригинально используются Чернышевским композиционные формы обрамления, характерные для романа «Повести в повести» и повести «Тихий голос»,—название полного, включающего обрамляющие главы текста «Истории одной девушки»; под этим названием повесть напечатана в первом Полном собрании сочинений Н. Г. Чернышевского<sup>1</sup>. Основной текст в этих произведениях имеет форму рукописи, которую неизвестная (либо неизвестные) вручают для передачи в редакцию журнала. Обрамление используется Чернышевским для усиления мотива реальности мнимых авторов. В романе «Повести в повести», например, в обрамляющие главы введена вставка мнимо редакционного характера: «Истинное имя Л. С. Крыловой сообщено нам через г. Чернышевского, и мы не находим причин не напечатать его. Оно будет напечатано в нашем журнале. Ред». (XII, 149). Обрамляющие страницы «Тихого голоса» построены как диалог, который ведут персонажи, нарочито «прототипичные»: Благодатский—Добролюбов, Онуфриев—Гончаров<sup>2</sup>, хозяин дома—Чернышевский. Этим самым и история рукописи, переданной в редакцию журнала, должна обрести характер достоверности.

Как в «Повестях в повести», так и в «Тихом голосе» подобная «иллюзия фактической достоверности» самым тесным образом связана с идейным замыслом писателя. Крылова, героиня романа «Повести в повести», выступая в качестве одного из авторов «рукописи женского почерка», выносит на суд публики свои интимные отношения. Содержание рукописи таково, что ее опубликование могло бы вызвать скандал, способный навсегда погубить репутацию женщины. Утверждая в своем «автобиографическом» произведении мысль о правомерности полного равенства моральных требований, предъявляемых обществом мужчине и женщине, Крылова сознательно идет на полный разрыв с обществом, к которому она принадлежала по рождению и воспитанию. Перепуганный содержанием рукописи посредник, либеральный помещик Верещагин, восклицает: «Но это так странно, что я не знаю имени подобной вещи. Женщина молодая, семейная, благородная душой, несомненно, скромная, печатает свою интимную историю, историю, которая... ну, словом, представьте себе, что княжна Мери или Онегинская Татьяна—действительные лица и печатают о себе все, что мы знаем о них, и гораздо более... Я не знаю примеров такой... смелости» (XII, 149).

Представьте себе, что Татьяна или княжна Мери—действительные лица. Представьте себе, что Крылова—действи-

<sup>1</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. т. X. СПб, 1906.

<sup>2</sup> См. примечания к повести «История одной девушки». XIII, 902.

тельное лицо. Отвлекитесь на минуту от мысли о том, что перед вами литературное произведение, и представьте себе, что героиня действительно осмелилась вынести свою жизнь на суд публики, приняв на себя последствия. Тогда сам образ героини предстает перед нами в ином освещении. «Иллюзия факта» нужна в романе как лишний штрих, характеризующий героиню, как средство усиления идейного звучания.

В «Тихом голосе» перед нами прямо противоположное: боязнь героини напечатать конец своей истории: «Она и за это боится, что назовут безнравственной, а дальше писать—никак не решается» (XIII, 865). Так появляется в обрамляющих главах мотивировка, объясняющая мнимую незаконченность повести.

Таким образом, перед нами целый ряд однотипных приемов композиционно-стилистического характера, направленных к одной цели: максимально приблизить героя к читателю, сделать читателя не только пассивным свидетелем, но как бы участником событий, при этом участником, произносящим свой суд.

В заключение следует сказать еще одно. Чернышевский-писатель создает произведения, герои которых вовлечены в острейшие социально-политические конфликты эпохи. Но сущность человека, говорит Чернышевский, раскрывается в его отношении к другим людям, прежде всего в его семейных и интимных отношениях. Автор статьи «Русский человек на rendez—vous», Чернышевский в своей художественной практике тоже выводит своих героев на rendez-vous: проверяет общественную значимость героя его поведением в личной жизни. Поэтому «Алферьев», повесть о революционере, построена как повесть о личных отношениях героя. Поэтому либеральная двуликость Савелова, желающего слыть демократом, но заигрывающего с консервативными кругами, человека, который готов на все для своей карьеры, но боится общественного мнения, проявляется прежде всего в его отношениях к жене, которую он продает ради карьеры графу Чаплину, сам себе в этом не признаваясь.

Уже по этой одной причине о тождестве между прототипом и образом у Чернышевского не может быть и речи. Иначе следовало бы предположить, что Чернышевский грубо вмешивается в интимнейшие отношения людей (в том числе умерших, например, Добролюбова, и сосланных—Обручева) и выносит их на суд публики. Может ли это быть?

Чернышевский—художник, писатель оригинальный и самобытный. Нельзя анализировать его произведения без учета его творческой манеры, особых, свойственных именно этому писателю приемов повествования. Без этого поиски прототипов, разумеется, нужные и полезные, останутся только мало-значительной частью исторического комментария.

А. В. КАРЯКИНА

## ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1860-х—НАЧАЛА 1870-х ГОДОВ И В РОМАНЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ПРОЛОГ»

Решающее влияние на характер революционно-освободительной борьбы в 1870-е годы оказали новые народнические теории, формировавшиеся с конца 1860-х годов.

В современной исторической науке общепризнано, что революционный демократизм шестидесятников был основой идеологии и революционной деятельности народников-семидесятников и что, тем не менее, в теоретическом отношении народничество было шагом назад от Н. Г. Чернышевского и его ближайших соратников<sup>1</sup>. Это положение, несомненно, распространяется и на этические учения.

По сравнению со временем революционеров-демократов периода падения крепостного права этический эталон преобразователя жизни, который вырабатывался общественно-философской народнической мыслью конца 1860-х—начала 1870-х годов—прежде всего в работах П. Л. Лаврова и Н. К. Михайловского, претерпел значительные изменения.

Народническая идеология в той ее специфической форме, которую она приобретала в это время, теми или иными сторонами проявлялась в демократической литературе. Традиции автора «Что делать?», оказавшие огромное влияние на создание образов новых людей, сталкивались с тенденциями народнического либерализма, а несколько позднее с так называем-

<sup>1</sup> См.: Ш. М. Левин. Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX в., М., Соцэжгиз, 1958; Б. П. Козьмин. Народничество на буржуазно-демократическом этапе освободительного движения в России.—Исторические записки, АН СССР, 1959, № 65; Б. С. Итенберг. К вопросу о влиянии революционеров эпохи падения крепостного права на народников первой половины 70-х годов XIX в.—Исторические записки, АН СССР, 1960, № 67; Б. П. Козьмин. Из истории революционной мысли в России. М., АН СССР, 1961.

мой теорией «критически мыслящей личности» Миртова-Лаврова. Духом времени становились не только преувеличенные роли личности в общественной жизни, но также этическое кредо «долга» перед народом и жертвенности во имя его освобождения, во имя общего прогресса. Все эти идеи как бы носились в воздухе еще до появления «Исторических писем» П. Л. Миртова (1868—1869) и последовавших за ними работ Н. К. Михайловского и других идеологов народничества.

Вследствие всего этого, в «переходное» (по определению Салтыкова-Щедрина) время возникли особые трудности в теоретическом осмыслении и практике создания образов новых людей в художественной литературе.

## 1

Расхождения народников нового десятилетия с их учителем Чернышевским в философских, историко-социологических взглядах не могли не привести к расхождениям в области этики.

В литературе о Чернышевском вопросы революционно-демократической этики разработаны мало и односторонне.

Почин в этом направлении сделан был А. В. Луначарским в статье «Этика и эстетика Чернышевского перед судом современности». Высказав актуальнейшие мысли о существе нравственных воззрений великого революционера, он сделал несколько сопоставлений их с этикой народников. В последующих исследованиях, как правило, отсутствует тот аспект темы, который был намечен Луначарским<sup>1</sup>.

Среди идеологов новых народнических течений П. Л. Лавров, по его собственному признанию, «в продолжение всей своей литературной деятельности особенно занимался вопросами этики»<sup>2</sup>. Он считал, что следует за Чернышевским, но на

<sup>1</sup> См.: Б. А. Размустов. Проблема долга в этике Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова.—Труды Воронежского ун-та, вып. 1, 1957, т. 60; А. А. Азнауров. Этическое учение Н. Г. Чернышевского. М., 1960. В работе А. Ф. Шишкина «Из истории этических учений» (М., Госполитиздат, 1959), в главе «Этика Н. Г. Чернышевского» дано широкое, но имманентное, отвлеченное от конкретно-исторических условий времени освещение вопроса. Новыми сторонами эта тема повернута А. Лебедевым в книге «Герои Чернышевского» (М., «Советский писатель», 1962). Но здесь рассмотрены лишь те стороны теории «разумного эгоизма», которые, с точки зрения автора, определяют своеобразие творческого метода Чернышевского в «Что делать?». В главе, посвященной образу Левицкого, анализ этики автора «Пролога» ограничен областью «эмансипации чувств». А. Лебедев, кроме того, рассматривает этические проблемы «Дневника Левицкого» в отрыве от «Пролога». В статье Н. Пруцкова «Общественно-нравственный облик русского революционера допролетарского периода» («Литература в школе», 1964, № 4) прослеживаются изменения в облике революционера на разных этапах второго периода русского освободительного движения, однако эволюция революционных этических теорий остается невыявленной.

<sup>2</sup> П. Л. Лавров. Избранные сочинения, т. 1, М., 1934, стр. 94.



самом деле развивал этическое учение, в котором во многом отступал от него. Теорию «разумного эгоизма» Лавров определяет как утилитарный «расчет пользы» и, признавая за ней практическое значение при определении «форм борьбы», «дополняет» ее своим нравственным учением, которое, в отличие от утилитаризма, называет «научной этикой». «Научная этика» П. Л. Лаврова исходит из того, что «вся этика исчерпывается основными понятиями достоинства, развития, критического убеждения и справедливости»<sup>1</sup>.

Основные моменты этики Лаврова нашли отражение в «Исторических письмах». Здесь, сделав критически мыслящую личность творцом той идеи, которая движет ею самой как «созидателем» прогресса, Лавров не счел идею достаточной гарантией, что личность будет развивать историю, и поэтому наложил на нее еще вериги долга, нравственную обязанность двигать прогресс. Критически мыслящая личность должна осознать свой долг перед трудящимся большинством, искупая вековую вину образованных классов. Автор «Исторических писем» настойчиво убеждал читателей в том, что «прогресс небольшого меньшинства был куплен порабощением большинства»<sup>2</sup>. Он призывал образованных людей снять «с себя ответственность за кровавую цену своего развития», употребив «это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и будущем»<sup>3</sup>.

Теория долга сделалась одним из краеугольных камней народнической идеологии, ее довел до логического завершения Н. К. Михайловский, заявивший в одной из статей 1873 года: «...мы пришли к выводу, что мы должники народа... Мы можем спорить о размерах долга, о способах его погашения, но долг лежит на нашей совести, и мы его отдать желаем»<sup>4</sup>. Именно за эту теорию народническая идеология семидесятых годов получила название идеологии «кающегося дворянина».

В основе этической теории Чернышевского, развитой в статье «Антропологический принцип в философии», а потом художественно воплощенной в романе «Что делать?», лежит антропологизм и просветительство: человеком движет эгоизм, но у просвещенного человека это — «разумный эгоизм», правильный расчет «выгод», расчет всеобщей пользы как необходимого условия пользы для отдельной личности. И в этике просветительство Чернышевского носит ярко выраженный революционный характер. Новый человек выбирает такой путь действий, который ведет к освобождению и счастью масс, по-

<sup>1</sup> П. Л. Лавров. Избранные сочинения, т. 1, стр. 94.

<sup>2</sup> П. Миртов. Исторические письма, Пб., 1870, стр. 54.

<sup>3</sup> Там же, стр. 63.

<sup>4</sup> Н. К. Михайловский. Литературные и журнальные заметки. — «Отечественные записки», 1873, № 2, стр. 340.

тому что освобождение и счастье человечества есть единственная гарантия свободы и счастья отдельной личности. Справедливо мнение, что этика Чернышевского основана на принципе революционной целесообразности.

Если в своей этике Чернышевский—революционный просветитель, который очень далеко шел в материалистических прозрениях, то Лавров—субъективный идеалист, ставящий в основу этики нравственный идеал, идею долга. Этика Чернышевского предусматривает разумный и целесообразный выбор. Этика Лаврова налагает обязанность, долг, которые являются следствием воодушевления высоким нравственным идеалом справедливости, но здесь нет речи о разумном выборе: критически мыслящая личность просто обязана его выполнить.

Именно идеалисты в философии считали нужным ограничивать человека долгом. Чернышевский же в своем материализме считал недостойным и ненужным ограничивать человека какими бы то ни было заповедями и приказами. Его рахметовы рисовались ему людьми прежде всего свободными—свободными от долга, внешне навязанного, свободными от долга, внутренне принятого на себя в качестве насильственной дисциплины. «Я не думаю,—говорил А. В. Луначарский,—чтобы Чернышевский охотно подписался под народническим долгом, как его сформулировал в своих известных «Исторических письмах» Миртов-Лавров»<sup>1</sup>.

И действительно, Н. Г. Чернышевский отвергает категорию долга. Еще в романе «Что делать?» Лопухов высказывает авторское убеждение: «Но то, что делается по расчету, по усилению воли, а не по влечению природы, выходит безжизненно»<sup>2</sup>. В «Что делать?» решительно отвергается всякая попытка связать человека долгом, даже если такого рода попытка исходит от «особенного человека». В романе приведен примечательный разговор автора с Рахметовым: «Мы потолковали с полчаса; о чем толковали, это все равно; довольно того, что он говорил: «Надобно», я говорил: «нет»; он говорил: «вы обязаны», я говорил: «нисколько». (т. XI, стр. 205). Как видно из дальнейших разъяснений, автор совершенно согласен с Рахметовым по существу «дела», о котором шла речь, но категорически не принимает его постановки вопроса о «деле» как «обязанности».

Народническая теория долга по философской постановке вопроса была отступлением от этики Чернышевского и революционных демократов, оставшихся его последователями.

<sup>1</sup> А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми т., т. I, «Художественная литература», М., 1963, стр. 271.

<sup>2</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., М., 1939, т. XI, стр. 184. В дальнейшем цитирую по этому изданию; том и страницы указываются в тексте.

Недаром Н. Шелгунов в статье «Историческая сила критической личности», написанной в связи с выходом «Исторических писем», решительно отверг идею народнического долга за ненадобностью: «Зачем же людям плетка?»<sup>1</sup>. Чернышевский считал необходимым ясное понимание целесообразности поступков и не признавал жертвы как насильственного отречения от личного. Его этическая теория светла, оптимистична. Вся она пронизана мыслью социалиста-утописта о счастливом человечестве и счастливом человеке, о несомненном праве каждого человека на счастье.

П. Л. Лавров пишет, кажется, совершенно в духе революционных шестидесятников: «Нужно не только слово, нужно дело». Но тут же следует призыв: «Нужны энергические, фанатические люди, рискующие всем и готовые жертвовать всем. Нужны мученики...»<sup>2</sup>. Как этот призыв, благородный и мужественный, но мрачный, отличается от знаменитого обращения в «Что делать?», проникнутого горячим и радостным воодушевлением: «Поднимайтесь из вашей трущобы, друзья мои... Выходите на вольный божий свет... жертв не требуется... Желайте быть счастливыми—только, только это желание нужно. Для этого вы будете с наслаждением заботиться о своем развитии: в нем счастье. О, сколько наслаждений развиту человеку! Даже то, что другой чувствует, как жертву, горе, он чувствует, как удовлетворение себе, как наслаждение, а для радостей так открыто его сердце, и как много их у него! Попробуйте:—хорошо!» (т. XI, стр. 228). По словам Луначарского, «Чернышевский не хочет абсолютно автономной морали <...> Для него <...> нет <...> никакого метафизического долга. Для него мораль должна быть результатом веры в огромное человеческое счастье»<sup>3</sup>.

## 2

В демократической литературе второй половины шестидесятых—начала семидесятых годов довольно явственно выступает «двойкая, либеральная и демократическая, тенденция в народничестве»<sup>4</sup>.

Либеральная тенденция в обнаженно полемической по отношению к Чернышевскому форме проявилась в романах Л. Мордовцева «Новые русские люди» и «Знамена времени» (1869). Мордовцев противопоставляет новым людям Чернышевского и в первую очередь образу революционера Рахметова Стожарова и Караманова. Исходной точкой их деятель-

<sup>1</sup> «Дело», 1870, № 11, стр. 34.

<sup>2</sup> П. М и р т о в. Исторические письма, стр. 108.

<sup>3</sup> А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми т., т. 1, М., «Художественная литература», 1963, стр. 252.

<sup>4</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, М., 1961, стр. 165.

ности является «польза... хоть бы самая узенькая»<sup>1</sup>. Стожаров, отдав свое имение крестьянам, «хочет перевоспитать старую крестьянскую общину»<sup>2</sup>. Сын богатого помещика Караманов стремится создать «новую общину» на таких началах, чтобы в ней «не было ни бедных, ни богатых, ни голодных, ни объедающихся»<sup>3</sup>. И Стожаров, и Караманов сами идут пахать землю, как простые мужики, и занимаются нравственным воспитанием нового поколения крестьян. Платформа и тактика положительных героев романа четко выражена в словах: «Мы идем в народ не с прокламациями, как делали наши юные и неопытные предшественники в шестидесятых годах. Мы идем не бунты затевать, не волновать народ и не учить его, а учиться у него терпению, молотье и косьбе»<sup>4</sup>. Д. Мордовцев проводит либеральную ревизию революционных традиций 1860-х годов и в то же время противостоит революционным народническим учениям, отвергая как революционное бунтарство, так и революционное просветительство<sup>5</sup>. Вместе с этим в «Знамениях времени» «кающиеся дворяне» пытаются слиться с народом путем «опрощения».

Образ положительного героя времени в лице дворянина, который хочет сам «пахать землю», дает и Н. Успенский в повести «Издали и вблизи», напечатанной в 1870-м году в журнале «Вестник Европы». Помещик Новоселов, человек очень образованный и уважаемый, не может спокойно видеть весь ужас пореформенной крестьянской жизни и решает испытать ее тяготы на собственной спине. Он осуществляет свое намерение «хлебнуть горькой чаши, которую пьет наш народ», но не выносит всех трудностей настоящей крестьянской жизни и заболевает, по-видимому, смертельно. Идеи Новоселова увлекают молодого помещика Карпова, который обращается к дворянам с призывом: «Так, господа, выступим на честный путь... Поделится с несчастным народом, чем можем... не все-то нам ездить на его спине...»<sup>6</sup>

В нравственных исканиях героев Д. Мордовцева и Н. Успенского отразилось то характерное стремление к «уплате векового долга» народу, которое теоретически выразили П. Л. Лавров и Н. К. Михайловский. Так, Н. К. Михайловский писал: «На известной ступени развития человек не может не

<sup>1</sup> Д. Мордовцев. Знамения времени.—«Всемирный труд», 1869. № 1, стр. 41.

<sup>2</sup> Там же, № 7, стр. 375.

<sup>3</sup> Там же, стр. 376.

<sup>4</sup> Там же, стр. 338.

<sup>5</sup> Как известно, анархист М. А. Бакунин с 1869 г. поставил перед революционной народнической интеллигенцией задачу «бунтовать народ»; П. Л. Лавров немного позднее призывал «учить» народ, то есть вести в народе революционную пропаганду.

<sup>6</sup> Н. Успенский. Издали и вблизи.—«Вестник Европы», 1870, т. 1, стр. 635, 648.

содрогаться при мысли о том количестве жизней, которое оплатило собою его личное развитие. Если он и не в состоянии представить себе с достаточной ясностью всю эту необъятную перспективу невольных жертв его невольной высоты, то его все-таки смутно тянет к уплате долга»<sup>1</sup>.

Несмотря на более чем неблагоприятные условия «трудного» и «переходного» времени, передовая демократическая литература в ряде произведений: повести В. А. Слепцова «Трудное время» (1865), романе Д. Гирса «Старая и юная Россия» (1868), романе И. В. Оммулевского «Шаг за шагом» (1870) и других—дала образы революционеров. На всех этих писателей очень большое влияние оказал роман «Что делать?», образ Рахметова. Но образ «особенного человека» Чернышевского в условиях формирования новых народнических течений в значительной мере был переосмыслен и воспринят, так сказать, в соответствии с духом времени, более всего привлекая чертами аскетического ригоризма.

Подчеркнут «титанизм» революционера Василия Теленьева в романе Д. Гирса «Старая и юная Россия». Вслед за Лавровым, утверждавшим, что историю двигают «одинокие борющиеся личности»<sup>2</sup>, Гирс развивал мысль о том, что борьбу против «настоящего, существенного зла» способны вести героические личности, а не толпа. Чтобы бороться против «в самом деле... великанов», «нужно быть и самому титаном», а «толпе по плечу средняя тяжесть ноши»,—говорит один из героев романа<sup>3</sup>.

Революционер из романа Оммулевского тоже принадлежит к «выдающимся из среды личностям»<sup>4</sup>. Добавим, что и Мордовцев не преминул объявить «чудом каким-то, титанической личностью» Караманова в «Знамениях времени»<sup>5</sup>.

В повести В. Слепцова «Трудное время» главный герой, как и Рахметов, аскетичен не по натуре, а по принципу. Рязанов не ограничивается рахметовским «любовь связала бы мне руки». Он сознательно и преднамеренно действует так, чтобы подавить в себе чувство к Марии Николаевне Щетининой и заставить ее поступить так же. После урока, воспринятого ею как предостережение от «очень важной ошибки», Мария Николаевна, пережив «душевный кризис», стала «совсем здорова», то есть освободилась от любви к Рязанову, и такой уходит в новую жизнь. Рязанов говорит Щетинину: «И роли-то наши совершенно пустые: ты ей нужен был для того, чтобы

<sup>1</sup> Н. К. Михайловский. Литературные и журнальные заметки.—«Отечественные записки», 1873, № 2, стр. 341—342.

<sup>2</sup> П. Миртов. Исторические письма, стр. 44.

<sup>3</sup> «Отечественные записки», 1868, № 4, стр. 364.

<sup>4</sup> И. Оммулевский. Светлов. СПб., 1871, стр. 143.

<sup>5</sup> Д. Мордовцев. Знамения времени.—«Всемирный труд», 1869, № 7, стр. 357.

освободиться от матери, я ее от тебя освободил, а от меня уже она сама освободилась; теперь ей никто не нужен,—сама себе госпожа»<sup>1</sup>.

Теленьев у Д. Гирса твердо заявляет, что любовь к женщине не входит в его «расчет». Аскет в любви и герой Омулевского: он отказался жениться на дочери декабриста Кристине, которая десять лет ждала его. Светлов у Омулевского отмечен еще и чертами жертвенности. Он говорит, что «...мужчина ...может сделать то же, что сделал Христос: может страдать и умереть, как он, отстаивая на практике великие христианские истины...»<sup>2</sup>. Прозорова в бреду видит Светлова в ореоле мученика, приносящего себя в жертву ради других. Такое представление о революционере вытекало из общих морально-этических воззрений, изложенных в «Исторических письмах».

В романе «Старая и юная Россия» Д. Гирса революционер рахметовского склада, которому приданы черты «критически мыслящей личности», теряет существеннейшие свойства Рахметова и становится похож на будущих героев-народников, на тех «немногих избранных», взявших на себя все трудности борьбы, наиболее ярким художественным типом которых явился Андрей Кожухов—герой известного романа С. М. Степняка-Кравчинского.

Рахметов — революционный теоретик и практик, Теленьев Гирса—только практик (он рекомендует себя «рядовым»), как и Андрей Кожухов (о котором сказано, что он «не теоретик»). О таких людях, как Рахметов, Чернышевский говорит, что они «двигатели двигателей», то есть авангард, руководящее ядро в будущем массовом народном движении; герой Гирса скорее готовится к тому, чтобы самому быть «двигателем» событий, как народники позднейшего времени.

Омулевский в романе «Шаг за шагом» в эпизоде, где тяжело больная Прозорова видит Светлова в ореоле мученика, внешне следует за эпизодом из «Что делать?», в котором молодая вдова после «огненных речей Рахметова, конечно, не о любви», видит его во сне, окруженного сиянием. Но по своему внутреннему смыслу эпизоды вовсе не совпадают. Видение Прозоровой возникло под влиянием слов Светлова о необходимости страдать и умереть за правду, как Христос. У Чернышевского же нет и речи о каком-либо мученичестве и нет никаких параллелей с Христом; у него лишь снова подчеркнута громадная сила убежденности революционера, которая оставляет неизгладимое впечатление и оказывает сильнейшее нравственное воздействие на окружающих. Борец в ореоле мученика у Омулевского тоже предвещает позднейшие произведе-

<sup>1</sup> В. А. Слепцов. Сочинения, т. 2, М., 1957, стр. 157.

<sup>2</sup> «Дело», 1870, № 4, стр. 123.



ния о героине-народнике, в которых борьба революционеров изображалась как жертвенный подвиг<sup>1</sup>.

Итак, на типе революционера в демократической литературе времени формирования новых народнических течений лежит печать «рахметовщины»: он, как правило, тоже «особенный человек», «высшая натура» и обязательно аскет по образу жизни.

Но дело в том, что сам Чернышевский не имел цели выдвигать эти черты Рахметова и выдавать их за постоянную и необходимую принадлежность революционера. Об этом свидетельствует уже роман «Что делать?». Вопреки мнению А. Лебедева, что Чернышевский смотрел на Рахметова «в какой-то мере снизу вверх»<sup>2</sup>, автор «Что делать?», восхищаясь героем, воплощающим идеал революционера и потому чрезвычайно высоко поставленным, находит нужным внести в повествование критический элемент. Выше отмечалось, что писатель как бы не принял ригоризма своего героя. И тем более он не истолковывает его аскетический ригоризм «как некий образец поведения»<sup>3</sup>. Напротив, аскетизм Рахметова в любви опровергается в романе историей любви «дамы в трауре» и ее мужа-революционера<sup>4</sup>.

Рассказ «дамы в трауре» убеждает новых людей, что любовь не мешает революционеру и не связывает его, если жена — его друг и единомышленник: «Можно, дети, и влюбляться можно, и жениться можно, только с разбором, и без обмана, без обмана, дети». (т. XI, стр. 334). Далее, хотя аскетизм «Рахметова, как и вообще «рахметовщина», все «особенное» в революционере, истолковывается в романе на первый взгляд лишь антропологически («чтобы стать таким особенным человеком, конечно, главное — натура» (XI, 201), Чернышевский показал еще, «какие задатки для того лежали в ...прошлой жизни» его революционера. На эту сторону об-

<sup>1</sup> Мысль о борьбе как жертве проходит через произведения С. М. Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов», «Домик на Волге» и др. В рассказе «Домик на Волге» революционер-народник говорит: «Мы зовем людей не на кровь, а на жертву... Не наша вина, что в мире ничего не совершается без страдания». (С. М. Степняк-Кравчинский. Домик на Волге, М., 1956, стр. 29).

<sup>2</sup> А. Лебедев. Герои Чернышевского, стр. 73.

<sup>3</sup> Там же, стр. 112. Это свое утверждение автор ничем не доказывает, ссылаясь лишь на то, что именно Рахметову отдает Чернышевский «все свои симпатии». Между тем, несомненно, что «симпатии» автора «Что делать?» отданы также новым людям, не говоря уже об еще одном «особенном человеке» — «даме в трауре».

<sup>4</sup> Смысл рассказа «дамы в трауре» верно истолкован в книге Гр. Тамарченко «Романы Н. Г. Чернышевского» (Саратов, 1954, стр. 111—114). Здесь следует лишь отбросить неправильное отождествление «дамы в трауре» с молодой вдовой, полюбившей Рахметова, и «человека лет тридцати» с Рахметовым. (см. статью Б. Я. Бухштаба «К вопросу о сюжете романа Чернышевского «Что делать?» — Известия АН СССР, отд. литературы и языка, т. XV, вып. 5, 1956).

ращал внимание еще Н. В. Шелгунов<sup>1</sup>. Во второй части своей статьи «Русские идеалы, герои и типы» он писал о Рахметове: «...и гвозди, и говядина, и ляжка, и странствования пешком — все это несущественные черты. Не забудьте, что Рахметов помещик и богатый помещик. Следовательно, те лишения, которые он испытывает, и испытания, которым себя подвергает, возможны потому, что он богат... Откинув эти специальные черты в образе Рахметова, обусловленные его социальным и экономическим положением, мы хотим отыскать в нем черты общие, доступные всем».

Будущий негибимый революционер провел детские и отроческие годы в крепостнической усадьбе с деспотом-отцом и страдающей матерью; он знал жизнь крепостного народа: «... видел он, что в деревне» (XI, 201). Отсюда его стремление приобщиться к жизни народа: «Того, что никогда не доступно простым людям, и я не должен есть! Это нужно мне для того, чтобы хоть несколько чувствовать, сколько стеснена их жизнь сравнительно с моею» (XI, 202). Так в значительной мере преодолевая антропологизм, автор «Что делать?» вскрыл социально-историческую обусловленность некоторых проявлений «рахметовщины».

В романах же демократической литературы «переходного времени» отсутствует социально-историческая мотивировка аскетизма героя-революционера и сама эта черта возведена в норму поведения и, безусловно, дана как пример для подражания.

И, наконец, насколько чужд был Чернышевский стремлению утверждать революционера в качестве титана-аскета, говорит его «Заметка для А. Н. Пыпина и Н. А. Некрасова». Объясняя в ней замысел второй части романа, Чернышевский писал о свадьбе Рахметова и о том, что «общая идея второй части: показать связь обыкновенной жизни с чертами, которые ослепляют эффектом неопытный взгляд... и Рахметов и дама в трауре на первый взгляд являются очень титаническими существами; а потому будут выступать и брать верх простые человеческие черты, и в результате они оба окажутся даже людьми мирного свойства и будут откровенно улыбаться над своими экзальтациями» (XIV, 480).

Замысел показать революционера таким, чтобы в нем выступали и брали верх «простые человеческие черты» Чернышевский осуществил в своем сибирском романе «Пролог». Не случайно, создавая образы революционеров в новых условиях общественной борьбы, Чернышевский отказался от понятий «особенный человек», «высшая натура» и в образах Волгина, Левицкого и Соколовского выделил простые челове-

---

<sup>1</sup> Шестидесятые годы. АН СССР. 1940, стр. 183.

ские черты, а все «особенное» поставил в тесную связь с «обыкновенной жизнью».

Содержание центральных образов «Пролога» исключает долг как морально-этический императив и фанатическую жертвенность. В Волгине и Левицком нет и намека на аскетическое отречение от радостей жизни. В «Прологе», в противоположность рахметовскому «я не должен любить», раскрывается тема семейного счастья революционера Волгина («Пролог пролога») и тема любовных увлечений Левицкого («Из дневника Левицкого за 1857 г.»).

На первых же страницах романа Волгин предстает как человек глубоких личных привязанностей и неуывающих чувств: он обожает свою красавицу-жену и ведет себя после трех лет женитьбы «смешнее всякого жениха». На Левицкого неотразимо действует женское очарование, он постоянно влюбляется по-юношески искренне и самозабвенно. Но даже в увлечениях, по преимуществу чувственных (Анюта, Настенька), у него над стремлением к наслаждению преобладает желание изжить от страданий униженную женщину и возбудить в ней потерянное чувство человеческого достоинства. Все отношения Левицкого с женщинами чисты, здоровы в своей основе. Под внешним бесстрастным спокойствием у него скрыта глубоко эмоциональная натура, острота и напряженность переживаний. Он переполнен чувствами. В его увлечениях обнаруживается не только страстная натура, но чуткая душа и сердце, открытое всему доброму и прекрасному. «Человек с сильными страстями, с жаждой жизни», Левицкий беспредельно отзывчив к чужому страданию. По словам умной и проницательной Мери, он «такой хороший юноша и добрый друг». И та же Мери с «грустной шутливостью» говорит: «Юноша, это невозможно, так нельзя жить на свете» (XIII, 316). Даже легкомысленная и беспечная «куколка» Настенька после попыток Левицкого увести ее с пути корыстного разврата, на который ее толкнули Дедюхины, с искренним сожалением сказала ему: «Душенька, если вы будете думать так смешно, вы будете самый несчастный человек» (XIII, 299). Образами Волгина и Левицкого Чернышевский вносил дополнительные коррективы к роману «Что делать?». Оказывалось, что, и не отказываясь от личного счастья, от любви к женщине, можно оставаться не менее убежденным революционером и преданным народу человеком, чем Рахметов.

Революционеры «Пролога» предпочитают говорить «следовало», вместо «нужно», «надобно». В своих рассуждениях, советах другим они как бы преднамеренно избегают слов «должен», «обязан». Объясняя свое нежелание быть коротко знакомым с Соколовским, когда тот находится в либеральном «одурении», Волгин говорит: «Так следовало». Уговари-

вая Левицкого приберечь себя для «серьезного времени», он тоже начинает со слов: «Так следует — значит так и надобно» (XIII, 145, 240). Поступать как «следует» — значит поступать не по долгу и обязанности, а выбирать наиболее разумный путь действий, возможный при данных сложившихся обстоятельствах. Характерная черта Волгина как воспитателя революционеров состоит в том, что он убеждает, опираясь на реальные факты общественной жизни, которые подтверждают его суждения и выводы, учит умению анализировать явления жизни, чтобы, исходя из этого анализа, поступать наиболее целесообразно. Таков он в отношении к Левицкому и Соколовскому.

Всеми своими действиями, поступками революционеры «Пролога» как бы говорят: «Нам не нужно никакого долга. Мы сами сделаны так, что поступаем всегда, или почти всегда, умно и общественно, повинуюсь голосу правильно понятого собственного интереса»<sup>1</sup>.

Нравственный пафос «Пролога» глубоко человечен в своем существе — это «эмансипация чувств» и всех свойств личности борца за народ как необходимое условие его человеческой полноценности, в противоположность скованности чувств революционера в демократической литературе того времени. Волгин и Левицкий — это борцы, прекрасно сознающие трагичность своего положения, но не утратившие светлого мироощущения и мировосприятия. Яркая и полная жизнь, которую ведут положительные герои романа, насыщенность и острота их чувств и переживаний, общий светлый колорит романа — все это делает «Пролог», написанный на каторге, в годы реакции, произведением таким же жизнеутверждающим, как и «Что делать?», роман периода революционной ситуации. Нравственный идеал Чернышевского обусловлен временем, но не замыкается в нем и обращен к будущему<sup>2</sup>.

Образы борцов в демократической литературе, о которой

---

<sup>1</sup> А. В. Луначарский. Статьи о Чернышевском, М., 1958, стр. 99.

<sup>2</sup> В 1906 году А. В. Луначарский, оговариваясь, что в данном случае «стоит целиком на точке зрения большевиков», писал: «Человек должного («то—нельзя, а это можно») — это мешанин, он человек обычаев, приличия, угрызенный совестью и прочим этических прелестей, ... Сознательный пролетарий — человек безусловной свободы, для него нет ничего должного. Если он поступает определенным образом, то не потому, что он *должен* так поступать, а потому, что он *хочет* так поступать, потому что находит это целесообразным». (Цит. по кн. А. Лебедева «Герои Чернышевского», стр. 282). Несомненно, что такое представление о нравственном облике «сознательного пролетария» навеяно теорией разумного эгоизма Чернышевского. Современный исследователь увидел в образе Левицкого «новый шаг» Чернышевского к этическому и эстетическому идеалу грядущего «завтра человечества». (А. А. Лебедев. «Эмансипация чувств». — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, Саратов, 1961, вып. 2, стр. 122, 138).

у нас идет речь, — это герои идеально должного<sup>1</sup>. Такие герои не удовлетворяли современников. Салтыков-Щедрин отмечал в 1868 году в статье «Напрасные опасения», что писатели, сделавшие попытки уяснить новый тип, показали героев, которые «не поступают, а только толкуют о том, как поступать должно, и этим справедливо навлекают на себя упрек в безжизненности и невыносимости»<sup>2</sup>. По определению В. Г. Короленко, герои Мордовцева выходили не живыми людьми, а «деревяшками»; «Светлов Оммулевского с его отвлеченной удачливостью тоже порой напоминал хорошо вычищенный таз... Вообще это были не лица, как у Тургенева, Писемского, Гончарова, а личности, с прибавлением ходячего эпитета «светлые личности»<sup>3</sup>.

Чернышевский изобразил в «Прологе» революционеров такими, какими он сам их знал, видел и наблюдал в Добролюбове и других замечательных шестидесятниках. Вместо «величаво-мглистых очертаний героев-великанов»<sup>4</sup>, заполнивших демократическую литературу времени формирования новых народнических течений, он в эти же годы дал образы революционеров, замечательных по уму, способностям и деяниям, но простых и естественно человеческих во всех своих проявлениях. Каждого из революционеров «Пролога» отличает то неповторимое своеобразие, которое присуще живому человеку в реальной жизни, которое более всего складывается из «простых человеческих черт»; в каждом из них уловлены и переданы те качества, которые оттеняют это своеобразие и делают образ живым и неповторимым.

<sup>1</sup> В. Г. Короленко писал Н. К. Михайловскому в 1888 году: «Тогда мы все жаждали «героев», и гг. Оммулевские и Засодимские нам этих героев доставляли». (В. Короленко. О литературе. Госполитиздат, М., 1957, стр. 465).

<sup>2</sup> «Отечественные записки», 1868, № 10, стр. 187.

<sup>3</sup> В. Г. Короленко. Собр. соч., т. 5, М., 1954, стр. 318.

<sup>4</sup> Там же, стр. 315.

В. Б. СМЕРНОВ

## Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНОЕ НАРОДНИЧЕСТВО

### 1

«Народничество очень старо. Его родоначальниками считают Герцена и Чернышевского»<sup>1</sup>. Пожалуй, самым значительным достижением прошедших недавно дискуссий было уяснение методологической продуктивности этой ленинской мысли. Она дала возможность представить народничество в сложных идеологических взаимосвязях, снять с одного из крупнейших общественных течений России криминал реакционности и всевозможных отступлений от заветов революционной демократии. Работы, опубликованные в конце 50-х и в 60-е годы в исторических журналах, дискуссия в журнале «Вопросы литературы» помогли устранить те искусственные барьеры, которыми сугубо народническая идеология отделялась от наследия Герцена и Чернышевского, Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Монографические исследования последнего времени подкрепили конкретным материалом мысль о связи народнической идеологии и революционных кружков с идеями Чернышевского. «Когда мы отмечаем влияние идеологии Чернышевского и Добролюбова на народников начала 70-х годов,—справедливо пишет Б. С. Итенберг,—то вовсе не хотим этим сказать, что у революционеров 60-х и 70-х годов были одни и те же воззрения. В их идеологии было много общего, но было и много различий. Нам важно подчеркнуть, что революционный демократизм эпохи первой революционной ситуации, пробившись сквозь реакцию второй половины 60-х годов, послужил основой для взглядов народников первой половины 70-х годов»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 22, стр. 304.

<sup>2</sup> Б. С. Итенберг. Движение революционного народничества. М., «Наука», 1965, стр. 75.



Логично предположить, что, если речь идет о преемственности и специфически народнической трансформации идейного наследия революционной демократии, то, видимо, следует говорить и о тесной связи эстетических и литературно-художественных взглядов народников с литературно-эстетической программой Чернышевского, Добролюбова или Герцена. С одной стороны, к этому подталкивает установленная общность философских и социально-политических убеждений Чернышевского и народников 70—80-х годов, убеждений, теснейшим образом связанных с эстетическими воззрениями. С другой стороны, тот толчок, который дали развитию критического реализма второй половины XIX века теоретические работы и беллетристические произведения Чернышевского, несомненно, не мог не сказаться и на писателях-народниках. Как сказался—этот вопрос, к сожалению, не получил сколь-нибудь удовлетворительного освещения ни в многочисленных работах по Чернышевскому, ни в крайне ограниченном круге исследований, посвященных литературному народничеству.

Вопрос о воздействии эстетического учения Чернышевского на народническую литературу (имеется в виду—художественную) и по сей день решается в самых общих фразах. Это или декларативные утверждения (сами по себе справедливые, но требующие конкретно-исторических уточнений) о том, что работы Чернышевского «по эстетике и литературно-критические статьи являлись практической программой для русской литературы *на протяжении всего XIX в.*»<sup>1</sup> (курсив мой—В. С.). Или тезисы о народничестве как разновидности революционно-демократического течения критического реализма<sup>2</sup>, также нуждающиеся в конкретном исследовании специфики освоения революционно-демократической эстетики народнической эстетической мыслью и беллетристикой.

Подобная работа тем более важна и необходима, что анализ отдельных народнических изданий, таких, как газета «Неделя», приводил и авторитетных исследователей к заявлениям о «кризисе реалистического направления в 70-е годы»<sup>3</sup>. Более того, исследователь творчества Глеба Успенского Н. И. Пруцков, задавшись целью оторвать этого талантливо-го писателя-народника от идеологически родственной ему сре-

---

<sup>1</sup> Б. Бурсов. Чернышевский как литературный критик. М.—Л., АН СССР, 1951, стр. 86. «Боевой программой русской реалистической литературы и искусства» называет эстетическое учение Чернышевского А. Караганов. См. его работу «Чернышевский и Добролюбов о реализме», М., «Сов. писатель», 1955, стр. 4.

<sup>2</sup> У. Фохт. Основные этапы развития реализма в русской литературе.—В кн.: Пути русского реализма. М., «Сов. писатель», 1963.

<sup>3</sup> См. Б. П. Козьмин. К вопросу о кризисе реалистического направления в 70-е годы.—В кн.: От «девятнадцатого февраля» к «первому марта». М., Изд. Политкаторжан, 1933.

ды и приблизить к революционерам-демократам, высказывает мысль о сознательной ревизии народниками эстетического учения Чернышевского. По мнению Н. И. Пруцкова, Глеб Успенский «в отличие от народников» «крепко» держался тезиса: «литература призвана давать правдивое изображение жизни народа, объяснять действительность и выносить ей приговор»<sup>1</sup>. Нацеленный на эстетическую «ревизию», исследователь приходит к выводу о том, что народники отрицали даже познавательную роль искусства<sup>2</sup>.

Трудно сказать, кого из народников имел в виду Н. И. Пруцков, поскольку сопоставительный анализ литературно-эстетических воззрений Чернышевского и народников 70—80-х годов (речь идет о ранней, революционно-народнической идеологии) убеждает в общности — при всем творческом своеобразии — их эстетических принципов. Это, разумеется, не означает тождественности эстетических взглядов Лаврова и Скабичевского, Михайловского и Ткачева, Шелгунова и Протопопова. Фигуры, разные и по таланту, и порою по классово-политическим симпатиям, менее всего могут считаться эстетическими «близнецами». В разной мере оказали они воздействие и на народническую беллетристику. Но важно оттенить мысль о том, что лучшие представители народнической критики и беллетристики (термин этот выступает как синоним художественной литературы) выступили талантливыми пропагандистами — и в художественном, и в теоретическом планах — эстетического учения Чернышевского. Девизом литературного народничества стало тенденциозное, глубоко современное искусство, самыми тесными узами связанное с действительностью, воспроизводящее и объясняющее ее, вершащее нравственный суд над изображаемым.

## 2

Общеполитические основы эстетики Чернышевского, его стремление привести эстетику в соответствие «с новыми воззрениями науки на природу и человеческую жизнь», то есть согласовать с антропологическим принципом в философии, были близки и тем мыслителям, которые считаются основоположниками сугубо народнического учения. Почти одновременно с Чернышевским эти вопросы начал разрабатывать П. Л. Лавров, считавший искусство, творчество важной составной частью антропологической философии. В известной статье «Что такое антропология?» (1860) Лавров материалистически решает вопрос о диалектике бытия и мышления, хотя и просветительно преувеличивает общественно значимую

<sup>1</sup> Н. Пруцков. Глеб Успенский 70-х—начала 80-х годов. Изд. Харьковского ун-та, 1955, стр. 62.

<sup>2</sup> Там же, стр. 61.

роль духовного начала. В работе «Задачи позитивизма и их решение» (1868), созданной в период интенсивного идеологического становления народничества, философ вновь заявляет, что «ощущения, воспринимаемые от внешнего мира, дают в сознании начало психическим процессам образования представлений и понятий. Представления и понятия становятся единственными орудиями познания реального мира человеком»<sup>1</sup>. А если вспомнить о том, что представления как форма познания связываются Лавровым в первую очередь с искусством, станет очевидной мысль о том, что искусство есть воспроизведение действительности. Уже одно это должно снимать с Лаврова упреки — если они адресовались и ему — в отрицании познавательной роли литературы и искусства. Хотя нельзя отрицать и некоторых элементов агностицизма, свойственных Лаврову.

В целом ряде других статей, в частности в знаменитых «Исторических письмах», ставших евангелием народничества, Лавров оттенил свои основные гносеологические тезисы, подчеркнул классовую сущность явлений искусства, дав этим самым толчок для литературно-художественных исканий писателей-разночинцев 70-х годов. И, видимо, не случайно в статье «Антропологический принцип в философии», посвященной выходу «Очерков вопросов практической философии» (1860) Лаврова, Чернышевский подчеркнул, что его собственные «понятия о тех же предметах... в сущности сходны с образом мыслей г. Лаврова; разница будет почти только в изложении и в приемах постановки вопроса»<sup>2</sup>.

В отношении преемственности эстетических идей Чернышевского показательны и работы идеолога литературного народничества Н. К. Михайловского, несмотря на то, что — по справедливому замечанию Г. А. Бялого — для него «характерна та специфическая прибавка народничества к наследству революционных просветителей, о которой говорил В. И. Ленин в работе «От какого наследства мы отказываемся?»<sup>3</sup>. Ленинские слова о том, что «в философии Михайловский сделал шаг назад от Чернышевского»<sup>4</sup>, общеизвестны. Однако они не дают повода только к негативным сопоставлениям Михайловского и Чернышевского. В противоречивом и эклектичном мировоззрении Михайловского были и слабые, и сильные сторо-

<sup>1</sup> П. Л. Лавров. Философия и социология. Избранные произведения в 2-х т., т. I, М., «Мысль», 1965, стр. 623.

<sup>2</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. VII, М., Гослитиздат, 1950, стр. 240. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

<sup>3</sup> Г. А. Бялый. Н. К. Михайловский. — литературный критик. Вступ. статья к кн.: Н. К. Михайловский. Литературно-критические статьи. М., Гослитиздат, 1957.

<sup>4</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 24, стр. 335.

пы. Это характерно и для эстетических воззрений идеолога народничества. Но исторически ценно то обстоятельство, что в сложной литературно-общественной борьбе конца 60-х—начала 70-х годов, периода формирования литературного народничества, Михайловский выступил талантливым пропагандистом эстетических принципов революционной демократии.

Элементы позитивистского агностицизма свойственны Михайловскому, как и Лаврову, но общефилософские вопросы эстетики решаются им материалистически. Это убедительно доказывает, например, программная статья «Что такое прогресс?» (1869), рассматриваемая обычно как кредо Михайловского, социолога-идеалиста.

Михайловский материалистически решал основной вопрос эстетики — об отношении искусства к действительности. Он говорил — в полном соответствии с учением Чернышевского — о социально-историческом содержании понятия красоты, слагающемся «путем комбинирования тех приятных ощущений, которые получает на своем веку и на своем месте каждая индивидуальная и социальная единица»<sup>1</sup>. Каждый класс или сословие составляют вполне определенное мнение, например, о красоте человеческого тела. «Если данная социальная группа в течение нескольких поколений испытывала наслаждение власти, она необходимо внесет соответственный элемент в свой идеал красоты: величественную поступь, повелительные жесты и взгляды, гордый поворот головы»<sup>2</sup>. А так как понятие о красоте развивается в процессе общественной дифференциации, то ни один из элементов этой «величественной» красоты не мог войти в идеал русского мужика.

Очень примечательно, что Михайловский все время имеет в виду диссертацию Чернышевского и оперирует теми же примерами, что и основоположник революционно-демократической эстетики. Рассматривая специфические признаки светской красавицы, Н. Г. Чернышевский подчеркивает, что они являются «необходимым следствием (...) такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества, жизни без физической работы» (II, 10). Светская красавица «тоненькая, худенькая и полувоздушная», с маленькими ушками, ручками и ножками, с томным видом и «разного рода нервическими расстройствами». Аналогичный портрет светской красавицы дает и Михайловский: «Рутинный тип идеальной красоты высших слоев европейского общества известен: бледное или с слабым румянцем лицо, прямой нос, мало развитые скулы, тонкие кости, маленькие руки и ноги, томные

<sup>1</sup> Н. К. Михайловский. Сочинения. СПб. «Русское богатство», 1896, т. 1, стр. 122.

<sup>2</sup> Там же.

или страстные, вообще выразительные глаза и т. д. (...). Все это существенные признаки такой общественной единицы, которая в течение нескольких веков воспитывала в себе интеллектуальную сторону насчет физической, или—что то же—жила насчет труда других общественных единиц»<sup>1</sup>.

Вместе со всей революционно-демократической эстетикой Н. К. Михайловский ратовал за злободневное, насыщенное современностью искусство, объясняющее действительность, вершащее над изображаемым нравственный суд.

Литературно-критическая деятельность других крупнейших представителей народнической мысли — Н. В. Шелгунова и П. Н. Ткачева — оказала меньшее влияние на творчество беллетристов-народников, объединившихся в 70-е годы во круг «Отечественных записок». Тем не менее их выступления интересны как еще одно свидетельство преемственности эстетических идей Чернышевского. По наблюдениям Н. Ф. Бельчикова, Шелгунов «разделяет фейербахианский взгляд основоположника реальной критики, что, «конечно, не литература создает жизнь, а жизнь литературу»<sup>2</sup>. В своих статьях он не раз «развивает основные положения теории реализма, близкие идеям Чернышевского...»<sup>3</sup>

С еще большим радикализмом и плебейски-разночинским пафосом пропагандирует идеи Чернышевского П. Ткачев<sup>4</sup>.

### 3

Однако наряду с этим для народнической эстетики не осталось бесследным влияние субъективной социологии и общинного идеала народничества. Абсолютизируя отдельные, частные моменты общинного учения Чернышевского и эстетически переплавив их, народническая литература обосновала свой эстетический и этический идеал, который явился отражением настроений патриархальной и полупатриархальной части русского крестьянства. Идеал этот, сближаясь с революционно-демократическим своей социальной направленностью, своей общедемократической устремленностью, был менее социалистичен и более утопичен, нежели этический и эстетический идеал Чернышевского. Своеобразие же эстетического идеала писателей-народников обусловило — при общности основных принципов эстетики — существенные отличия на-

<sup>1</sup> Н. К. Михайловский. Сочинения, т. 1, стр. 122.

<sup>2</sup> Н. Бельчиков. Народничество в литературе и критике. М., «Советская литература», 1934, стр. 114.

<sup>3</sup> Там же, стр. 115.

<sup>4</sup> См.: Б. А. Трубецкой. Эстетические взгляды П. Н. Ткачева. (Из истории публицистики и литературной критики 70-х годов XIX в.).—Ученые записки Кишиневского ун-та, 1959, т. 37; Н. И. Соколов. Революционно-демократические традиции в критике 1870-х годов. Проблемы реализма. Северо-Западное кн. изд-во, 1966; В. М. Сенкевич. П. Н. Ткачев об идеологии литературы. Вопросы русской и зарубежной литературы. Хабаровск, 1966.



роднической беллетристики от революционно-демократической.

Г. А. Бялый верно отмечает, что тот идеал, пропагандистом которого выступает Михайловский, «идеал гармонического, целостного, естественного человека восходит к великим западноевропейским утопистам и, конечно, к Чернышевскому»<sup>1</sup>. Но революционно-демократический идеал Чернышевского, ратующего за всестороннее, и физическое, и умственное, гармоническое развитие человека, лишен той мужицкой, той крестьянской исключительности, апофеозом которой станет народническая литература. Справедливости ради следует сказать, что и среди народнических идеологов не было сугубого единства по вопросу о путях и способах развития гармонической личности. Лавров стоит ближе к Чернышевскому, нежели Михайловский. Его идеал лишен крестьянски-кастовой замкнутости, а симпатии к общине, как у Чернышевского, отличаются большей историчностью, нежели у Михайловского и народничества 70—80-х годов.

Лаврову, как и Чернышевскому, чуждо представление, что идеал высоко нравственной личности, «уважающей одинаково достоинство всякого ближнего, как свое собственное»<sup>2</sup>, — есть удел лишь общинного крестьянства, мирской традиции. Он — опять-таки, как и Чернышевский, — сочувствует преимущественно социальным формам общинной жизни, которые «представляют менее препятствий к переходу к коллективному землевладению, чем в других странах»<sup>3</sup>, не акцентируя внимания на том, что подобные формы общежития обуславливают и совершенно своеобразные этические представления. К выводу о сугубой нравственности крестьянской жизни можно прийти, только логизируя лавровскую этику. Лавров не склонен и к идеализации нравственной многосодержательности патриархального быта, идеализации, которая, эстетически трансформируясь, войдет в плоть народнической литературы.

Народничество же 70-х годов, в том числе и Михайловский как его идеолог, отстаивая тот идеал личности, который сформулирован Чернышевским и одновременно с ним Лавровым, приходит к выводу, что его существование возможно лишь в народной (в первую очередь в крестьянской) массе или в непосредственном соприкосновении с нею. Этическая преемственность, ставшая основой эстетической близости народничества и революционного демократизма, — в пропаганде трудовых основ морали. Однако народни-

<sup>1</sup> См. вступит. статью к кн.: Н. К. Михайловский. Литературно-критические статьи. М., Гослитиздат, 1957, стр. 12.

<sup>2</sup> П. Л. Лавров. Философия и социология. Изданные произведения в 2-х т., т. 1, стр. 456.

<sup>3</sup> Там же, т. 2, стр. 487.



ки 70—80-х годов приходят к апологии крестьянского, земледельческого труда, обладающего якобы специфически этическими свойствами. Считая себя последовательными преемниками этического и эстетического наследия Чернышевского, народники отталкиваются от его частных замечаний о том, что общинный труд и порядок не дают возможности одному Ивану выступать капиталистом по отношению к другому, что они способны «взаимному доброжелательству» крестьян (VII, 50). Особую популярность в народнической литературе приобретают суждения Чернышевского об особой нравственной настроенности земледельцев, ведущих патриархальный образ жизни. Патриархальная масса, по заключению Чернышевского, обладает и духовным, и материальным равенством, необходимым для прогресса личности. «Вся масса народа составляет однообразное целое, в котором каждый отдельный член совершенно подобен другим. При всеобщности чувства собственного достоинства, патриархальное общество вообще проникнуто какою-то нравственной возвышенностью...» (II, 296). «...Каждый привык жить умственно и нравственно, — продолжает Чернышевский, — привык иметь какую-то возвышенную, благородную настроенность духа» (II, 296). Философия прогресса Михайловского, оказавшая существенное влияние на эстетический идеал народнической литературы, естественно, могла найти в этих размышлениях Чернышевского некоторое подкрепление себе.

Михайловский неоднократно подчеркивал, что личность, отвечающая его формуле прогресса (прогресс в разносторонней целостности неделимых), с особенной интенсивностью развивается в первобытнообщинном обществе, в общинных формах жизни. В этом случае — вся масса однородна, а каждый — разнороден. Перекликаясь с Чернышевским и, видимо, сознательно текстуально сближаясь с ним, Михайловский подчеркивал, что в «однородной массе первобытного общества неделимые были вполне разнородны, насколько это допускалось условиями места и времени»<sup>1</sup>. «Дикарь живет во время работы всем существом своим». Эта многосодержательность труда первобытного человека — физическая, психическая, нравственная — особенно привлекала Михайловского и целиком разделялась беллетристами-народниками. Так, оттолкнувшись от Чернышевского, народники приходят к абсолютизации земледельческого труда, создавая уже собственную философию личности, свой эстетический идеал.

Если говорить о зависимости писателей-народников от субъективной социологии народничества, то она со всей очевидностью проявилась в том идеале, который Михайловский называл «правдой-справедливостью». Ему симпатизировал

<sup>1</sup> Н. К. Михайловский. Сочинения, т. I, стр. 34.

Глеб Успенский. Им восхищался Златовратский. На него ориентировался Энгельгардт. Скептический Каронин тоже изображал жизнь с оглядкой на него. Беллетристы-народники эстетически транспонировали тот идеал, который социологически и этически, взяв за основу частные и слабые стороны общинного учения Чернышевского, обосновал Михайловский, идеал патриархального типа с его разносторонней физической развитостью и нравственной содержательностью. Он-то и должен был воплощать в себе социальный и нравственный потенциал общества, развивающегося по формуле прогресса Михайловского. Но субъективный идеал народнической беллетристики противоречил логике объективно-исторического развития действительности, мешая художественному освоению мира. Именно здесь народническая эстетика и сделала шаг назад от эстетических принципов Чернышевского. Однако и в этом случае было бы неверно говорить о кризисе реализма в народнической литературе, поскольку, несмотря на свое народническое вероисповедание, и Глеб Успенский, и Златовратский, и Каронин, и другие беллетристы-народники воспроизводили правду жизни во всей ее нагоде и истинности.

#### 4

С литературно-художественной программой Чернышевского тесно связана и основная проблематика литературного народничества. Несмотря на своеобразие, обусловленное спецификой эстетического идеала, изображение народа в народнической беллетристике обнаруживает несомненную ориентацию на те принципы, которые были прокламированы революционно-демократической критикой («Повести и рассказы С. Т. Славутинского» и «Черты для характеристики русского простонародья» Н. А. Добролюбова; «Не начало ли перемены?» Н. Г. Чернышевского; «Напрасные опасения» М. Е. Салтыкова-Щедрина). Это и преимущественный интерес к целой крестьянской среде, и социологическое исследование основ народной жизни, вызванное стремлением найти пути облегчения тяжелой участи русского крестьянства. Чернышевский стремился придать литературе из народного быта исследовательский, а не описательно-этнографический характер. И его голос был учтен народнической литературой. В конце пореформенного десятилетия в демократической журналистике, так или иначе связанной с народничеством, все чаще раздается настойчивое требование изучать народную жизнь — и в первую очередь крестьянскую — во всем многообразии ее проявлений, вскрывать ее «интимные связи» (Щедрин), не ограничиваясь чисто художественным отображением действительности. «Нашему времени совершенно не нужны беллетристы, — писал Шелгунов. — Нам нужны пи-

сатели, способные понять и объяснить наш социальный быт и указать средства, которыми Россия может быть поставлена в возможно выгодное экономическое и интеллектуальное положение. Эту задачу понимали именно так литературные деятели первого периода настоящей эпохи преобразований. Деятелей этих уже нет, они сошли со сцены»<sup>1</sup>. Действительно, «деятели», на которых намекал Шелгунов, неоднократно делали упрек литературе и литераторам в «недостатке сознания о том, что нужно народу, что полезно и что вредно для него» (X, 517). Рецензируя «Очерки из крестьянского быта» А. Ф. Писемского (Спб., 1856), Н. Г. Чернышевский считал недостатком писателя, что, взявшись за изображение жизни крестьян, он «не принес с собой рациональной теории о том, каким бы образом должна была устроиться жизнь людей в этой сфере» (IV, 571).

Продолжая традиции деятелей, «сошедших со сцены», Салтыков-Щедрин в «Письмах о провинции» тоже видит единственную цель сближения с народом в «изучении народных нужд и представлений». «...Чтобы понять, что именно нужно народу, чего ему недостает, необходимо поставить себя на его точку зрения...»<sup>2</sup>. Так Салтыков-Щедрин намечает пути, которыми должна идти литература, стремящаяся стать выразительницей общественного мнения, закладывает основы изучения народной жизни.

«Положение современной русской литературы», — писал он в статье «Напрасные опасения» («Отечественные записки», 1868, № 10), — можно сравнить с положением исследователя, которому предстоит уяснить совершенно новый вопрос»<sup>3</sup>. Это вопрос об отношении к крестьянской среде, разбуженной к мало-мальски сознательной жизни прошедшими реформами. Салтыков-Щедрин видит задачу литературы в исследовании «внутренней сущности» простолюдина, его «жизненных целей» и воссоздании крестьянской среды не в исключительной обстановке, как это было у дворянских писателей, а в обстановке его повседневной жизни: в создании «положительного типа русского простолюдина»<sup>4</sup>. Именно по этому пути и пошли будущие народнические литераторы, создавая специфическое для этого литературного течения «искусство на социологической подкладке» (Златовратский).

Суждения Чернышевского о творчестве писателей, обратившихся к изображению народной жизни, помогли беллетристам-народникам выбрать верный угол зрения как на су-

<sup>1</sup> Н. Шелгунов. Русский индивидуализм. — «Дело», 1868, № 7, стр. 4.

<sup>2</sup> Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч. в. 20-ти т., т. 7. М., ГИХЛ, 1937, стр. 264.

<sup>3</sup> Там же, т. 8, стр. 57.

<sup>4</sup> Там же, стр. 68.

шество происходящих в России процессов, так и на социально-психологическую сущность крестьянства. Лозунг Чернышевского — «правда жизни без всяких прикрас» — определил тональность народнической литературы при воспроизведении народной среды. Статья «Не начало ли перемены?» ориентировала демократическую литературу на трезвый, лишенный какой-либо слащавой умиленности («не нагибаться» и «не кокетничая», как говорил Салтыков-Щедрин) разговор с мужиком, на необходимость критического изображения народных недостатков во имя пробуждения политической активности масс. Революционно-демократический гуманизм в отношениях к народу не имел ничего общего с апологетикой консервативных сторон народного быта и мышления, с преклонением перед идиотизмом деревенской жизни. Такое отношение к изображению жизни народа в равной мере было характерно и для верных хранителей «наследства» Салтыкова-Щедрина и Некрасова, и для народнической критики, будь то Ткачев или Михайловский, Шелгунов или Скабичевский. И не случайно, охранительная журналистика, претендующая на исключительную монополию в «подлинной» любви к народу, ополчилась против самого тона, в котором беллетристы-народники обращались к мужику. «Новую литературу,—писал Авсеенко,— как бы раздражает неподвижность этой народной среды, ее способность мириться с условиями своего быта, отсутствие в ней протестующих элементов»<sup>1</sup>.

Правда, в художественном воспроизведении крестьянской жизни среди писателей-народников определились две тенденции, родственные по своим идейным задачам и целям и обусловленные, пожалуй, факторами субъективно-психологического свойства. Точнее даже говорить не о тенденциях, а об особых стиливых оттенках, отражающих индивидуальность творческих манер, которые, разумеется, не исключены в том или ином литературном течении. Эта стиливая сложность литературного народничества объясняется тем, что оно выступило преемником не только революционно-демократических традиций в изображении народа, но и прогрессивной дворянской литературы 40—50-х годов (Григорович, И. С. Тургенев), тематически родственной народнической беллетристике.

Критическое отношение к народу («народофобия», как писали в 80-х годах особо рьяные поклонники «шоколадного мужика»), присущее в особенности очеркам Г. Успенского или Каронина, было наиболее последовательным продолжением традиций шестидесятников, творческим воплощением в жизнь тех требований, которые предъявлял литературе из

---

<sup>1</sup> А. <В. Г. Авсеенко>, Народность в новой литературе.— «Русский вестник», 1873, № 9, стр. 379.

народного быта Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?». Глеба Успенского, Каронина, отчасти Наумова интересуют, главным образом, моменты аномальностей в социально-бытовой и нравственной жизни крестьянства, хотя они и не подвергают сомнению свой идеал. Ведь Успенский «был и остался народником, — указывала ленинская «Искра», — в том смысле, что для него не было типа человека лучше, желаннее крестьянина, живущего при натуральном хозяйстве»<sup>1</sup>.

Наиболее отчетливое воплощение вторая тенденция — положительная, давшая повод говорить об идеализации мужика в народнической литературе — получила в творчестве Златовратского (в особенности в «Устоях») и отчасти Эртеля, традиции дворянской литературы в творчестве которого очень сильны. По давнему, но не потерявшему справедливости замечанию Арс. Введенского, Златовратский «изображает народ с тех же точек зрения, как и лучшие писатели еще сороковых годов, наблюдавшие народ и народную жизнь с тем чувством возмущенной справедливости, которое вызывалось положением народа»<sup>2</sup>. Это не значит, что Златовратский, движимый народническим гуманизмом, пытается воссоздать иллюзорное, идеализированное представление о крестьянской жизни. Писатель, как и другие беллетристы-народники, не избегает мрачных картин, противоречащих его идеалу. Но для творческой манеры Златовратского характерен отбор такого жизненного материала, в котором идеал проявляется наиболее ярко, отчетливо.

Златовратский тоже сознает, что «в громадном... большинстве случаев современная русская мужицкая община представляет... однобокую организацию, не гармоническую, в которой совмещаются вещи несовместимые, наивысочайшие формы общественных отношений с формами дикого, антинародного свойства»<sup>3</sup>. Но сам писатель обращается преимущественно к воспроизведению одной стороны крестьянской жизни — «наивысочайших форм общественных отношений». Эта область жизни деревни — в отвлечении от современного социально-нравственного облика — изучалась и народнической публицистикой. Не случайно поэтому произведения Златовратского зачастую совпадали с выводами публицистов, в то время как очерки Успенского опровергли их. И по мнению Златовратского, современная община далека от общинного идеала. «Силы внешних влияний на народную жизнь были гро-

<sup>1</sup> Г. И. Успенский в русской критике. М.—Л., Гослитиздат, 1961, стр. 55.

<sup>2</sup> Арс. И. Введенский. Литературные характеристики. СПб., 1903, стр. 339.

<sup>3</sup> Н. Н. Златовратский. Полн. собр. соч., в 8-ми т., т. 8, СПб., 1913, стр. 336.



мадны». «Великие зачатки общественных идеалов»<sup>1</sup> сохранились теперь лишь в народных глубинах. Но «как ни глубоко затерялись эти перлы под игом всевозможных внешних исторических воздействий, как ни трудно, по-видимому, открыть их теперь, но, при мало-мальски честном и добровольном наблюдении народного быта, их присутствие чувствуется всюду; они, как золотой песок, рассыпаны по жилам народного организма»<sup>2</sup>. Задачу литературы Златовратский и видит в том, чтобы «уметь открыть эти золотоносные жилы, уметь выделить чистые, драгоценные перлы из подмесей»<sup>3</sup>. Этот вывод и становится центральным пунктом литературного кредо Златовратского.

Естественно, что для Златовратского наиболее привлекательной фигурой становится «общинный тип», тип крестьянина, воплощающего в себе социально-нравственный общинный идеал, мирской праведник, «деревенский Авраам». Писателя постоянно интересует внутренняя неприкосновенность его земледельческого идеала, несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства. Но в том, что эти внешние обстоятельства рисуются Златовратским «без всяких прикрас», и сказалась верность беллетристов-народников, даже наиболее подверженных воздействию народнических доктрин, литературно-художественной программе Чернышевского.

## 5

Своеобразно решается литературным народничеством и проблема «нового человека», с легкой руки Чернышевского широко вошедшего в демократическую литературу 60—70-х годов. К сожалению, этот вопрос не получил сколько-нибудь удовлетворительного решения в связи с дискуссионностью самих принципов, которые кладутся в основу выделения народничества как литературного течения. Существующая тенденция отождествления литературного народничества вообще с демократической литературой народнической эпохи, игнорирующая специфику эстетического идеала определенной группы писателей, входящих в народническое литературное течение, естественно, не помогает прояснению этого вопроса. Напротив, приводит и к теоретической путанице, и к историко-литературной неразберихе. В этом случае представителями литературного народничества становятся художники, весьма различные по своим эстетическим симпатиям и творческим принципам. В одно течение попадают и Глеб Успенский, и Златовратский, и Бажин, и Оммулевский, и Степняк-Кравчин-

<sup>1</sup> Н. Н. Златовратский. Полн. собр. соч. в 8-ми т. т. 8. стр. 98.

<sup>2</sup> Там же, стр. 99.

<sup>3</sup> Там же.



ский, и Берви-Флеровский, и Гирс, и Арнольди, и Юрковский<sup>1</sup>, и Смирнова и т. д. Показательна в этом отношении недавняя статья М. Д. Зиновьевой «Идейно-политические предпосылки демократической романистики 70-х годов XIX века». Автор делает справедливый вывод, что «в художественном воплощении типа положительного героя в романах революционной демократии 70-х годов огромную роль сыграла теория нравственности, а точнее просветительское учение «разумного эгоизма», разработанное Н. Г. Чернышевским»<sup>2</sup>. Не лишены основания и некоторые другие наблюдения М. Д. Зиновьевой, в частности о рационалистической трактовке психического мира «нового человека». Однако «в интересах более глубокого и всестороннего освещения развития демократической литературы в 70-е годы» исследователь бездоказательно — опять-таки и в теоретическом, и в историко-литературном планах — делит ее на «собственно народническую» и революционно-демократическую, которая, видимо, по контрасту с первой должна называться «несобственно народнической», но тем не менее народнической, и к которой наряду с Салтыковым-Щедриным и Некрасовым причисляются Степняк-Кравчинский, Оммулевский, Берви-Флеровский, Бажин и другие литераторы. В такой концепции много странностей, начиная хотя бы с того, что Оммулевский и Бажин, принадлежащие к беллетристической школе журнала «Дело», по поводу которой Салтыков-Щедрин неоднократно иронизировал, оказываются в одной компании с сатириком. Успенский же, эстетическая близость которого к Салтыкову-Щедрину едва ли может вызывать сомнения, оказался «отлученным» от него. А в том, что и революционно-демократическое идейно-литературное течение, по терминологии М. Д. Зиновьевой, оказывается тоже, в сущности, народническим, несомненно, проявляется методологически неверное отождествление народничества как социально-политического учения с литературным народничеством, от чего предостерегал еще Плеханов. Не случайно, М. Д. Зиновьева оперирует категорией *идейно-литературного* течения.

Естественно, в этом случае почти невозможно определить какие-то общие принципы решения проблемы «нового человека» в народнической литературе. Если же иметь в виду только определенную группу писателей, близких по своим эстетическим идеалам и творческим принципам, объединившихся

---

<sup>1</sup> Так Е. Шпаковская рассматривает в единой системе народнического романа произведения Засодимского, Златовратского, роман «Андрей Кожухов» Степняка-Кравчинского, «Василису» Н. Арнольди, «Булгакова» Ф. Юрковского.—Е. Ш п а к о в с к а я. Сюжетно-композиционная структура народнического романа.—Ученые записки Уральского ун-та, 1966, № 45. Серия филологическая, вып. 3.

<sup>2</sup> «Филологические науки», 1966, № 4, стр. 13.

на общей идейной и литературно-художественной основе<sup>1</sup>, то есть только литературное народничество, а не беллетристику народнического периода освободительного движения, можно говорить, что и фигура «нового человека», с которой мы встречаемся у Чернышевского, претерпевает некоторые изменения.

Сугубая сосредоточенность беллетристов-народников на крестьянской проблематике приводит их к созданию своей «модели» активного общественного деятеля. Это «новые люди деревни», выходцы из народной массы, из крестьянства, такие, как Дмитрий Кряжев у Засодимского («Хроника села Смурина»). Но литературное народничество по-своему интерпретирует и образ «нового человека» — разночинца, интеллигента. С одной стороны — это по-рахметовски цельные фигуры энтузиастов народного дела, «двигателей прогресса», гармонично сочетающих в себе слово и дело, персонифицирующих зачастую народническую формулу критически мыслящей личности. С другой стороны — это «гамлетизированные поросята», тип народнически настроенного интеллигента, стремящегося к «слиянию» с народом и не способного, в силу своей нравственной испорченности, порвать с породившей его средой. Воспроизведение этого характерного для эпохи конфликта — «разлада совести с жизнью»<sup>2</sup> — считалось в народнической критике одной из актуальных задач. Причем в особенности подчеркивалось, в частности Михайловским, что это не просто разлад идеала и действительности, при котором «гамлетизированный поросенок» может чувствовать себя спокойно и неуязвимо в своей «гамлетизации». Обновление темы, которая соотносится Михайловским с темой «лишнего человека», критик видит в том, что «поросенок должен весь проникнуться той мыслью, что он — действительно поросенок, хотя и с чрезвычайно нежным, белым, жирным мясом; не любоваться этим мясом он должен, не выставлять его, в каком бы то ни было смысле напоказ, а, напротив, терзаться им. Если он не способен на это, так и черт с ним, пусть остается поросенком, на ходули его во всяком случае незачем ставить»<sup>3</sup>.

Так появляются в народнической литературе образы разночинцев с «золотыми сердцами» и «большой совестью».

Стремление воссоздать психологическую сложность такого типа приводит беллетристов-народников даже к полемике с образами «новых людей» у Чернышевского, цельность, последовательность, исключительность натур которых воспри-

---

<sup>1</sup> Об этом см.: в моей работе: Глеб Успенский и Салтыков-Щедрин. (Г. И. Успенский в «Отечественных записках»). Саратов. Изд. Сарат. ун-та, 1964.

<sup>2</sup> Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч. СПб., 1909, т. IV, стр. 277.

<sup>3</sup> Там же, стр. 278.

нимается народниками как, по меньшей мере, литературный анахронизм. Вот только один особо показательный пример из творчества Глеба Успенского.

Глебу Успенскому, особенно чутко реагировавшему на всякую однолинейность в изображении человека, с его родственной, пожалуй, только Достоевскому исключительной сосредоточенностью на социальных и психологических парадоксах, уже с начала литературной деятельности был чужд апофеоз исключительности, избранности, героичности натур положительных образов. В создававшемся в 70-х годах цикле «Новые времена, новые заботы», логическим центром которого стал мотив «больной совести», мотив «неизлечимости» русского разночинца, Глеб Успенский иронически оценивает попытки беллетристов 60-х годов «лепить» своих «необычных» героев. «...Откуда взять ему героя..? Из народа? Беда его, что народа он совсем не знает, да и какие там герои... Из господ? — Ну, уж... Из купцов? Аршинники и архиплуты... куда ни кинь — клин. И вот надо выводить его из каких-нибудь необычайных условий... Надобно изолировать детство его от всех условий, при которых шло детство толпы (в одной повести герой рос почти между жеребятами), надобно отучить от всех привычек прежней толпы, от всех ее вкусов, обычаев, свойств, и волей-неволей автор заставляет своего любимца питаться чуть ли не бекасиною дробью, вместо разносолов; делает сильным невероятно и устраивает ему обстановку необыкновенную. Купается он не как все — днем, а в полночь; не как все — идет в воду с берега, а бросается со скалы»<sup>1</sup>. Показательно, что варианты очерка «На старом пепелище» содержат моменты, полемически направленные в этом отношении и против автора «Что делать?».

Следует подчеркнуть, что полемика Успенского по отношению к Чернышевскому была по сути дела ретроспективной, так как уже в «Прологе» Чернышевский отошел от титанизма в изображении человеческой личности<sup>2</sup>, сблизившись с литературным народничеством (небезынтересно, что рукопись «Пролога» через революционера-народника Муравского была передана Чернышевским Глебу Успенскому). Зато полемика эта имела актуальное отношение к той беллетристической школе (Бажин, Омуревский, Шеллер-Михайлов и др.), которая продолжала ориентироваться на рахметовскую фигуру, вызывая справедливые нарекания народнической критики с точки зрения практически-политических задач. Поиски тита-

<sup>1</sup> Г. И. Успенский. Полн. собр. соч. в 14-ти т., т. IV, изд. АН СССР, стр. 126.

<sup>2</sup> См.: А. В. Карякина. О некоторых приемах раскрытия образа революционера Волгина в романе Н. Г. Чернышевского «Пролог». — Ученые записки Ленингр. пед. ин-та им. Герцена. Историко-филологический ф-т, 1957, т. 164, ч. II.

нических личностей, неоднократно замечал Скабичевский, ведут «к бесплодному отчаянию и разочарованию» и, в конечном счете, к потере веры в людей («Новое время и старые боги», 1868)<sup>1</sup>. Критику особенно важно подчеркнуть, что все те свойства, которыми отличаются «светозарные герои» беллетристики «Дела» (именно здесь названная тенденция получила широкое распространение), «может иметь каждый человек, как бы ни были ничтожны его силы в количественном отношении»<sup>2</sup>.

Успенский же обращал внимание еще на одну сторону этой беллетристики. Упрекая «романистов новых людей» в надуманности их героев, писатель подчеркивал, что они не видят основной черты человека нового времени — «страдания». «Новый автор, рисуя для пробужденной совести образцы, в которые должно бы облечься это пробуждение, но не говоря ни слова о страданиях, о борьбе с самим собою, страданиях и борьбе, которые неизбежно должны были обрушиться на всякого обессиленного нравственно человека, поставленного в необходимость быть нравственно сильным, автор делал большой промах...»<sup>3</sup> И писатель дает предметный урок новым романистам, обрисовав судьбу Верочки Калашниковой.

Основная фабульная линия очерка «На старом пепелище» в значительной мере полемична по отношению к Чернышевскому. Как и герои Чернышевского, Верочка тоже жаждет активной практической деятельности. Она неоднократно задумывается над вопросом «Что делать?». Она читала и книжку, в которой решался этот вопрос, но ее натура, несмотря на порывы к действию, неспособна к практической деятельности. Ее «червоточина» в том, что она родилась в семье интеллигентного «неплательщика», «оторванной от правды народной, оторванной от совокупности условий, в которых можно и должно жить русскому народу»<sup>4</sup>. Так народническое миропонимание осложняет ту коллизию, которая была характерна и для романа Чернышевского. Семья Верочки выработала «из несчастной девочки... существо на явную гибель». В ее душе чрезвычайно силен, в сущности непреодолим, «свиной» элемент. Корень ее души в том, чтобы телом, желудком чувствовать веселье. «...В веселых омутах ей попадалось все, в чем ее воспитали, чем могла она жить, а там, где работали, где страдали, где хотели жертвовать собой, ей было не по себе, скучно...»<sup>5</sup>. Подвижническая деятельность кажется ей «притворством». Прочитав «какую-то книгу», Верочка начи-

<sup>1</sup> А. Скабичевский. Сочинения в 2-х т., т. I, СПб., 1903, стр. 14.

<sup>2</sup> Там же, стр. 17—18.

<sup>3</sup> Г. И. Успенский. Полн. собр. соч. в 14-ти т., т. IV, изд. АН СССР, стр. 126.

<sup>4</sup> Там же, стр. 133.

<sup>5</sup> Там же, стр. 156.

нает создавать из своей мастерской артель. «...Все работали; даже старика-отца поставили к станку; даже громадная родня, которая ничего не делала и, ссорясь, доживала век, — и ту приладили к делу»<sup>1</sup>. Но тут-то поднялись в Верочке старые дрожжи, которые и привели ее к гибели. Она страдает, ощущая в себе неискренность, фальшивость и, «поняв себя», погибает.

Тот вопрос, который ставил перед прогрессивными силами России Чернышевский, в творчестве Успенского и других беллетристов-народников осложняется не менее важным и злободневным: «Что делать с собой?»<sup>2</sup>. Над ним бьются и Долбежников, и Тяпушкин, и другие герои народнической литературы, остро чувствующие, как «свиной» элемент сводит на нет все благие порывы.

От Рахметова к Тяпушкину — так, пожалуй, символически можно было бы изобразить эволюцию образа «нового человека» в народнической литературе.

\* \* \*

Те суждения, которые высказаны здесь относительно пре-емственности эстетического наследия Чернышевского в народнической литературе 70—80-х годов, разумеется, не исчерпывают всей многосторонности этой важной и неизученной проблемы. Многие из них по неизбежности постановочно-декларативны, не развернуты, даны конспективно. Практическая разработка целого ряда вопросов — дело самостоятельных исследований. Важно было лишь привлечь внимание к проблеме, которая давно ждет историков литературы. Без фундаментального исследования ее невозможно обстоятельное изучение истоков и источников литературного народничества.

---

<sup>1</sup> Г. И. Успенский. Полн. собр. соч. в 14-ти т., т. IV, изд. АН СССР, стр. 160.

<sup>2</sup> Там же, стр. 159.

II. ПУБЛИКАЦИИ  
И МАТЕРИАЛЫ



А. А. ДЕМЧЕНКО

## НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ— УЧИТЕЛЕ САРАТОВСКОЙ ГИМНАЗИИ

Старшим учителем русской словесности в IV—VII классах Саратовской гимназии Чернышевский пробыл официально с 27 января 1851 года по 10 мая 1853 года.

Этот период его жизни изучен сравнительно подробно. Благодаря дореволюционным исследованиям (Ф. В. Духовников, А. А. Лебедев, Е. А. Ляцкий) и особенно работам советских историков и биографов (С. Н. Чернов, Н. Ф. Познанский, Е. Т. Павловский, Ш. И. Ганелин, Н. М. Чернышевская, Е. Г. Бушканец), воссоздан облик передового учителя, противопоставившего казенной обстановке гимназической жизни демократические убеждения и творческие методы преподавания.

Но, изучая эти два года деятельности Чернышевского, исследователи с сожалением отмечали невозможность сопоставлений известных биографических источников (его писем и дневников, мемуаров современников) с официальными документами Саратовской гимназии, так как считалось, что архив гимназии за 1851—1853 годы не сохранился.

Действительно, фонд гимназии в Государственном архиве Саратовской области (ГАСО) чрезвычайно беден такими материалами. Однако до наших дней дошли архивные документы фонда дирекции народных училищ. Выяснилось, что именно здесь сосредоточена значительная часть архива гимназии. Были обнаружены материалы, существенно расширяющие наши представления об этом учебном заведении во время работы здесь Чернышевского. В этом отношении они пополняют те сведения, которые сообщил в последние годы Е. Г. Бушканец<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Е. Г. Бушканец. Ученики Чернышевского по гимназии в освободительном движении второй половины 1850-х — начала 1860-х годов. Казань, 1963. Его же. Н. Г. Чернышевский—учитель Саратовской гимназии (по новым архивным материалам)—В сб.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, т. 4, изд. Сарат. ун-та, 1965, стр. 189—199.

В архивных делах дирекции сохранились два прошения Чернышевского на имя директора гимназии (автографы), некоторые официальные бумаги, подписанные учителями гимназии, в том числе Чернышевским. Годовые отчеты дирекции, ее ежемесячные рапорты, формулярные списки о службе ее чиновников и преподавателей и другие документы позволяют более точно и конкретно характеризовать те условия, в которых Чернышевскому суждено было работать два года.

Чернышевский начал занятия вскоре по приезде, в апреле. Своими первыми впечатлениями он поделился с М. Л. Михайловым в письме от 28 мая 1851 г. «В Саратове я нашел еще большую глушь, чем нашли Вы в Нижнем. До сих пор я об этом, впрочем, мало тужу, потому что чем менее людей, тем менее развлечений, след<овательно>, тем скорее кончу свои дела, а кончивши их, потащусь в Петербург. Воспитанники в гимназии есть довольно развитые. Я по мере сил тоже буду содействовать развитию тех, кто сам еще не дошел до того, чтобы походить на порядочного молодого человека. Учителя— смех и горе, если смотреть с той точки зрения, с какой следует смотреть на людей, все-таки потерявшихся в университете—или позабыли все, кроме школьных своих тетрадок, или никогда и не имели понятия ни о чем. Разве, разве один есть сколько-нибудь развитой из них <...>. Они и не слыхивали ни о чем, кроме Филаретова катехизиса, свода законов и «Московских ведомостей» — православие, самодержавие, народность. А ведь трое из них молодые люди, и один еще немец»<sup>1</sup>.

Цитируемое письмо—единственное развернутое высказывание Чернышевского о гимназии, ее учениках и учителях. Именно поэтому важно было бы обстоятельно прокомментировать его. Прежде всего необходимо установить фамилии сослуживцев Чернышевского. В этом отношении ни мемуары, ни какие-либо другие источники не давали исчерпывающих сведений. Так, наиболее подробные данные об учителях гимназии приводятся в воспоминаниях М. А. Лакомте, назначенного старшим учителем истории в середине 1855 года, два года спустя после отъезда Чернышевского. Однако о некоторых преподавателях, имена которых названы здесь, трудно было с уверенностью говорить как о коллегах Чернышевского, поскольку М. А. Лакомте не сообщал, с какого времени они начали службу.

«Списки чиновников Саратовской дирекции училищ, представленные для составления Адрес-календаря», и другие документы помогают восполнить этот пробел.

В «Списке» 1851 года отмечены: почетный попечитель гимназии Ю. М. Кайсаров, директор А. А. Мейер, инспектор Э. Х. Ангерманн, законоучитель П. Н. Смирнов; старшие учителя:

<sup>1</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 217—218.

греческого языка И. Ф. Синайский, математики и физики С. А. Колесников, истории Е. И. Ломтев, законоведения А. Я. Шабловский, математики в низших классах П. Я. Ефремов, словесности Н. Г. Чернышевский, латинского языка К. В. Бауэр; младшие учителя: русской грамматики Н. Д. Ермаков, немецкого языка К. А. Гааг, рисования, черчения и чистописания А. С. Годин; надзиратель за вольноопределяющимися учениками И. М. Белавин, письмоводитель И. В. Виноградов, писец В. Ф. Салтовский. В пансионе при гимназии служили: лекарь А. Д. Малаховский, 1-й надзиратель Ф. И. Энгель, эконом И. Т. Антропов. Вакантными оставались места младших учителей географии и французского языка, бухгалтера и двух надзирателей в пансионе<sup>1</sup>.

Этот «Список» составлен 4 октября 1851 года. Чернышевский же приступил к занятиям в апреле. За эти полгода в преподавательском составе произошли следующие изменения. 31 июля на место старшего учителя истории Н. Немолотышева прибыл Е. И. Ломтев<sup>2</sup>. Учитель французского языка Николай фон-Вульфорт 7 июня был перемещен на такую же должность во Владимирскую гимназию<sup>3</sup>. Должность учителя географии была незанята весь год<sup>4</sup>.

Таким образом устанавливаются фамилии учителей, с которыми Чернышевский служил с апреля по октябрь 1851 года. Кого же в письме к М. Л. Михайлову имел в виду Чернышевский, говоря о трех молодых учителях, из которых один немец? «Именной список чиновников и учителей Саратовской дирекции», приложенный к отчету за 1852 год, дает возможность утверждать, что Чернышевским подразумевались Н. Немолотышев, учитель математики в низших классах П. Я. Ефремов, которому в 1851 году было 28 лет, и двадцатилетний учитель латинского языка Карл Бауэр<sup>5</sup>. А ведь именно П. Ефремов и К. Бауэр называются в числе лучших в этом годовом отчете. «Из чиновников и преподавателей дирекции,—говорится здесь,—по усердию своему, способностям и успехам преподавания заслуживают внимания начальства в гимназии: законоучитель священник Смирнов, старшие учителя: Бауэр, Ефремов, Колесников и Чернышевский»<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Государственный архив Саратовской области (ГАСО). Фонд 13. Канцелярия Директора народных училищ Саратовской губернии. Ед. хр. 408, 1851 год, л. 92 об. В дальнейшем ссылки даются с обозначением номера единицы хранения, года, к которому относится используемое дело, и номера листов.

<sup>2</sup> Там же, ед. хр. 421, 1851, лл. 1—4.

<sup>3</sup> Там же, ед. хр. 414, 1851, л. 36.

<sup>4</sup> Там же, ед. хр. 408, 1851, л. 19; ед. хр. 458, 1852, л. 213.

<sup>5</sup> Там же, ед. хр. 459, 1852, лл. 204—207.

<sup>6</sup> Там же, ед. хр. 459, 1852, л. 226. Ср. примечание в указанной выше статье: Е. Г. Бушканец. Н. Г. Чернышевский—учитель Саратовской гимназии, стр. 195.

Отзывы М. А. Лакомте об этих учителях близки к оценкам, данным Чернышевским. О латинисте К. В. Бауэре Лакомте сообщал как о человеке честном, правдивом, но преподавателе—недалеком, заботящемся прежде всего об уяснении учениками грамматических правил, а не смысла латинских предложений. В П. Я. Ефремове «не было самостоятельности, собственного домека, распорядительности», а преподаватель математики в высших классах С. А. Колесников давно отстал от своего предмета и больше мечтал о служебной карьере, чем о педагогических успехах<sup>1</sup>.

Из документов выясняется следующее небезынтересное обстоятельство, документально подтверждающее сообщения мемуаристов: ко времени вступления Чернышевского в должность и в последующие месяцы состав преподавателей почти наполовину обновился. И. А. Воронов, ученик Чернышевского в гимназии, вспоминал, что еще при Чернышевском «старики-педагоги, окостеневшие в невежественном понимании образовательного и воспитательного значения юношества, стали мало-помалу замещаться достойною, знающею и образованною молодежью, вполне способною исполнять тяжелую миссию просвещать молодое поколение»<sup>2</sup>. Впрочем, коренного улучшения в преподавании не произошло. «Хотя состав учителей при Николае Гавриловиче изменился много к лучшему,—отмечал Ф. В. Духовников,—но большинство из них вело и держало себя с учениками подобно прежним учителям»<sup>3</sup>.

Изменения в преподавательском составе совпадают по времени с назначением нового директора училищ. 13 февраля 1851 года (за полтора месяца до приезда Чернышевского) им был определен Алексей Андреевич Мейер. Из формулярного списка о его службе узнаем, что в 1835 году он окончил курс в Казанском университете со степенью кандидата. Служебную карьеру Мейер начал учителем истории и статистики в Пензенской гимназии (с 13 сентября 1835 года), дослужился до исправляющего должность директора училищ Пензенской губернии (с 12 августа 1848), после чего был переведен в Саратов<sup>4</sup>.

По сравнению со своим предшественником В. А. Лубкиным, Мейер оказался более жестким администратором и распорядителем, более педантичным в требованиях. Современники единодушно рисуют Мейера сухим, бессердечным человеком, типичным представителем николаевских времен. Он поначальнически свысока относился к сослуживцам, к ученикам,

<sup>1</sup> М. А. Лакомте. Воспоминания педагога.—«Гимназия», 1889, кн. 2, стр. 156, 157, 158.

<sup>2</sup> Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. 1, Саратов, 1958, стр. 150.

<sup>3</sup> Там же, стр. 129.

<sup>4</sup> ГАСО, ед. хр. 774, 1859, М., 9—13.

требуя прежде всего соблюдения формальной стороны дела. Он «был и хотел быть только начальником, которому все должны были безусловно подчиняться»<sup>1</sup>. Естественно, чиновник-службист Мейер невзлюбил Чернышевского. В особенности раздражало его ироническое отношение нового учителя словесности ко многим явлениям русской жизни. Ф. В. Духовников пишет, что однажды в порыве гнева директор воскликнул: «Какую свободу допускает у меня Чернышевский! Он говорил ученикам о вреде крепостного права. Это вольнодумство и вольтерьянство! В Камчатку упекут меня за него!»<sup>2</sup> Чернышевский называл Мейера «страшным реакционером, обскурантистом и абсолютистом». «Впрочем—и это-то хуже всего—кое-что читал и не совсем малоумен, как обыкновенно бывают директора»,—добавлял Чернышевский к этой характеристике<sup>3</sup>.

В Казанском учебном округе высоко оценивали качества Мейера. В отчете инспектора Антропова, составленном по обозрении учебных заведений Саратовской губернии в августе 1854 года, говорилось, что Мейер «трехлетним своим управлением Саратовскую дирекцию доказал и отличные способности, и примерное усердие, что все вместе возродило к гимназии надлежащее доверие общества»<sup>4</sup>.

Почти одновременно с Мейером—21 декабря 1851 года—назначается новый инспектор училищ Эрих Христианович Ангерманн<sup>5</sup>. В воспоминаниях М. А. Лакомте он предстает умным, способным педагогом, умевшим поддержать в молодых учителях стремление к самообразованию. Однако, замечает Лакомте, симпатией учителей и учеников инспектор не пользовался. Первые боялись его за доносы, вторые—за жестокое обращение с ними<sup>6</sup>. Возможно, таким Ангерманн стал позже, потому что Чернышевский отзывался о нем иначе: «Инспектор—единственный порядочный человек, образованный и имеющий обо многом понятие, особенно по своей части, т. е. учебной и ученой, со многими светлыми понятиями»<sup>7</sup>.

В 1851 году меняется преподаватель истории в высших классах: вместо Н. Немолотышева им становится Евлампий Иванович Ломтев. Характеристика его взаимоотношений с Чернышевским дана последним в письме к отцу от 12 октября 1853 года. Разговор об этом возник в связи с следующим вопросом Гаврилы Ивановича. 2 октября он сообщал сыну:

<sup>1</sup> М. А. Лакомте. Воспоминания педагога.—«Гимназия», 1889, кн. 2, стр. 162.

<sup>2</sup> Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. 1, стр. 132.

<sup>3</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 218.

<sup>4</sup> ГАСО, ед. хр. 500 1854, л. 6.

<sup>5</sup> Там же, ед. хр. 459, 1852, лл. 204—205.

<sup>6</sup> М. А. Лакомте. Воспоминания педагога, стр. 154.

<sup>7</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 218.

«Г. Ломтев возвратился из С. П. бурга. Серезенька<sup>1</sup> сказывал, что он, т. е. Ломтев, и не виделся с тобою, правда ли? Развѣ ты в последнее время был с ним в неблизких отношениях или в неприятельских. Странно—был в С. П. бургѣ и не виделся с бывшим товарищем»<sup>2</sup>. Чернышевский ответил, что не виделся с Ломтевым совершенно случайно, ввиду обоюдной занятости—«иначе я не объясняю того, что он не был у нас. Я был с ним не в близких, но в хороших и приятельских отношениях; даже в более приятельских отношениях, нежели с другими своими товарищами»<sup>3</sup>.

Современники едины в своих положительных отзывах об этом человеке, отмечая его идеальную честность, мягкость, симпатичность<sup>4</sup>. Тепло вспоминал о нем как о «светлой личности» и «замечательном педагогическом экземпляре» Е. А. Белов<sup>5</sup>. Ломтев принимал активное участие в литературных беседах, проводимых Чернышевским с гимназистами. Его часто выбирали секретарем на литературных чтениях, и составленные им протоколы отсылались в округ<sup>6</sup>. Ломтев был на четыре года старше Чернышевского. По окончании Казанского университета со степенью кандидата (1845 год) он преподавал историю сначала в Астраханской (до 1849 года), а затем в Пензенской гимназиях, откуда по прошению был перемещен в Саратов<sup>7</sup>. В деле о его перемещении сохранилась переписка В. А. Лубкина, занявшего место Мейера в Пензе, с Саратовским директором училищ относительно возвращения взятых Ломтевым в Пензенской фундаментальной библиотеке четырех книжек «Современника» за 1850 год, двух (№ 1 и № 4) «Библиотеки для чтения» за тот же год и «Истории» Лоренца<sup>8</sup>. Как видим, читательские интересы Ломтева превосходили начитанность его саратовских коллег, о которых Чернышевский писал М. И. Михайлову. Сближение с Ломтевым, таким образом, вполне естественно. Тем более, что он происходил из разночинцев, был беден. О последнем свидетельствует его заявление от 21 августа 1851 года на имя Мейера с просьбою исходатайствовать у попечителя учебного округа денежное пособие, «без которого,—писал Ломтев,—мои обстоятельства будут очень стеснительны»<sup>9</sup>. В поисках допол-

---

<sup>1</sup> С. Н. Пыпин—младший брат А. Н. Пыпина, двоюродный—Н. Г. Чернышевского. В 1853 году—ученик гимназии.

<sup>2</sup> Центральный Государственный Архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 1, оп. 1, ед. хр. 495, л. 28 об.

<sup>3</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 245.

<sup>4</sup> Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. 1, стр. 134.

<sup>5</sup> Там же, стр. 170.

<sup>6</sup> Там же, стр. 126.

<sup>7</sup> ГАСО, ед. хр. 421, 1851, лл. 5, 29, 30.

<sup>8</sup> Там же, лл. 9—14.

<sup>9</sup> Там же, л. 12.



нительного заработка он исполнял вакантные в 1852 году должности второго и третьего надзирателей при пансионе в гимназии<sup>1</sup>.

В 1851 году с Чернышевским служили также младший учитель грамматики двадцатилетний Николай Ермаков, окончивший Тамбовскую гимназию и назначенный в Саратовскую в ноябре 1851 года, законоучитель священник П. Н. Смирнов, врач при пансионе А. Д. Малаховский, начавший службу почти в одно время с Чернышевским<sup>2</sup>. Из формулярного списка Павла Никитича Смирнова выясняется любопытная подробность. По окончании Московской духовной академии он преподавал с августа 1838 года в Саратовской духовной семинарии, причем с 1840 по 1847 годы состоял ее профессором по классу философии<sup>3</sup>. Следовательно, в годы учения Чернышевского в семинарии (1842—1846) он был его преподавателем.

В первый год службы Чернышевский работал и с другим бывшим своим преподавателем по семинарии—учителем греческого языка И. Ф. Синайским. Синайский уволился из гимназии в декабре 1851 года для поступления на службу по выборам дворянства<sup>4</sup>.

Все изменения в преподавательском составе за 1852 год отражает список учителей и чиновников дирекции, отосланный для Адрес-календаря в Казанский учебный округ в конце этого года. Почетным попечителем гимназии стал П. И. Богданов. Должность учителя законоведения, занимаемая А. Я. Шабловским, стала вакантной. Младшим учителем географии определен Е. А. Белов. Учителя французского языка по-прежнему не было. Не упоминается старший учитель греческого языка И. Ф. Синайский<sup>5</sup>.

Старший учитель законоведения А. Я. Шабловский был переведен 3 декабря 1851 года Высочайшим приказом от 11 ноября того же года правителем канцелярии в VII округ путей сообщения<sup>6</sup>. На его место сначала определен кандидат Казанского университета Михаил Григорьевич Имменицкий (данные—по 8 апреля 1852 года; ед. хр. 465. «Дополнительный список о чиновниках Саратовской дирекции училищ для напечатания в Адрес-календаре», л. 67). 23 декабря 1852 года исполняющим должность старшего учителя законоведения назначается по окончании Казанского университета двадцатидвухлетний Александр Михайлович Полиновский<sup>7</sup>. Этой же датой помечено начало службы в гимназии молодого учителя

<sup>1</sup> ГАСО, ед. хр. 459, 1852, лл. 206—207.

<sup>2</sup> Там же, лл. 205, 207.

<sup>3</sup> Там же, ед. хр. 660, 1858, лл. 88—90.

<sup>4</sup> Там же, ед. хр. 437, 1851, лл. 1—4.

<sup>5</sup> Там же, ед. хр. 465, 1852, л. 60.

<sup>6</sup> Там же, ед. хр. 425, 1851, л. 5.

<sup>7</sup> Там же, ед. хр. 774, 1859, лл. 28—29.

естественных наук Николая Яковлевича Волкова, выпускника Харьковского университета<sup>1</sup>.

Об А. М. Полиновском — умном, способном, знающем свое дело учителе — вспоминал М. А. Лакомте, сожалевавший, что тот вскоре оставил педагогическую деятельность. Молодой, живой, любивший пошутить Н. Я. Волков производил, по словам мемуариста, «приятное впечатление». Волков «не без интереса относился к своему предмету», но сказывался недостаток общего образования и неспособность к серьезному, усидчивому труду<sup>2</sup>. Таковыми они — Полиновский и Волков — были, вероятно, и при Чернышевском.

Что касается М. Г. Имменицкого, прослужившего в гимназии около года, никакими другими сведениями, кроме приведенных выше, мы не располагаем.

Не менее существенным для биографии Чернышевского представляется также выяснение фамилий его учеников по гимназии. К сожалению, найденные документы не решают этой проблемы полностью. Из архивных дел дирекции, относящихся к 1850—1851 учебному году, сохранились, например, интересные материалы, связанные с испытанием учеников выпускного VII класса. Многие из этих документов подписаны Чернышевским, присутствовавшим на этих экзаменах. «Таблица окончательного испытания учеников VII класса в июне 1851 года» помогает установить фамилии учившихся у Чернышевского в старшем классе. Вот этот список:

Альманов Дмитрий, Бахметев Павел, Булатов Николай, Вакуров Василий, Галицкий-Чечелов Виктор, Козловский Феликс, Клаус Август, Митрофанов Александр, Сорокин Иван, Штерн Иван, Эргин Василий, Антонов Николай, Славницкий Иван<sup>3</sup>.

Тут же приводятся полученные ими оценки. По русской словесности — этот предмет вел Чернышевский — из тринадцати лишь трое (Бахметев, Вакуров, Сорокин) получили четыре балла. Штерн получил два балла. Остальные — три<sup>4</sup>. Сохранились «Заключение» педагогического совета, подписанное также Чернышевским, и дублетные экземпляры аттестатов и свидетельств выпускников. Подпись Чернышевского стоит на аттестатах, выданных 11 июля 1851 года Булатову, Сорокину, Бахметеву, и на свидетельствах, выданных Вакурову, Галицкому-Чечелову, Эргину. На остальных документах, оформленных в августе, подписи Чернышевского нет<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> ГАСО, ед. хр. 774, 1859, лл. 25—27.

<sup>2</sup> М. А. Лакомте. Воспоминания педагога, стр. 158.

<sup>3</sup> Об этом документе упомянуто в работе Е. Г. Бушканца «Ученики Чернышевского по гимназии в освободительном движении второй половины 1850-х годов», стр. 4—5. Однако фамилии учеников здесь не названы.

<sup>4</sup> ГАСО, ед. хр. 444, 1851, лл. 3—4.

<sup>5</sup> Там же, лл. 14—31.

Действительно, согласно рапорта о состоянии уездных училищ Саратовской губернии за август 1851 года Чернышевский пропустил в этом месяце по болезни сорок часов<sup>1</sup>.

Не лишен интереса еще один документ, относящийся к 1850—1851 учебному году. Речь идет о «Списке учеников Саратовской гимназии VII класса с указанием мест, куда они по окончании курса поступить желают». В «Списке», кроме того, указывается происхождение учеников, их возраст. Так, двадцатилетний Альманов (сын мещанина) поступал на гражданскую службу. Василий Вакуров (19 лет, из купеческого сословия. Заметим, кстати, сын купца Д. М. Вакурова, книжную лавку которого посещали Г. И. и Н. Г. Чернышевские) намеревался поступить в Казанский университет. Туда же поступали сыновья дворян восемнадцатилетний Булатов Н. и семнадцатилетний Сорокин И. Павел Бахметев (22 года—самый старший в классе. Из дворян. По установившемуся мнению—прототип Рахметова в романе Чернышевского «Что делать?») заявил о желании поступить в Горигорецкую школу. Остальных ждала гражданская служба: Галицкого-Чечелова (20 лет, из дворян), Клауса (17 лет, сын иностранца), Славницкого (20 лет, из мещанского сословия), Эргина (21 год, дворянского происхождения)<sup>2</sup>.

К 1851—1852 учебному году, проведенному Чернышевским в стенах гимназии полностью и потому особо интересно, относится наименьшее количество документов. Отметим ежемесячные рапорты о состоянии дирекции за 1852 год, позволяющие точно установить число пропущенных Чернышевским уроков по болезни (в августе—два, в октябре—три, в декабре—четыре)<sup>3</sup>, а также те из рассмотренных выше дел, которые помогают проследить все изменения в преподавательском составе.

Из документов 1853 года сохранились подписанные Чернышевским экзаменационные листы Саратовской гимназии. По установленному правилу экзаменовались, помимо гимназистов, все претендующие на производство в офицеры или, скажем, в низший классный чин. Из шести подвергнувшихся в феврале—апреле 1853 года испытаниям экзамены по русскому языку Чернышевскому сдавали сортировщики Саратовской губернской почтовой конторы В. Г. Семенов и С. А. Зернов<sup>4</sup>.

Другая группа архивных дел относится ко времени женитьбы Чернышевского и его увольнения из гимназии. Первый из публикуемых ниже документов представляет собою прошение Чернышевского на имя директора гимназии А. А. Мейера.

<sup>1</sup> ГАСО, ед. хр. 408, 1851, л. 312.

<sup>2</sup> Там же, ед. хр. 444, л. 6.

<sup>3</sup> Там же, ед. хр. 421, лл. 290, 370, 412, 450.

<sup>4</sup> Там же, ед. хр. 474, лл. 13—16, 57, 59.

Известно, что в конце апреля Чернышевский женится на дочери саратовского врача С. Е. Васильева Ольге Сократовне. Для совершения бракосочетания Николаю Гавриловичу необходимо было иметь соответствующее дозволение вышестоящего начальника. Автограф прошения найден в архивном деле «По разным предметам к сведению», начатом 3 января 1853 года.

«Его Высокородию Господину Директору Саратовской Гимназии Статскому Советнику Алексею Андреевичу Мейеру  
Старшего учителя Саратовской гимназии  
Николая Чернышевского

П р о ш е н и е.

Имею честь покорнейше просить Ваше Высокородие о выдаче мне позволения на вступление в брак с дочерью Надвornого Советника Сократа Евгеньевича Васильева Ольгою.

Старший учитель Саратовской гимназии  
Н. Чернышевский.

27 апреля 1853 г.<sup>1</sup>

Здесь же хранится и дублетный экземпляр «Свидетельства» № 341, выданного директором училищ.

Приводим также и этот текст.

«Дано сие из Саратовской Дирекции Училищ за надлежащею подписью и приложением казенной печати Старшему учителю Русской словесности Саратовской Гимназии, состоящему в IX классе, Николаю Гаврилову Чернышевскому в том, что на вступление его в законный брак с дочерью Надв. Советника Васильева, девицею Ольгою, препятствий нет. От роду ему 24 года, вероисповедания православного. Холост. Саратов. Апреля 27 дня 1853 года»<sup>2</sup>.

На документе расписка, сделанная рукою Чернышевского: «Свидетельство подлинное получил Николай Чернышевский».

Через два дня, 29 апреля, состоялось бракосочетание<sup>3</sup>.

После свадьбы Чернышевский решает выехать с Ольгой Сократовной в Петербург. С этой целью он подает 2 мая на имя Мейера новое прошение.

«Его Высокородию Господину Директору училищ Саратовской губернии Статскому Советнику Алексею Андреевичу Мейеру.

Старшего учителя Саратовской гимназии  
Н. Чернышевского

П р о ш е н и е.

Имею честь покорнейше просить Ваше Высокородие выдать мне, на основании полученного Вашим Высоко-

<sup>1</sup> ГАСО, ед. хр. 492, л. 103.

<sup>2</sup> Там же, л. 104.

<sup>3</sup> «Звенья», 1951, № 8, стр. 547.

роdiем разрешения от Господина Попечителя Казанского Учебного Округа, отпуск в С. Петербург на 28-дневный срок.

Старший учитель Саратовской гимназии  
Н. Чернышевский

2 мая 1853 г.»<sup>1</sup>

Рукою письмоводителя на прошении сделана надпись: «Вид дан 2 мая 1853 г. № 358».

Следующий узкий лист бумаги, вшитый в рассматриваемое «Дело», также представляет собою автограф Чернышевского: «Увольнительный вид получил Старший учитель Чернышевский. 10 мая 1853 г.»<sup>2</sup>.

В начале мая 1853 года Чернышевский уезжает в Петербург, числясь в отпуске с 10 числа. По истечении предоставленного отпуска он хлопочет о продлении его. С разрешения министра народного просвещения отпуск продолжен сначала до 1 августа, затем по 10 сентября, т. е. до 4-х месяцев. Сведения об этом известны биографам. В «Летописи жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского» сделана ссылка на формулярный список, хранящийся в Центральном Государственном архиве ТАССР<sup>3</sup>. Автографы прошений Чернышевского и соответствующая переписка петербургского начальства с Казанским учебным округом опубликованы П. А. Бугаенко, обнаружившим эти материалы в Центральном Государственном архиве г. Ленинграда<sup>4</sup>. В архиве Саратовской дирекции училищ хранятся те распоряжения, которые по поводу продления отпуска Чернышевскому сделал попечитель Казанского учебного округа. Эти документы не прибавляют чего-либо существенного к биографии Чернышевского. Однако публикация их необходима для полноты представлений о совершившихся событиях.

8 июля 1853 года А. А. Мейер получил из Казани следующее отношение за № 1985 от 25 июня:

«Господину Директору училищ Саратовской губернии.

Департамент Народного Просвещения уведомил меня 6 сего июня № 4833, что дозволенный Старшему учителю Русской Словесности Саратовской Гимназии Николаю Чернышевскому с 10 минувшего мая 28-дневный отпуск в С. Петербурге, по прошению его, с разрешения Г. Товарища Министра Народного Просвещения, продолжен до 1-го августа текущего года, в чем и выдано ему от Департамента надлежащее свидетельство.

<sup>1</sup> «Об увольнении в отпуск чиновников и учителей Дирекции по прошениам». — ГАСО, ед. хр. 475, л. 8.

<sup>2</sup> Там же, л. 9.

<sup>3</sup> Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. М., 1953, стр. 83.

<sup>4</sup> П. А. Бугаенко. Новые материалы о Н. Г. Чернышевском. — В сб.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. т. 2, под ред. проф. Е. И. Покусаева. Изд. Саратов. ун-та, 1960, стр. 289—294.

Даю об этом знать Вам, Милостивый государь, для внесения таковой отсрочки отпуска в формулярный Чернышевского список.

Попечитель Казанского Учебного Округа  
Генерал-Майор *Молоствов*»<sup>1</sup>

Два месяца спустя, 27 августа, попечитель вновь извещает А. Мейера о продлении отпуска Чернышевскому (документ № 2588, получен 2 сентября):

«Господину Директору училищ Саратовской губернии.

Департамент Народного Просвещения уведомил меня 8 сего августа № 6852, что дозволенный Старшему учителю Русской Словесности Саратовской Гимназии Николаю Чернышевскому с 10 мая отпуск в С. Петербург, по прошению его, с разрешения Г. Управляющего Министерством, вновь продолжен до четырех месяцев, т. е. по 10 число сентября текущего года, в чем и выдано ему от Департамента надлежащее свидетельство.

Давая об этом знать Вам, Милостивый Государь, в дополнение предложению моему от 25 прошлого июня, я предлагаю внести таковую вторичную отсрочку в формулярный Чернышевского список»<sup>2</sup>.

Затем некоторое время Чернышевский числится не явившимся из отпуска. Свидетельствующего об этом документа в «Деле» не имеется, но сохранилось упоминание о том, что такая бумага от попечителя была получена А. Мейером. Мы имеем в виду соответствующую запись в «Книге на записку входящих бумаг в 1853 году». Интересующий нас документ занесен здесь 13 декабря под № 1234. Письмоводителем записано, что документ № 3959 «О неявке учителя Чернышевского из отпуска» помечен датой 7 декабря<sup>3</sup>. Текст документа, о котором идет речь, приведен в статье Е. А. Ляцкого «Н. Г. Чернышевский и его диссертация об искусстве (из биографических источников по неизведанным материалам)»<sup>4</sup>. Е. А. Ляцкий не указывает местонахождения подлинника. Вероятно, он пользовался копией, присланной Чернышевскому отцом в письме от 15 декабря 1853 года. Постоянно сообщая о всех саратовских новостях и особенно об отношении гимназического и окружного начальства к своему бывшему подчиненному, Г. И. Чернышевский счел необходимым выслать копию документа, только что полученного Мейером из Казани, полного угроз по адресу нарушившего дисциплину учителя. Ввиду важности текста и давности его публикации приводим его целиком.

«Господину Директору училищ Саратовской губернии.

На представление от 19-го минувшего ноября нужным счи-

<sup>1</sup> ГАСО, ед. хр. 475, л. 68.

<sup>2</sup> Там же, л. 69.

<sup>3</sup> Там же, ед. хр. 498.

<sup>4</sup> «Голос минувшего», кн. 1, 1916, стр. 15—16.



таю уведомить Вас, Милостивый Государь, что причина просрочки Старшего учителя Чернышевского, по всей вероятности, происходит от того, что он ожидает перемещения своего во 2-й Кадетский Корпус, о чем было ко мне от начальства этого заведения запрос. Впрочем это не останавливает Вас в принятии в отношении к Чернышевскому в свое время законных мер, а именно: 1) В случае прибытия его к прежней должности вытребовать объяснение о причинах просрочки в отпуску и с мнением своим, находите ли Вы их удовлетворительными, представить ко мне; 2) Все жалование, следующее со времени прекращения дозволенного ему 28-дневного отпуска до явки к должности, удержать; и 3) Если бы он не явился к должности в течение 4-х месяцев со времени окончания отпуска, дозволенного ему Г. Управляющим Министерством Народного Просвещения и не доставил о себе никаких сведений, то, на основании Св. Зак. Т. 3. Уст. о служб. на опред. от прав. (изд. 1842), представить к увольнению от службы за неявку из отпуска.

Подписали: Попечитель Казанского Учебного Округа  
Генерал-майор *Молоствов*  
Правитель Канцелярии *Н. Цепелев*<sup>1</sup>

Этим угрозам не суждено было осуществиться. 24 января 1853 года Чернышевский перемещен приказом в С. Петербургский 2-й Кадетский корпус, где он уже с середины этого года преподавал теорию поэзии.

Чернышевский вступал в свое блестящее десятилетие (1853—1862), прославившее его имя как талантливого публициста, авторитетного литературного критика, философа и социолога, глубокого экономиста, идейного руководителя революционеров 1860-х годов.

---

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 495, л. 49.

М. М. ГИН

## СОВРЕМЕННОКИ ОБ ИДЕЙНОЙ БЛИЗОСТИ НЕКРАСОВА И ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Мнение современника бывает особенно ценным, потому что он с большей заинтересованностью и большей впечатлительностью, чем читатели последующих поколений, реагирует на каждое слово писателя, оценивает его как непосредственный участник происходящей в данный момент общественно-политической или литературной борьбы, занимая ту или иную позицию. Не спокойная объективность исследователя, добивающегося до истины иной раз уже тогда, когда об актуальности ее можно говорить лишь условно, и не безмятежная созерцательность стороннего наблюдателя, но горячая заинтересованность участника отражается в отзывах современников. Поэтому они бывают особенно точными, меткими и проникновенными. Это полностью относится и к идейным противникам, иногда даже в большей мере, чем к друзьям.

Первые публичные отзывы современников о Некрасове и Чернышевском, о близости их идей и взглядов связаны со статьями Некрасова из цикла «Заметки о журналах», самого значительного в литературно-критическом наследии поэта. Сразу же после появления первой статьи цикла недвусмысленно высказался на этот счет анонимный рецензент журнала «Отечественные записки» (по-видимому, С. С. Дудышкин). Враждебно комментируя статью Некрасова, он писал, что в ней видна «практическая сторона известной теории «Эстетических отношений искусства к действительности», усыновленной критикой «Современника» в разборе этой брошюры. Там доказывается теоретически, что искусство не имеет другой цели, кроме подражания, утилитарности; здесь говорится, что на практике литература оказывается мелка и ничтожна»<sup>1</sup>. Сторонник

<sup>1</sup> «Отечественные записки», 1855, № 10, отд. IV, стр. 105 (статья «Журналистика», без подписи).

либерально эстетического направления критикует Некрасова за требования идейности и воспитательного воздействия литературы, за тезис о том, что литература в годы «мрачного семилетия» измельчала. На аналогичных позициях находится и критик журнала «Пантеон». Касаясь того же тезиса Некрасова, он пишет: «С известной точки зрения, журнал этот был, впрочем, совершенно прав. Объявив себя защитником и поборником, по счастью единственным, теории г. Чернышевского, доказывавшего, что всякое произведение литературы и искусства должно иметь одну цель—утилитарность, пользу,—журнал этот, очевидно, не мог найти прямой пользы во многих прекрасных явлениях прошлого года, не мог рассчитать, какой процент, какую выгоду дадут эти явления».<sup>1</sup>

Опровергать эти отзывы едва ли стоит: они были мертворожденными уже тогда, когда появились. И если они представляют интерес, то лишь в качестве документов, при всей враждебности свидетельствующих о том, что авторы их почувствовали близость взглядов Некрасова и Чернышевского. Эти отзывы остаются до сих пор по существу не использованными в нашей литературе.

Близость идей некрасовской статьи идеям Чернышевского почувствовали не только враги, но и друзья. В одном из автобиографических набросков Некрасова, писавшихся перед смертью, сказано: «Я писал одно время заметки о журналах (в 1855 или в 1854 и 18 <56> год<ах>) <...> Антонов<ич> принял одну за статью Чернышевского—и наделал оттуда выписок, хваля Чернышевского косвенно. Я ему сказал, что статья моя, он свою так и оставил,—не оговорил»<sup>2</sup>. До сих пор эти слова остаются непрокомментированными: что имеется в виду здесь, какую статью Некрасова принял за статью Чернышевского Антонович и в какой своей публикации сделал из нее выписки? На эти вопросы наша литература не дает ответа, нет его ни в комментариях к цитированному автобиографическому наброску, ни в «Полном собрании сочинений и писем» Некрасова, ни в некрасовском томе «Литературного наследства», где он был впервые обнародован. Между тем память не изменяла в данном случае Некрасову. Он имеет в виду несомненно статью М. А. Антоновича «Глупцовцы в «Русском слове» (посвящается Г. Е. Благодетелю)» из цикла «Литературные мелочи», опубликованную за подписью «Посторонний сатирик» в февральской книжке «Современника» за 1865 год<sup>3</sup>. В этой статье

<sup>1</sup> «Пантеон», 1856, № 2, отд. IV, стр. 2 (статья «Русская литература в 1855 году», без подписи).

<sup>2</sup> Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч., и писем, т. XII, М., Гослитиздат, 1953, стр. 24; ср. «Литературное наследство», 49—50, Н. А. Некрасов, I, М.,—Л., изд. АН СССР, 1949, стр. 153.

<sup>3</sup> «Современник», 1865, № 2, отдел «Современное обозрение», стр. 367—386.

обильно цитируются и приписываются Чернышевскому «Заметки о журналах» за июль 1855 года. Находившийся в это время в ссылке, Чернышевский, разумеется, не мог быть упомянут, но именно его имеет в виду автор, говоря об «одном лице» (и прямо указывая, что им написаны «Эстетические отношения искусства к действительности»).

Касаясь взглядов и деятельности Чернышевского, Антонович пишет: «...«одно лицо» принялось за журналистику, и можно себе представить, какую она показалась ему с точки зрения, требовавшей, чтоб литература служила серьезным интересам общества, чтобы она развивала читателей и содействовала пониманию окружающей их действительности, как частной, так и общественной жизни. Поэтому в своих «Заметках о журналах» «одно лицо» высказывало горькие истины журналам и журнальной критике и указывало им новые задачи и стремления, которые не могли понять ни «Отечественные записки», ни г. Благовестов. Вот что говорит «одно лицо» о тогдашних журналах и журналистике...»<sup>1</sup>.

И далее почти две страницы заполнены выписками из первой части статьи Некрасова. Он приводит основные, центральные положения статьи, которые сводятся к требованию идейности литературы и ее общественно-педагогического воздействия на читателя, высокого гражданского долга писателя. Сам по себе этот факт в высшей степени знаменателен. Через десять лет после появления «Заметок» Некрасова, сотрудник «Современника», близкий Некрасову и Чернышевскому, приписывает их Чернышевскому и, даже после того как сам Некрасов обращает его внимание на ошибку, все-таки не вносит каких-либо исправлений в свою статью; видимо, он прочно был убежден в том, что приведенные им суждения Некрасова вполне соответствуют взглядам Чернышевского. Пройдет много лет, и эту же статью Некрасова процитирует как принадлежащую Чернышевскому один из видных исследователей последнего—Ю. М. Стеклов (по ошибке он называет ее «Заметками о журналах» за февраль 1858 года)<sup>2</sup>.

Следовательно, не только врагам, но и друзьям была очевидна близость взглядов Некрасова взглядам Чернышевского, и не только сразу же после появления этой статьи, но и много лет спустя. Если же мы учтем, что в «Заметках о журналах» выражено самое существо взглядов Некрасова на задачи литературы и роль писателя в обществе, то в значительности приведенных фактов едва ли можно будет усомниться.

<sup>1</sup> «Современник», 1865, № 2, отдел «Современное обозрение», стр. 379. Речь идет о выступлении Г. Е. Благовестова против «Современника» в статье, опубликованной в «Отечественных записках» в январе 1856 года.

<sup>2</sup> Ю. М. Стеклов. Н. Г. Чернышевский. Т. 1, М.—Л., ГИЗ, 1928, стр. 165.

М. В. ТЕПЛИНСКИЙ

## Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ЦЕНзуРА

(По новым материалам)

Тема «Чернышевский и цензура» неоднократно уже привлекала внимание исследователей. Это естественно: нас не может не интересовать замечательное мастерство великого революционера, с которым он, по словам В. И. Ленина, умел проводить «через препоны и рогатки цензуры—идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей»<sup>1</sup>.

С другой стороны, возникает закономерный вопрос: как могло случиться, что царская цензура оказалась в ряде случаев столь недалёковидной? В силу каких соображений и расчётов в печати появились произведения Чернышевского даже тогда, когда он находился в Петропавловской крепости?

Вряд ли в настоящее время можно дать полный и аргументированный ответ на эти вопросы; многое и сейчас остаётся неясным. Известно, например, что в 1864—1865 годах, то есть уже после осуждения Чернышевского, цензура разрешила перепечатку трех его работ («А. С. Пушкин, его жизнь и сочинения», «Эстетические отношения искусства к действительности» и «Основания политической экономии» Д. С. Милля). Причина такого разрешения, очевидно, в том, что все эти работы были уже некогда пропущены цензурой в отдельных изданиях или в журнале «Современник»; кроме того, упомянутые работы в 1864—1865 годах были переизданы без указания имени автора.

Но ни одно произведение Чернышевского из числа тех, над которыми он работал в Петропавловской крепости (за исключением романа «Что делать?») не было позволено к печати. Из опубликованных документов известно, например, что 8 октября 1863 года управляющий III отделением, разрешая

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 175.

передать А. Н. Пыпину рукопись Чернышевского «Рассказы о Крымской войне по Кинглеку», просил Санкт-Петербургского полицеймейстера «предварить Пыпина, что книга Кинглека, по которой составлена настоящая статья, Цензурным комитетом к переводу на русский язык не дозволена»<sup>1</sup>. Это означало, что работа Чернышевского ни при каких условиях напечатана не будет.

Тем не менее, А. Н. Пыпин все же сделал попытку напечатать «Рассказы о Крымской войне». Быть может, он не был соответствующим образом «предварен» или же думал, что цензурное ведомство окажется снисходительнее жандармского... Во всяком случае, 7 декабря 1863 года в С.-Петербургский цензурный комитет поступило следующее заявление:

«Представляя при сем «Рассказ о Крымской войне (по поводу книги Кинглека)», написанный г. Чернышевским, честь имею покорнейше просить комитет о цензурном разрешении этого рассказа, чтобы я мог начать по возможности в непродолжительном времени печатание его, которое важно в денежном отношении для семейства г. Чернышевского.

Александр Пыпин.

Жительство имею в Кабинетской улице, на углу Ивановской в доме Матушевского, кв. № 14»<sup>2</sup>.

Ясно, что разрешения не последовало, так как цензурное ведомство было уже информировано о мнении руководителей III отделения.

Следовательно, с момента ареста Чернышевского только одно его *новое* произведение появилось в печати — но зато этим *одним* произведением оказался знаменитый роман «Что делать?»

Как же могло случиться, что роман этот был беспрепятственно опубликован на страницах «Современника» да еще за полной подписью автора — узника Петропавловской крепости?

Для царского правительства «зловредность» романа Чернышевского стала ясна почти сразу же после его опубликования, но явная тревога в связи с этим прозвучала в официальных документах только летом 1866 года. Сама эта дата дает ясное представление о причинах возникшей тревоги: перепуганная каракозовским выстрелом, царская администрация стремилась определить идейные истоки революционного движения. Из судебного следствия над членами ишутинского кружка стала особенно очевидной роль революционной проповеди Чернышевского. Достаточно сказать, что в приговоре по делу Каракозова прямо говорилось: «Роман «Что делать?» имел на многих подсудимых самое губительное влияние, возбуждая в них нелепые противобщественные идеи».

<sup>1</sup> Шестидесятые годы, Л., 1940, стр. 389.

<sup>2</sup> ЦГИА, ф. 777, оп. 2, 1863, ед. хр. 10, л. 53.



Это и побудило царское правительство обратить самое пристальное внимание на сочинения Чернышевского вообще и на его роман «Что делать?»—в особенности. Как будет видно из дальнейшего, в этом проявил особую заинтересованность Александр II. Вполне вероятно предположение, что царь потребовал выяснения вопроса: кто был конкретным виновником пропуска романа в печать.

11 июля 1866 года министр внутренних дел П. А. Валуев приказал Главному управлению по делам печати подготовить «справку о сочинениях Чернышевского, будто бы вновь разрешенных к печати, и о сочинениях его, печатавшихся, когда он был в крепости»<sup>1</sup>. Требование это привело Главное управление в некоторое замешательство, началась деятельная переписка, посыпались запросы и т. д. Через несколько дней справка была готова. Текст ее уже был опубликован<sup>2</sup>. Мне удалось разыскать еще один экземпляр этой справки, сопровождаемой весьма важной пометкой: «Доложено его величеству. Петергоф, 29 июля 1866 года»<sup>3</sup>.

Следовательно, сведения о сочинениях Чернышевского собирались не для министра внутренних дел, как можно было об этом судить по предшествующим публикациям, но для самого царя и, как можно думать, по его инициативе.

В упомянутой справке особое место уделялось истории публикации романа «Что делать?»—наиболее «крамольного» произведения Чернышевского, вызвавшего сугубую ненависть реакции. До сведения царя доводилось, что «цензор Бекетов, дозволивший к печати роман «Что делать?», уволен от должности в том же 1863 году»<sup>4</sup>. Таким образом, по существу единственным виновником оказался простой цензор.

Исследователи давно уже поставили под сомнение единичную «вину» Бекетова. Вряд ли он, при всем его благожелательном отношении к «Современнику», мог бы без необходимых консультаций, совершенно самостоятельно, на собственный страх и риск, разрешить к печати роман, проникнутый революционно-демократическими идеями, автор которого к тому же находился в Петропавловской крепости по обвинению в «государственном преступлении»!

На какую же поддержку мог рассчитывать Бекетов, каких влиятельных союзников мог иметь в виду?

Ответить на этот вопрос в определенной степени помогает

---

<sup>1</sup> Шестидесятые годы, стр. 390.

<sup>2</sup> Там же, стр. 391—392.

<sup>3</sup> ЦГИА, ф. 1282, оп. 2, ед. 1951, л. 327.

<sup>4</sup> Шестидесятые годы, стр. 391.

письмо бывшего председателя С. Петербургского цензурного комитета В. А. Цеэ бывшему министру народного просвещения А. В. Головнину. Предыстория письма такова. В майском номере журнала «Вестник Европы» за 1882 год появилось начало статьи журналиста П. Усова «Цензурная реформа в 1862 году. Исторический очерк». В статье всячески восхвалялась деятельность министерства народного просвещения в 1862 году (министром тогда был А. В. Головнин). П. Усов утверждал, что все беды печати происходили тогда только потому, что министерство внутренних дел, возглавляемое П. А. Валуевым, постоянно вмешивалось в дела цензурного управления и настраивало царя против литературы. В статье П. Усова говорилось, что «министр народного просвещения решился держаться неуклонно почвы закона»<sup>1</sup>, в то время как министр внутренних дел вообще не считал себя обязанным придерживаться существовавших пунктов цензурного устава:

«...я имею преимущественно в виду не букву цензурного устава,—цитировал П. Усов одно из писем Валуева к Головнину,—которым, не нося звание цензора, я вообще не признаю себя обязанным безусловно руководствоваться»<sup>2</sup>. Министр внутренних дел—говорилось далее—своими чуть ли не ежедневными отношениями, жалобами, протестами и т. д. вынуждал Головнина действовать противно его убеждениям. По мнению П. Усова, главной целью министерства народного просвещения «было идти к большему простору печатного слова, причем преступления его карались бы судом и выводились бы более и более произвол из области цензуры»<sup>3</sup>. Однако это стремление Головнина постоянно парализовалось противодействием Валуева. Даже такая карательная мера, как приостановка в 1862 году на восемь месяцев журналов «Современник» и «Русское слово», была следствием, по словам П. Усова, «несогласия между двумя ведомствами, разделившими между собой управление по делам печати», что и «приводило к необходимости строгих мер»<sup>4</sup>.

Фактически ответственность за запрещение двух демократических журналов возлагалась прежде всего на Валуева, а Головнин изображался страдающим лицом, вынужденным идти на подобные уступки Валуеву.

Сразу же после появления первой части статьи П. Усова в «Вестнике Европы» А. В. Головнин переслал ее В. А. Цеэ, находившемуся тогда за границей (в Неаполе). Можно даже

<sup>1</sup> «Вестник Европы», 1882, № 5, стр. 144.

<sup>2</sup> Там же, стр. 165.

<sup>3</sup> Там же, стр. 155.

<sup>4</sup> Там же, стр. 166.

предположить, что указанная статья была инспирирована Головниным, старавшимся, хотя и задним числом, оправдать свои действия перед общественным мнением.

В. А. Цез, верный соратник Головнина, горячо одобрил появление статьи П. Усова. 9/21 мая 1882 года он писал из Неаполя Головнину:

«Сердечно благодарю тебя, мой дорогой и любезнейший друг Александр Васильевич, за присылку вырезки из статьи «Вестника Европы» о цензуре, которая напомнила мне едва ли не лучшее время моей 42-летней служебной деятельности, несмотря на всю трудность возлагаемой на меня задачи. Я предвижу, что это profession de foi наших общих воззрений на тогдашнее положение литературы вызовет сильный протест со стороны «Московских ведомостей», которые, с свойственной им язвительностью, воскликнут—но не в то ли время под эгидой этой благонамеренной цензуры печаталось *Что делать?* Чер<нышевского>? Сознаю, что подобный отзыв «Московских ведомостей», хотя положительно ложный, много навредит статье, которая, как мне кажется из присланной выдержки, имеет целью восстановить в надлежащем свете нашу общую деятельность в 1862 году. Почему мне бы казалось весьма полезным, если ты до появления июньской книжки постарался свидеться с Стасюлевичем и сказал бы ему, чтобы он пригласил Усова посмотреть в Архиве цензурного комитета *подлинный экземпляр* романа «Что делать?», на котором я *собственными глазами* прочел: Печатать дозволяется, Свиты е<го> и <мператорского> в<еличества> генерал-майор Потапов.

Бывший цензор В. Н. Бекетов принес мне этот экземпляр в доказательство того, что *общая цензура не видела и не могла видеть* этой книги, так как Чер<нышевский> в то время сидел в Петроп<авловской> крепости и все, что он тогда писал, подлежало рассмотрению 3-го отделения.

*Вот факт, за верность коего я ручаюсь честью* и который мало кому известен, хотя я и не делал из него тайны, когда меня упрекали в пропуске этого романа. Усов мог бы, убедившись наглядно в истине моих слов, прибавить в своей статье: многие упрекали общую цензуру... ..но по справке оказалось и т. д. Конечно, можно бы впоследствии отвечать «Московским ведомостям», но это будет уже не то<sup>1</sup>.

Окончание статьи П. Усова появилось в следующем, июньском, номере «Вестника Европы». Пожелание Цез не было учтено: в статье о романе Чернышевского не сказано ни единого слова. Бесплезно гадать о причинах, которые не позво-

---

<sup>1</sup> Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград), фонд В. А. Цез.

лили Усову выполнить совет Цез, да это, собственно, и не важно.

Гораздо существенней проанализировать те новые сведения об истории публикации романа Чернышевского, которые содержатся в процитированном выше письме Цез к Головнину. Конечно, ничего сенсационного в этом письме нет. В печати уже известны воспоминания цензора В. Бекетова, подтверждающие сведения, сообщенные Цез: «Роман цензуровали Бекетов и Фед. Ив. Рахманинов, которые будучи покойны тем, что рукопись прошла через фильтру 3 отделения, просмотрели ее поверхностно и слепо подписали, не исключив ни слова»<sup>1</sup>.

Новым является утверждение Цез, что роман не просто был предварительно просмотрен в III отделении, но что на рукописи имелась собственноручная резолюция управляющего III отделением генерала Потапова: «Печатать дозволяется». Хотя эта резолюция и не дошла до нас, нет оснований сомневаться в факте, за верность которого Цез «ручался честью». Этот факт помогает лучше понять образ действий С. Петербургского цензурного комитета.

Здесь необходимо снова вспомнить статью П. Усова «Цензурная реформа в 1862 году». При всей тенденциозности она все же в какой-то степени объясняет нежелание цензоров противодействовать опубликованию романа Чернышевского. Министерство народного просвещения (в ведении которого находилась тогда цензура) должно было постоянно соотносить свои действия с мнением министерства внутренних дел. Валуев нападал, Головнин оборонялся. Цензура была все время в положении оправдывающейся, объясняющей различные упущения—действительные и мнимые. Поэтому, когда в цензуру поступил роман Чернышевского с недвусмысленной резолюцией управляющего III отделением, цензурные деятели (не только Бекетов, но и тогдашний председатель цензурного комитета Цез) были несомненно обрадованы: тем самым с них фактически снималась всякая ответственность. Спорить же с всемогущим III отделением им, очевидно, представлялось совершенно немислимым. Таким образом, действия цензуры вполне объяснимы.

Труднее объяснить ошибку Потапова, разрешившего опубликовать роман Чернышевского. Очевидно, правы исследователи, предполагающие, что жандармы были введены в заблуждение словами Чернышевского, который утверждал, что содержание его беллетристического произведения «конечно, совершенно невинно,—оно взято из семейной жизни и не

---

<sup>1</sup> Е. Бушканец. Царская цензура и «Что делать?» Чернышевского. — «Огонек», 1951, № 39, стр. 24.

имеет никакого отношения ни к каким политическим вопросам»<sup>1</sup>.

Как бы то ни было, роман все-таки был напечатан — и напечатан совершенно официально. При этом цензура попала в ложное положение: ведь роман «Что делать?» получил цензурное разрешение; следовательно, чтение его, хранение, распространение и т. д. не могло считаться преступлением. Правда, в 1868 году было запрещено заграничное издание «Что делать?», однако номера «Современника», где в свое время был опубликован роман, не могли быть изъяты из обращения. В этом смысле положение цензуры было очень затруднительным, о чем свидетельствует, в частности, заседание Совета Главного управления по делам печати 3 декабря 1874 года, на котором обсуждалось отношение С. Петербургского градоначальника:

«При обозрении книжных магазинов С. Петербурга старший инспектор книжной торговли заметил, что во многих из них продаются отдельно сброшюрованные и переплетенные статьи, извлеченные из разных повременных изданий. Между прочим, в таком виде продается известный роман Чернышевского «Что делать?», взятый из журнала «Современник», который был запрещен по высочайшему повелению. С. Петербургский градоначальник сообщает о сем на усмотрение Главного управления по делам печати с тем, не будет ли признано необходимым преподать инспекторскому надзору какие-либо указания относительно допущения подобной продажи романа «Что делать?» и вообще торговли отдельно сброшюрованными статьями, напечатанными в повременных изданиях.

Член Совета Веселаго, на заключение которого передано было это отношение генерал-адъютанта Трепова, выразил, что в существующих по цензуре узаконениях не имеется на этот предмет никаких постановлений и подобная вырезка статей из журналов и сброшюровка их производилась всегда совершенно свободно. Относительно романа «Что делать?», запрещенного к обращению в заграничном издании и признанного крайне вредным, конечно, по мнению тайного советника Веселаго, не может быть сомнений: его следует изъять из обращения у тех букинистов и в тех магазинах, где он имеется в сброшюрованном в один том виде, тем более, что таких экземпляров должно быть немного...

Совет, соглашаясь с таковым мнением тайного советника Веселаго, *полагает*: исполнить согласно его заключению»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XVI, М., 1953, стр. 364.

<sup>2</sup> ЦГИА, ф. 776, оп. 2 ед. 14, лл. 495—497.

Нельзя не признать, что это решение с юридической точки зрения было незаконным<sup>1</sup>. Но никакие преследования не могли уже помешать демократическому читателю изучать бесмертное произведение Чернышевского.

---

<sup>1</sup> Цензура и в дальнейшем постоянно и настойчиво преследовала не только самый роман Чернышевского, но и ссылки на него в демократических органах печати. Ко многим примерам этого, уже известным в литературе, можно прибавить еще один.

21 января 1868 года на заседании С. Петербургского цензурного комитета рассматривалась статья Н. Александрова «Скользкий путь наших романистов», предназначенная для журнала «Дело». В статье содержался восторженный отзыв о романе «Что делать?», и это послужило одним из главных поводов к ее запрещению. В докладе цензора говорилось:

«Вообще во всей статье Н. Александрова проводится убеждение в необходимости новых общественных и семейных начал вместо старых, будто бы обветшалых, причем много раз подчеркивается мысль, что новые начала должны истекать из экономических условий вопроса о труде и что работники или так называемые им новые люди труда должны, наконец, сменить прежнюю сволочь, отребье человеческой немощи. Находя в подобной пропаганде новых начал вредную тенденцию поколебать основы семейные и общественные, цензор полагал бы статью «Скользкий путь новых романистов» запретить».

Цензурный комитет согласился с этим мнением. (ЦГИА, ф. 777, оп. 27, ед. 55, л. 44 об.—45).



Н. А. АЛЕКСЕЕВ

## БЫЛ ЛИ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ АВТОРОМ ПРОКЛАМАЦИИ «БАРСКИМ КРЕСТЬЯНАМ»?

(Материалы к постановке вопроса)<sup>1</sup>

В советской ученой среде господствует, приобретая прочность предрассудка, мнение, что Н. Г. Чернышевский, осужденный за прокламацию «Барским крестьянам», действительно был ее автором, хотя для юридического обоснования постигшей его кары властям пришлось прибегнуть к лжесвидетельским показаниям Всеволода Костомарова и изготовленным им по заказу Третьего отделения фальшивкам.

Авторство Чернышевского считали несомненным М. К. Лемке (который первым получил доступ к секретным материалам, относящимся к процессу Чернышевского), Ю. М. Стеклов, Б. П. Козьмин.

Для М. В. Нечкиной названная прокламация является даже *ключом* к надлежащему пониманию легальных статей Чернышевского, проходивших сквозь его цензуры. Тут надо отметить, что тогдашняя публика умела понимать сокровенный смысл читаемого, как бы она ни относилась к писателю, сочувственно или враждебно. В мае 1860 г. Чернышевский писал: «Мы оставались равнодушны даже тогда, когда слышали укоризны себе от людей, которых уважаем более, чем кого-нибудь; надеемся остаться равнодушными к порицаниям против нас и вперед, пока будем сами чувствовать, что хотели говорить правду и, может быть, успели достичь того, чтобы в наших словах была хоть тень ее, хотя какое-нибудь самое неполное и слабое указание на нее, которое будет понято хотя одним из десяти между нашими читателями, понято хотя не в ту

<sup>1</sup> Статья Н. А. Алексеева — видного исследователя литературного наследия Чернышевского — печатается в дискуссионном порядке. В очередном выпуске сборника будут опубликованы материалы авторов, принявших участие в дискуссии.

минуту, когда он читает наши попытки говорить ее <...>»<sup>1</sup>.

В 1941 г. М. В. Нечкина напечатала в «Исторических записках» статью: «Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации. (К анализу источников темы)». В ней выдвигались следующие положения:

1) «Чрезвычайно важно наличие нелегальных произведений и для изучения легальных: первые, написанные без учета цензуры, являются как бы ключом к урезанному подцензурному изложению вторых. Теряя их в наследстве Чернышевского, мы сверх того терпим и добавочный ущерб, лишаясь этого ключа»<sup>2</sup>.

2) Авторство Чернышевского установлено в науке показаниями Шелгунова и Слепцова: «Заметим, кстати, что «забывчивость» Шелгунова мало правдоподобна: трудно «забыть» содержание документа, переписанного собственноручно. Конечно, Шелгунов предназначал свои воспоминания для печати, предпринял их со специальной целью реабилитировать шестидесятые годы в эпоху восьмидесятых, когда идеи шестидесятников подвергались нападкам и осмеянию. Довольно трудно было в страшных условиях цензуры времени Александра III распространяться о содержании прокламаций, основным лозунгом которых был призыв к организации вооруженного народного восстания»<sup>3</sup>.

3) «Прокламация была написана Чернышевским и переписана Шелгуновым. Эти тексты до нас не дошли. Мы располагаем уже по меньшей мере второй копией, написанной рукой Михайлова и дошедшей до нас в следственном деле Заичневского <...>»<sup>4</sup>.

4) «<...> Что же касается набранного текста, то о нем вообще не приходится рассуждать по той простой причине, что он до нас не дошел. Есть лишь одно основание предположить его состав—это та грубо, чернилами другого оттенка (более черными, чем текст Михайлова), сделанная правка, которая внесена в текст Михайлова. Она касается в ряде случаев чисто стилистических моментов <...>»<sup>5</sup>.

5) М. В. Нечкина признает, что у Слепцова путаница в да-

---

<sup>1</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., Гослитиздат, М., 1940—1953, т. VIII, стр. 112. В дальнейшем ссылки на это издание (с указанием тома и страницы) приводятся в тексте.

<sup>2</sup> М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации. (К анализу источников темы). — «Исторические записки», 1941, № 10, стр. 6.

<sup>3</sup> Там же, стр. 7.

<sup>4</sup> Там же, стр. 9.

<sup>5</sup> Там же, стр. 10.

тах. Тем не менее его свидетельство, по ее мнению, нельзя скинуть со счетов<sup>1</sup>.

6) «По прямому смыслу прокламации «Барским крестьянам» — какая-то организация, принявшая решение дать сигнал к началу вооруженного восстания, в России в тот момент уже была; иначе невозможно понять воззвание. *Всякий иной вывод будет обвинением Чернышевского в самом плоском политическом авантюризме.* Чернышевский обращается к народу не со своим личным мнением, а сообщает о решениях *революционной организации*»<sup>2</sup>.

7) «Эти конкретные данные не противоречат и прокламации Шелгунова «К солдатам»: «Можно сделать, чтобы солдат служил только от 3 до 5 лет и во время службы получал бы достаточное жалованье, такое, чтобы мог посылать из него и семье своей на подмогу». *Нельзя не вспомнить (?)* тут студенческого *дневника* Чернышевского, в котором, говоря о своих планах будущего общественно-политического переустройства, он замечает, что «распустил бы более половины войска»<sup>3</sup>.

8) Когда же прокламация написана? По мнению М. В. Нечкиной, до издания «Положения 19 февраля». А Костомаров *привозил одну форму*, то есть отпечаток части, лишь *в августе 1861 г.*

В прокламации «Барским крестьянам» «разбираются такие детали реформы, которые фактически расходятся с «Положениями 19 февраля», не могут быть оттуда заимствованы и могут быть объяснены лишь одним: Чернышевский писал свою прокламацию до издания «Положений 19 февраля», он не имел перед глазами этих «Положений» и отразил в прокламации свое предположение о некоторых деталях будущего закона, которые впоследствии в самом законе были сформулированы иначе»<sup>4</sup> (Стало быть, Чернышевский писал прокламацию *наобум!*? — Н. А.).

9) «В прокламации <...> — «коли ты уйдешь, так земля твоя останется за помещиком». Между тем в «Положениях 19 февраля» такого пункта нет <...>. Если бы этот термин<sup>5</sup> был употреблен <Чернышевским> бегло, мимоходом, подобно тому, как это сделано в «Письмах без адреса», то действительно не стоило бы обращать внимание на эту случайную деталь в вопросах датировки прокламации <...> будь перед Чернышевским «Положения 19 февраля» во время его работы

<sup>1</sup> М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации. (К анализу источников темы), стр. 15.

<sup>2</sup> Там же, стр. 18. Подчеркнуто нами.

<sup>3</sup> Там же, стр. 19. Подчеркнуто нами.

<sup>4</sup> Там же, стр. 22. Подчеркнуто нами.

<sup>5</sup> Срочно обязанные вместо временно обязанные, как в «Положении» (Н. А.).

над прокламацией, конечно, получилось бы иначе — в прокламацию попал бы правильный термин из § 15 Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» <...>.

Поскольку прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» написана Чернышевским до 19 февраля 1861 г., то и революционная организация, решения которой сообщаются в прокламации, существовала до 19 февраля 1861 г. Можно предположить, что существовала она и в 1860 г. Значит, первой «Земле и воле», образовавшейся в 1862 г., предшествовала какая-то другая революционная организация <...>.

В свете всего изложенного можно себе представить, какие огромные надежды возлагал Чернышевский и его единомышленники на тот предполагаемый взрыв крестьянских волнений, который должен был последовать за реформой. Правдоподобнее всего было ожидать начала революционных событий именно непосредственно вслед за объявлением народу обманывающей его «свободы». По-видимому, прокламация «Барским крестьянам» была призвана организовать именно этот казавшийся неизбежным взрыв. Очевидно предполагалось, что революционное воззвание, с одной стороны, и царский манифест с «Положениями», с другой, окажутся в руках народа одновременно. (!?)

Так обстоит дело с прокламацией «Барским крестьянам». Документ этот как неотъемлемая часть литературного наследия Чернышевского является центральным при изучении темы: «Чернышевский в годы революционной ситуации». Он представляет собой *ключ* к подцензурным статьям Чернышевского<sup>1</sup>.

«Из всех прокламаций того периода, — пишет Ю. М. Стеклов, — только одна может быть с уверенностью приписана Чернышевскому. Это воззвание к барским крестьянам. Прежде и этот факт подвергался сомнению, несмотря на то, что сенат на основании показаний предателя В. Костомарова именно за составление названной прокламации приговорил Чернышевского к каторге. И только после того, как в «Голосе минувшего» 1918, № 4—6 напечатана была не опубликованная до тех пор часть воспоминаний Н. Шелгунова, в которой «Воззвание к барским крестьянам» определено приписано было Чернышевскому, всякие сомнения на этот счет исчезли»<sup>2</sup>.

«<...> Костомаров даже не знал, кто был автором воззвания, и в первое время приписывал его Михайлову. Только

<sup>1</sup> М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации, стр. 23, 27, 28.

<sup>2</sup> Ю. М. Стеклов. Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность. 1828—1889. Т. II, изд. 2-е, М.—Л. ГИЗ, 1928, стр. 282.

впоследствии он стал называть автором его Чернышевского <...>. Когда и каким образом Костомаров узнал или догадался о том, что воззвание принадлежит перу Чернышевского, мы не знаем»<sup>1</sup>.

Н. В. Шелгунов в своих воспоминаниях пишет: «Александр II <...> конечно, и не подозревал, что общее революционное направление, так долго подавляемое Николаем, создало все его реформы и что он освободил крестьян чисто революционным способом <!?!>. Но этого мало: Александр II сам разжигал революционное чувство, возбуждая преувеличенные ожидания <...>. Неудовлетворение вызвало недовольство, а недовольство создало революционное брожение. Вот источник эпохи прокламаций <...>. Все они принадлежали очень небольшому кружку людей, действовавших отдельно и в глубокой тайне <...>. И правительство преувеличивало опасность, и молодежь ошибалась насчет силы, за которой она готова была идти. <...>. Зимой 1860 года приехал из Москвы в Петербург Всеволод Костомаров <...> с рекомендательным письмом к Михайлову от Плещеева <...>. Несмотря на кавалерийский мундир, Костомаров имел довольно жалкий, бедный вид <...>. Костомаров никогда не глядел в глаза и смотрел или вниз или исподлобья <...>.

Костомаров много рассказывал о своей бедности и тех неудовольствиях, которые он выносит дома <...>. Костомаров рассказывал, что когда он завел станок и отпечатал кое-что, брат объявил ему, что донесет на него, если он не заплатит ему полтора рубля. Мы не особенно внимательно отнеслись к этому пункту, или, вернее, отнеслись особенно внимательно, но не в ту сторону: Костомарову были даны вперед деньги, Чернышевский дал работу в «Современнике» и вообще его окружили таким участием и вниманием, на которое он едва ли рассчитывал. Больше всего нас, конечно, пленял его станок и готовность печатать — у нас же оказалась готовность писать.

В ту же зиму, то есть в 1861 году, я написал прокламацию «К солдатам», а Чернышевский прокламацию «К народу» и вручил их для печатания Костомарову <...>. Я переписал прокламацию измененным почерком и, как все переговоры велись Михайловым, то я отдал прокламацию ему, а он передал Костомарову <...>.

В ту же зиму я написал прокламацию «К молодому поколению», но мы решили печатать ее в Лондоне, «в русской печатне». Об этой прокламации никто не знал, кроме Михайло-

---

<sup>1</sup> Ю. М. Стеклов. Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность. 1828—1889. Т. II, Изд. 2-е, М.—Л., ГИЗ, 1928, стр. 290.

ва и меня. Содержание прокламации «К народу», «К солдатам» я забыл, но «К молодому поколению» — помню»<sup>1</sup>.

М. В. Нечкина считает эту забывчивость фиктивной: дескать, Шелгунов не хотел выдавать себя во избежание возможной кары. Однако прокламация «К молодому поколению», в составлении и распространении которой был обвинен Михайлов, была столь же криминальной, а Шелгунов не постеснялся назвать себя ее автором. В его воспоминаниях есть еще свидетельства слабости его памяти: так, он говорит о защите Чернышевским диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», происходившей в мае 1855 г.: «Небольшая аудитория, отведенная для диспута, была битком набита слушателями. Тут были и студенты, но, кажется, было больше посторонних, офицеров и статской молодежи. Тесно было очень, так что слушатели стояли на окнах. Я тоже был в числе этих, а рядом со мной стоял Сераковский (офицер генерального штаба, впоследствии принявший участие в польском восстании и повешенный Муравьевым). Во время диспута Сераковский приходил в самый шумливый восторг и увлекался до невозможности»<sup>2</sup>. Между тем Сераковский вовсе не мог быть тогда в Петербурге, а находился в ссылке в Оренбургском крае; он был амнистирован и произведен в офицеры только в 1856 г. и в академию генерального штаба был принят лишь осенью 1857 г.

Мемуары, особенно писанные много лет спустя после событий, о которых повествуют, требуют критического отношения к ним. Между тем приведенный отрывок из воспоминаний Шелгунова послужил для некоторых советских исследователей основанием для утверждений, что Чернышевский действительно был автором воззвания к барским крестьянам, хотя на суде и следствии отрицал это, и, как уже говорилось, судьям для юридического обоснования приговора по его делу пришлось прибегнуть к лжесвидетельским показаниям Всеволода Костомарова и представленным им же фальшивкам.

В подкрепление таких утверждений об авторстве Чернышевского приводятся свидетельства А. А. Слепцова и других. Разберем эти свидетельства.

А. А. Слепцов в своих старческих воспоминаниях, записанных М. К. Лемке, говорит о плане выпуска серии прокламаций, причем «Чернышевский как знаток крестьянского вопроса, который он, действительно, знал в совершенной полноте, должен был написать прокламацию к крестьянам; Шелгунов и Николай Обручев взяли на себя обращение к солдатам; раскольников поручили Щапову, а потом, не помню по каким об-

<sup>1</sup> Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М.-Пг., Госиздат, 1923, стр. 32 — 33.

<sup>2</sup> Там же, стр. 163.



стоятельствам, передали тоже Николаю Гавриловичу; молодое поколение взяли Шелгунов и Михайлов. О таком плане и о его выполнении мне сказал в начале 1861 г. сам Чернышевский, знал о нем и Н. Н. Обручев, потом, из боязни быть расшифрованным, уклонившийся от участия в общем деле»<sup>1</sup>.

Так повествовал Слепцов, впервые увидевшийся с Чернышевским *не раньше мая 1861 года по возвращении из Лондона после заграничной одиннадцатимесячной командировки*, в которую был послан после окончания в 1860 г. лицея и поступления на службу по ведомству министерства народного просвещения. К Чернышевскому он явился с рекомендательным письмом от Н. Н. Обручева. Он же сообщает, будто Чернышевский читал ему до отправления к Герцену письмо свое в «Колокол», напечатанное в нем в 1860 году... Ясно, что показания Слепцова являются по меньшей мере сомнительными. «Распределение ролей» для написания прокламаций, сообщаемое им, не сходится с утверждением Шелгунова, что о его прокламации «К молодому поколению» знал только Михайлов.

Рассмотрим еще воспоминания Стахевича, напечатанные впервые в сборнике, изданном к столетию со дня рождения Н. Г. Чернышевского: «В один из первых дней нашего пребывания в «полиции» Николай Гаврилович рассказал нам о некоторых обстоятельствах, предшествовавших арестованию его, и о суде над ним <...>».

За недолго перед арестом Николая Гавриловича к нему явился адъютант петербургского генерал-губернатора графа Суворова <...>. Адъютант посоветовал Николаю Гавриловичу от имени своего начальника — уехать за границу: если не уедет, в скором времени будет арестован.— Да как же я уеду?хлопот сколько!.. Заграничный паспорт <...> — Уж на этот счет будьте спокойны: мы вам и паспорт привезем, и до самой границы вас проводим, чтобы препятствий вам никаких ни от кого не было. — Да почему граф так заботится обо мне? Ну, арестуют меня; ему-то что до этого? — Если вас арестуют, то уж, значит, сошлют <...> без всякой вины, за ваши статьи, хотя они и пропущены цензурой. Вот графу и желательно, чтобы на государя, его личного друга, не легло бы это пятно — сослать писателя безвинно»<sup>2</sup>.

Сомнительно, чтобы Суворов предлагал Чернышевскому *незадолго до его ареста* уехать за границу. Ведь на докладе (датированном 27 апреля 1862 г.) шефа жандармов Долгору-

<sup>1</sup> М. К. Лемке. Политические процессы в России 1860-х гг. Изд. 2-е, М.-Пг., 1923, стр. 318.

<sup>2</sup> С. Г. Стахевич. Среди политических преступников. Николай Гаврилович Чернышевский. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. 1828—1928. Сб. статей, документов и воспоминаний. М., изд. Всесоюзн. об-ва политкаторжан, 1928, стр. 110.

кова о намеченных арестах, где говорилось: «<...> может быть, окажется менее опасным и более удобным прежде всего воспользоваться общественным расположением к князю Суворову, дабы предоставить ему, призвав к себе порознь вышеупомянутых сомнительных лиц и проникнув в их предложения, предварить их, что они подозреваются, что за ними строго следят и что всякий предосудительный поступок подвергнет их сильному наказанию», — Александр II написал: «По моему мнению, подобное предварение не поведет ни к чему, а и напротив того даст возможность главным коноводам уничтожить и скрыть все бумаги, могущие их уличить». И в другом месте: «<...> я решительно против предв<арительного> призыва подозреваемых лиц к к<нязю> Суворову и не понимаю, как подобная мысль могла быть предложена, ибо это есть лучший способ все скрыть и не добиться ничего»<sup>1</sup>. «После ареста, — пишет Стахевич, — Николаю Гавриловичу задали вопрос прежде всего о сношениях его с Герценом: Вот у нас в руках письма Герцена к вам. — Письма у вас, не у меня; что же вы ко мне обращаетесь? Я никаких писем от него не получал и за содержание его писем отвечать не могу. (Первый допрос Чернышевского произошел 30 октября—1 ноября 1862 г. При обыске в квартире Чернышевского было найдено письмо Огарева и Герцена не к нему, а к другому лицу, с нападками на Чернышевского. Обвинение в сообщничестве с Герценом было признано Сенатом недоказанным).

Пробовали обвинить его в сочинении нескольких нелегальных листков: «К образованным классам», «Великорусс»; но почерк нелегальных рукописей был совершенно не похож на почерк Николая Гавриловича. Передавая об этом нам, обитателям «полицей», Николай Гаврилович сказал особенным тоном, каким говорят актеры по ремарке «в сторону»: «я умел писать несколькими почерками». Из этих мимоходом брошенных слов я понял, что некоторые листки были написаны действительно им, но почерк был им умышленно употреблен другой, — не тот, каким он писал для цензуры»<sup>2</sup>.

Это воспоминание Стахевича совершенно не соответствует действительности. Третье отделение подозревало причастность Чернышевского к «Великоруссу» и другим прокламациям, но никаких нелегальных рукописных листков у следственной комиссии не было, и Чернышевскому они не предъявлялись. Была предъявлена сфабрикованная Всеволодом Костомаровым записка якобы Чернышевского к нему о замене при печатании воззвания к «Барским крестьянам» термина «срочно обязанные» термином «временно обязанные».

<sup>1</sup> Процесс Н. Г. Чернышевского. Саратов, облгосиздат, 1939, стр. 21, 23.

<sup>2</sup> С. Г. Стахевич. Среди политических преступников. Николай Гаврилович Чернышевский, стр. 110.

Далее Стахевич повествует: «Наконец, много месяцев спустя после ареста, Николаю Гавриловичу предложили письмо, писанное якобы им собственноручно от начала до конца, обращенное к Костомарову (кавалерийскому офицеру, одному из знакомых Николая Гавриловича), найденное жандармами у этого Костомарова при обыске. На письме было означено число и месяц 1861 года <...> после имени и отчества адресата следовали слова в таком роде, что вот мы с вами беседовали и пришли к заключению, что надо сделать следующее: учредить столько-то тайных типографий, устроить тайное общество на таких-то основаниях, и т. д.; подпись Чернышевского всеми буквами. Прочитавши письмо, Николай Гаврилович сказал следователям: «Это письмо от первой буквы до последней написано тем самым Костомаровым, у которого оно найдено при обыске; он не счел нужным даже менять почерк; спросите экспертов, и они скажут вам, что это от начала до конца его почерк, а не мой»<sup>1</sup>.

Тут память совершенно изменила Стахевичу: два письма, найденные у Костомарова, с датами 20 апреля и 2 июля 1861 г., Чернышевский признал своими, но в них не было ничего ни о типографиях, ни о тайном обществе. *Подделаны* были Костомаровым письмо якобы Чернышевского к Плещееву и карандашная записка якобы Чернышевского к нему об исправлении термина «срочно обязанные» в воззвании к барским крестьянам на «временно обязанные». *Неправильный* термин был употреблен Чернышевским и в «Письмах без адреса», писанных им в феврале 1862 г. для очередного номера «Современника», но запрещенных сплошь цензором. Чернышевский не забыл бы к тому времени о сделанной в прокламации описке, если бы *он* был автором названной прокламации. А что *записка* была действительно поддельной — доказано советской экспертизой<sup>2</sup>.

«Мне кажется правдоподобным, — продолжает Стахевич, — что Николай Гаврилович старался дать нам <...> самое сокращенное изложение дела с тою целью, чтобы оно вследствие этой краткости легче отпечатлелось бы в нашей памяти <...>, а впоследствии, когда мы будем освобождены из тюрьмы, сделалось бы через нас достоянием общества и распространялось бы в нем, благодаря все той же краткости, с возможно большею быстротою и с сохранением основной тенденции рассказа, которая была такова: над подсудимым совершено вопиющее беззаконие, он осужден на основании заведомо подложного документа. Если <...> Николай Гаври-

<sup>1</sup> С. Г. Стахевич. Среди политических преступников. Николай Гаврилович Чернышевский, стр. 111.

<sup>2</sup> Решенный вопрос. (Экспертиза по делу Н. Г. Чернышевского). Предисл. Ю. Стеклова. — «Красный архив», 1927, № 6 (25), стр. 135—181.

лович действительно имел такую цель, то является вполне понятным его умолчание о воззвании к крестьянам: заговоривши об этом воззвании, пришлось бы значительно удлинить изложение. Умолчавши о воззвании к крестьянам и о всем, что к нему относится, пришлось дать другое содержание письму (на имя Алексея Николаевича), лишь бы новое выдуманное содержание носило на себе такой же противоправительственный характер, каким было проникнуто содержание действительного письма.

Ради краткости и для облегчения памяти слушателей не упомянуты ни одним словом лица, стоявшие во время следствия и суда на заднем плане: Сороко, Плещеев, Яковлев. Устранивши из своего рассказа имя Плещеева, Николай Гаврилович должен был назвать какого-нибудь другого адресата письма (на имя Алексея Николаевича), — он и назвал Костомарова, так как эта-то фамилия все равно, неминуемо должна была фигурировать в его изложении<sup>1</sup>.

Выходит, что Чернышевский *ради краткости* умолчал о самом существенном пункте обвинения — о своем авторстве воззвания к крестьянам.

Стахевич писал свои воспоминания *после* ознакомления с работой М. К. Лемке о процессе Чернышевского. Познакомившись с текстом прокламации «Барским крестьянам», он пришел к заключению, что Чернышевский *мог* быть ее автором, но *был ли* в действительности — *неизвестно*.

Приведу еще одно мемуарное показание—Н. Тюрина, категорически *отрицающее авторство Чернышевского*:

«Николай Гаврилович всегда уклонялся от разговоров о практических путях революционной деятельности в России, но все же разговоры возникали, и вот какие впечатления вытекали из его отрывочных замечаний, брошенных вскользь Шаганову и Николаеву. Николай Гаврилович не верил в то время в возможность народного восстания, единственный выход он видел только в дворцовом перевороте, поддержанном войском и городской инсurreкцией. В результате только такого *coup d'état*, поддержанного народом, сопровождаемого соответственными манифестами («земля народу»), могло бы произойти настоящее народное восстание с захватом земли народом и переделкой всего государственного здания. По мнению Николая Гавриловича, *разиновщина* или *пугачевщина* повториться в настоящее время не могут — с одной стороны, потому, что восстание не может возникнуть одновременно в значительном районе, а с другой стороны, ввиду лучшего вооружения современного государства, которое, будучи своевре-

---

<sup>1</sup> С. Г. Стахевич. Среди политических преступников. Николай Гаврилович Чернышевский, стр. 111—112

менно осведомлено, всегда имеет возможность подавить местное движение, направив туда войска, еще не затронутые им. Николай Гаврилович был сослан только благодаря подложному письму, он не является, следовательно, по их мнению, автором прокламации к барским крестьянам. И это они утверждали после нескольких лет совместной жизни в Александровском заводе, в лучших отношениях с самим Николаем Гавриловичем, т. е. слышали от него самого<sup>1</sup>.

Обратимся теперь к самому воззванию «Барским крестьянам» и посмотрим, мог ли Чернышевский быть автором таких утверждений:

«А что манифест да указы выпустил, будто волю вам дает, так он только для обольщения сделал. А почему сделал, вот почему. У французов да у англичан крепостного народа нет, вот они ему глаза и кололи, что у тебя, говорят, народ в кабале. Ему и стыдно было перед ними. Вот он им пыль-то в глаза и подпустил: для похвальбы это сделано, для обману сделано» (XVI, 950).

Мог ли Чернышевский давать такое смехотворное объяснение отмены крепостного права? Разве он не знал, что Александр II после заключения в марте 1856 г. мира с англо-французами заявил московскому дворянству: «надо, чтобы это (то есть отмена крепостного права — Н. А.) было сделано сверху, не дожидаясь, пока оно будет делаться снизу»? Чернышевский не стал бы утверждать, что крепостное право отменяется, так сказать, из стыда перед англичанами и французами, а не из страха перед восстанием крепостных, о котором свидетельствовали слова самого императора. Надо было восстановить пошатнувшуюся военную мощь империи, чего нельзя было сделать без отмены крепостного права, без развития промышленности, железнодорожного строительства и т. д.

Далее в прокламации говорится:

«Вот у французов есть воля. У них нет розницы: сам ли человек землю пашет, других ли нанимает свою землю пахать; много у него земли — значит, богат он; мало — так беден; а розницы по званью нет никакой, все одно как богатый помещик, либо бедный помещик — все одно помещик. Надо всеми одно начальство, суд для всех один, и наказание всем одно.

Вот у англичан есть воля, а воля у них та, что рекрутства у них нет: кто хочет, иди на военную службу, все равно, как у нас <...> помещики тоже юнкерами и офицерами служат, коли хотят. А кто не хочет, тому и принужденья нет. А солдатская служба у них выгодная, жалованье солдату большое <?> дается; значит, доброй волей идут служить, сколько требуется людей.

---

<sup>1</sup> Из воспоминаний Н. Тюрина. ЦГАЛИ.

А то и вот еще в чем воля и у французов и у англичан: подушной подати нет <...>.

А то вот еще в чем у них воля. Пачпортов нет; каждый ступай, куда хочет, живи, где хочет, ни от кого разрешенья на то ему не надо.

А вот еще в чем у них воля: суд праведный. Чтобы судья деньги с кого брал, у них это и не слыхано. Они и верить не могут, когда слышат, что у них судьи деньги берут. Да у них такой судья одного дня <?> не просидел бы на месте, в ту же минуту в острог его запрятали бы.

А вот еще в чем у них воля: никто над тобою ни в чем не властен, кроме мира. Миром все у них правится. У нас исправник, либо становой, либо какой писарь; а у них ничего этого нет, а заместо всего староста, который без миру ничего поделать не может, и во всем должен миру отчет давать <...>. У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен. Потому что у них царь, значит для всего народа староста, и народ-то, значит, над этим старостою, над царем-то начальствует. Хорош царь, послушествует народу, так и жалованье ему от народа выдается, а чуть что царь стал супротив народа делать, ну так и скажут ему: ты, царь, над нами уже не будь царем, ты нам не угоден, мы тебя сменяем, иди ты с богом, куда сам знаешь, от нас подальше; а не пойдешь, так мы тебя в острог посадим да судить станем тебя за твое послушанье. Ну, царь и пойдет от них, куда сам знает, потому что послушаться народа не может. А как провожать его от себя станут, они ему на дорогу еще деньжонок дадут, из жалости, Христа ради там складчину ему сделают промеж себя по грошу аль по копейке с души, чтобы в чужой-то земле с голоду не умер <...>. А на место его другого царя выберут, коли хотят, а коли не захотят, так и не выбирают, коли нет у них на примете хорошего человека. Ну тогда уж просто там на срок староста народный выбирается, на год ли там, на два ли, на четыре ли года, как народ ему срок полагает. Так заведено у народа, который швейцарцами зовется, и у другого народа, который американцами зовется» (XVI, 950—951). Эту идиллию сочинил якобы Чернышевский, должно быть, забывши, что англичане своему королю Карлу I голову отрубили, а французы то же сделали Людовику XVI и его супруге, вместо того, чтобы вырвать их от себя, снабдив в складчину деньгами, чтобы не умерли с голоду на чужбине...

Кто же был подлинным автором прокламации «Барским крестьянам»? В деле о печатании в Москве недозволенных сочинений есть сообщение председателя Следственной комиссии по этому делу действительного статского советника Соболевского управляющему министерством внутренних дел от 27 октября 1861 г. за № 187, что «по показанию Сулина воз-



звание к барским крестьянам изготовлялось им, Сулиным, и Костомаровым, который назвал себя автором»<sup>1</sup>.

В Записке о тайном обществе, писанной агентом Шутилиным со слов Костомарова, говорится: «Наш кружок был не велик, несмотря на то проект (организации — Н. А.), изготовленный им, был принят. Оставалось проекту этому дать окончательную редакцию и напечатать. Для этого был отправлен за границу М <ихайлов>, кажется, поручение, возложенное на М <ихайлова>, не ограничивалось одним изготовлением устава, он должен был между прочим объяснить весь ход дела Герцену и более или менее воспользоваться советом нашего пресловутого эмигранта. Впрочем, поездка М <ихайлова> имела много других целей, нам неизвестных.

Тотчас по разрешении вопроса об организации был поднят вопрос о действии. Не желая никому навязывать своих личных мнений, люди, обсуждавшие вопрос о действии, решились прежде узнать желание публики и потом уже с ними сообразовать свои действия. С этою целью М <ихайлову> поручено было написать и напечатать прокламацию к «Молодому поколению», а К <остомарову> *прокламации к солдатам и барским крестьянам*<sup>2</sup>.

Довольно прозрачный намек на авторство Костомарова сделал сам Чернышевский в одном месте «образца своей черновой литературной работы», посланного им 14 августа 1863 г. в сенат «для облегчения работы делопроизводителей» по его делу. Вот этот отрывок: «Некто Талейран сказал: «дайте мне несколько слов человека, какого бы то ни было и о чем бы ни было и каких бы то ни было, и я докажу, что его стоит повесить за них» <...> Берем пример: — Я сказал: я болтун по профессии. Только два слова, — и слова правдивые, ибо умный человек не лжет — и из сих двух слов будет следовать 1) что я негодяй, после того 2) что вас <...> следует повесить, 3) что я человек честный и вы должны благодарить меня. Почему же из сих слов: «я болтун по профессии», — почему следуют сие результаты? Следуют они по трактату о профессии: Tractatus de professione editio in usum Delphini cūpendata, то есть «Трактат о профессии, — изданный иезуитами для пользы юноши. Издание исправленное».

(Вопросы по поводу заглавия: А) Что такое профессия. Значения по словарю Кронеберга: исповедание веры; по словарю Дюканжа, более обширному: 1) исповедание веры; 2) звание члена ордена иезуитов.—Итак, 1) невежда—не знает ничего. 2) знающий Кронеберга, который у каждого в руках, несомненно видит, что это исповедание веры; знающий же Дюканжа знает, что сие написано с целью сказать ему правду

<sup>1</sup> Следственные материалы, ЦГАЛИ.

<sup>2</sup> Процесс Чернышевского, стр. 136—137. Подчеркнуто нами.

и с целью подурaczyć его. В) Для чьей пользы написано.—По подлиннику: в пользу Delphini—справка; по Кронебергу: рыба дельфин; по Дюканжу 1) рыба; 2) наследник французского престола.—Итак: 1) незнающий не видит ничего особенно; 2) малознающий говорит: сие бессмыслица, ибо книга для рыбы—глупо; 3) более знающий видит, в чью пользу написано. Сие по переводу: в пользу юноши,—ясно, хоть не ясно, в пользу какого юноши,—и потому: всякого; сие явствует, но почему не в пользу Дельфина или Дофина, сие не явствует.

С) Издание, исправленное кем—иезуитами или не иезуитами, сие не явствует; хотя из-за замены слова, обозначающего рыбу или Дофина, явствует, что исправлено переводчиком перевод автора, с эпиграфом

traduttore—traditore

вопросы: кто автор—не явствует, хотя явствует, что он же есть и переводчик<sup>1</sup>. Что означает эпиграф—означает, что переводчик есть изменник; но кому он изменник: автору ли, то есть себе ли, иезуитам ли, Дофину ли, юноше ли—сие не явствует» (XII, 671).

Об отсутствии единства взглядов Чернышевского с взглядами Шелгунова и Герцена свидетельствуют следующие отрывки из прокламации «К молодому поколению».

«<...> Мы не отвергаем важности факта, заявленного манифестом 19-го февраля; но мы видим важность его не в том, в чем видит его важность правительство. Освобождение крестьян есть первый шаг или к великому будущему России, или к ее несчастью; к благосостоянию политическому и экономическому или к экономическому и политическому пролетариату. От нас самих зависит избрать путь к тому или к другому <...>

Из всей русской истории мы знаем только один случай, когда деспотизм явился на помощь народу: «Хочу, чтобы крестьяне были свободны»,—сказал царь, и сто тысяч помещиков низким поклоном выразили полную готовность повиноваться воле монаршей. Но это была последняя вспышка умирающего деспотизма. Этим он кончил. Ему больше нет дела в России, ждать от него больше нечего. Сословия уже начинают понимать, какую жалкую роль они играли до сих пор, освобожденные крестьяне уже думают о своем безвыходном положении—они недовольны <...>. В нашей жизни лежат начала, вовсе не известные европейцам. Немцы уверяют, что мы придем к тому же, к чему пришла Европа. Это ложь. Мы можем точно прийти, если наденем на себя петлю европейских учреждений и ее экономических порядков; но мы можем прийти и к другому, если разорвем те начала, какие живут в народе. Европа сложилась из остатков древнего мира; тысячу лет

<sup>1</sup> В. Косгомаров, как известно, был переводчиком. — Н. А.

назад в Европе была монархия; уж тогда Европа разбилась на могучих собственников и на бессильных рабов, не имевших земельной собственности; уж тогда было положено в ней начало того экономического и политического неравенства, которое привело и к пролетариату и вызвало социализм.

Европа почиталась было выйти из своего крайнего положения, но партия привилегированных людей была слишком сильна; вековые традиции были слишком крепки и в народе, и в тамошнем мещанстве; а социальные теории настолько смутны и слабы своей организационной стороной, что 1848 год должен был привести к неудаче. <...>

Неудача 1848 года если что-нибудь и доказывает, так доказывает только одно—неудачу попытки для Европы; но не говорит ничего против невозможности других порядков у нас, в России. Разве экономические, земельные условия Европы те же самые, что и у нас? Разве у них существует и возможна земледельческая община? Разве у них каждый крестьянин и каждый гражданин может быть земельным собственником? Нет. А у нас может, у нас земли столько, что достанет ее нам на десятки тысяч лет.

Мы народ запоздалый, и в этом наше спасенье. Мы должны благословлять судьбу, что не жили жизнью Европы. Ее несчастья, ее безвыходное положение—урок для нас. Мы не хотим ее пролетариата, ее аристократизма, ее государственного начала и ее императорской власти.

До сих пор народ наш жил своей жизнью, не мешаясь в дела правительства и не понимая их, и он был прав <...>.

Европа не понимает, да и не может понять наших социальных стремлений; значит она нам не учитель в экономических вопросах. Никто нейдет так далеко в отрицании, как мы, русские. А отчего это? Оттого, что у нас нет политического прошлого, мы не связаны никакими традициями, мы стоим на новине и <...> хотим разделить свое поле не по немецкой методе, не в заграничном вкусе, а как делилась земля встарь, когда еще людям не было тесно,—и мы можем сделать это. Вот отчего у нас нет страха пред будущим, как у Западной Европы; вот отчего мы смело идем навстречу революции; мы даже желаем ее. Мы верим в свои свежие силы; мы верим, что призваны внести в историю новое начало, сказать свое слово, а не повторять зады Европы. Без веры нет спасения; а вера наша в наши силы велика.

Если для осуществления наших стремлений—для раздела земли между народом пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков, мы не испугались бы и этого. И это вовсе не так ужасно. Вспомните, сколько народу потеряли мы в польскую и венгерскую войну. И для чего? Из капризов Николая, и не только без всяких выгод, но на позор своей страны. Вспомните, что Крымская война стоила нам 300000 народу, что она ра-

зорила целый край, что ввела нас в громадный долг, а разве мы испугались ее? Нет, хоть она и стояла нам лучшей сил страны. А разве наше дворянство—лучшая рабочая сила страны? Нет. <...>. Современный честный русский не может быть другом правительства. Он друг народа. Все же враждебное народу, все эксплуатирующее его есть правительство; а все поддерживающее правительство и стремящееся не к общему равенству прав, а к привилегиям, к исключительному положению, есть дворянство и партия дворянская. Это враг народа, враг России. Жалеть его нечего <...><sup>1</sup>.

В статье о Чаадаеве («Апология сумасшедшего»), предназначавшейся для январского номера «Современника» за 1861 г., но не пропущенной цензурой, Чернышевский писал:

«Чаадаев полагает, что мы призваны вести человечество к новым судьбам, что у нас больше сил, чем у других народов, что силы эти свежее, что мы скорее и легче других народов пойдем и осуществим те новые блага, которые еще <не> вошли в жизнь Запада, которых он без нашей помощи не может уразуметь и достичь. Словом сказать, что если мы были и еще некоторое, очень недолгое время, всего быть может, несколько лет, останемся учениками Запада, то очень скоро, быть может, даже еще в наше поколение, мы станем его учителями и руководителями. Эта мечта распространена у нас чрезвычайно. Не только славянофилы, над которыми подсмеиваются западники за нее, считают ее положительною истинною,—если присмотреться хорошенько к самим западникам, то окажется, что подобное чувство лежит в основе даже их убеждений. <...>.

Мнение, будто бы именно мы должны стать руководителями человечества при развитии высших базисов цивилизации, основывается на двух предположениях, проповедуемых в большей части книг, не только у нас, но и на Западе, но тем не менее совершенно фальшивых. Во-первых, предполагается, что народы латинского и немецкого племени уже ввели в историческое дело все силы, которыми располагают, так что у них нет новых сил для создания новой жизни, совершенно непохожей на прежнюю. Во-вторых, предполагается, что мы народ совершенно свежий, характер которого еще не сложился, а только теперь в первый раз слагается, силы которого ни на что не были расходованы.

Мы уже говорили, что это неправда. Мы также имели свою историю, долгую, сформировавшую наш характер, наполнившую нас преданиями, от которых нам так же трудно отказываться, как западным европейцам от своих понятий; нам также должно не воспитываться, а перевоспитываться. Основное

<sup>1</sup> Цит. по изд.: Н. В. Шелгунов. Воспоминания. Ред., вступ. ст. и примеч. А. А. Шилова. М.—Пг., ГИЗ, 1923, стр. 289, 292, 293, 294.

наше понятие, упорнейшее наше предание—то, что мы во все вносим идею произвола. Юридические формы и личные усилия для нас кажутся бессильны и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения; на сознательное содействие, на самопроизвольную готовность и способность других мы не надеемся, мы не хотим вести дела этими способами; первое условие успеха, даже в справедливых и добрых намерениях, для каждого из нас то, чтобы другие беспрекословно и слепо повиновались ему. Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый. Но если каждый из нас Батый, то что же происходит с обществом, которое все состоит из Батыев? Каждый из них измеряет силы другого, и, по зрелом соображении, в каждом кругу, в каждом деле оказывается архи-Батый, которому простые Батыи повинуются так же безусловно, как им в свою очередь повинуются баскаки, а баскакам—простые татары, из которых каждый тоже держит себя Батыем в покоренном ему кружке завоеванного племени, и, что всего прелестнее, само это племя привыкло считать, что так тому делу и следует быть и что иначе невозможно. От этой одной привычки, созданной долгими веками, нам отрешиться едва ли не потруднее, чем западным народам от всех своих привычек и понятий. А у нас не одна такая милая привычка; есть много и других, имеющих с нею трогательнейшее родство. Весь этот сонм азиатских идей и фактов составляет плотную кольчугу, кольца которой очень крепки и очень крепко связаны между собой, так что бог знает, сколько поколений пройдут на нашей земле, прежде чем кольчуга перержавеет и будут в ее прорехи достигать нашей груди чувства, приличные цивилизованным людям <...>.

Но, говорят нам, авангард уже растратил или ввел в дело все свои силы; на Западе уже не остается элементов, не участвовавших в истории, таких элементов, которые могли бы придать ей новый вид. Это также совершенное заблуждение. Была на Западе история аристократического сословия; только недавно стало руководить историею среднее сословие и далеко еще не овладело ею всею, далеко еще не выказало всех своих сил, не переделало всего, что хочет и должно переделать. Да, есть вещь, которая действительно умирает на Западе; эта вещь—феодализм и олигархическое господство. Но силы среднего сословия все еще развиваются, и много, очень много улучшений в западной жизни произведет даже один этот элемент, уже много сделавший перемен. Но высшее и среднее сословия составляют только небольшую часть в каждой нации, а масса нации ни в одной еще стране не принимала деятельного, самостоятельного участия в истории. Это новый элемент, безмерно различный от прежних; он еще только готовится войти в историю <...>.

Запад, далеко опередивший нас, далеко еще не исчерпал своих сил,—в этом отношении он таков же, как мы: страна, едва возделанная в немногих местах, которым полагательствовал случай, еще имеющая безмерные долины, которых не касался плуг. Новая жизнь возникает в этих только начинающихся оживать пространствах» (VII, 615—618).

В статье Чернышевского «О причинах падения Рима» («Современник» 1861 г., № 5) говорится:

«Далеко не восхищаемся нынешним состоянием Западной Европы, но все-таки полагаем, что нечем ей позаимствоваться от нас. Если сохранился у нас от патриархальных (диких) времен один принцип, несколько соответствующий одному из условий быта, к которому стремятся передовые народы, то ведь Западная Европа идет к осуществлению этого принципа совершенно независимо от нас. Новые экономические тенденции стали обнаруживаться во Франции и в Англии задолго до того, как барон Гакстгаузен рассказал немцам о нашем обычном общинном землевладении; а французы и англичане узнали об этом нашем обычае от немцев еще позднее,—чуть ли не вчера только или третьего дня. Их мыслители нашли истину без помощи знаний о нашем быте; <...> ни для кого из приверженцев новых теорий на Западе не служит он доводом в пользу новых теорий, <...> Европе тут позаимствоваться нечем и не для чего; <...> и то, что существует у нас по обычаю, неудовлетворительно для ее более развитых потребностей, более усовершенствованной техники; а для нас самих этот обычай пока еще очень хорош, а когда понадобится лучшее устройство, его введение будет значительно облегчено существованием прежнего обычая, представляющегося сходным по принципу с порядком, какой тогда понадобится для нас, и дающим удобное, просторное основание для этого нового порядка.

Кроме общинного землевладения, невозможно было самым усердным мечтателям открыть в нашем общественном и частном быте ни одного учреждения или хотя бы зародыша учреждения для предсказываемого ими обновления ветхой Европы нашею свежеею помощью» (VII, 661—663).



Н. М. ЧЕРНЫШЕВСКАЯ

## ФЕДИН О ЧЕРНЫШЕВСКОМ

(Из переписки 1926—1939)

Письма Константина Александровича Федина к автору этих строк, охватывающие период с 1926 по 1966 годы, посвящены одной теме: вопросам биографии и изучения наследия Н. Г. Чернышевского.

Трудно публиковать и комментировать письма, вынутые из общей пачки при жизни и корреспондента, и адресата. Здесь содержится материал о литературных отношениях, связанных не только в письмах, но и в жизни разнообразными формами служения памяти великого революционного демократа. Выступления на торжественных заседаниях, на открытии надгробного памятника, сыновняя любовь к саратовским памятным местам своего земляка, неугасимая привязанность к его отчому дому, ставшему музеем, и забота о нем—все это прибавляется к письмам К. А. Федина и должно стать предметом специального очерка. Автор этих строк располагает отзывами К. А. Федина о шести своих книгах и статьях, в том числе подробной консультацией по плану задуманной новой книги («Вокруг Чернышевского»).

Для настоящего издания извлечены три письма писателя. Два из них имеют отношение к воспоминаниям его отца Александра Ерофеевича Федина о встречах с Н. Г. Чернышевским в Саратове в 1889 году и передают эти мемуары со слов, много раз слышанных от отца. Третье письмо представляет собою ответ на просьбу, высказанную научными сотрудниками Пушкинского дома через сотрудника музея Чернышевского Веру Александровну Пыпину. Обращение к Константину Александровичу было сделано в декабре 1928 года, когда только что отзвучали первые в Советской Республике юбилейные торжества в честь 100-летия со дня рождения Н. Г. Чернышевского и научная общественность Ленинграда находилась под свежим впечатлением вступительного слова К. А. Федина от

Союза писателей. Литературный Ленинград был захвачен этим выступлением. О нем говорили и в музейных кругах, интересовались, будет ли оно напечатано, «не осталось ли моментом художественного вдохновения, воплотившимся в неповторимую импровизацию». Считали, что нужно как можно скорее обратиться к самому Константину Александровичу, чтобы вовремя удержать, сберечь для истории его слово. Просили написать ему, узнав, что в Саратове он посещает Дом-музей Н. Г. Чернышевского. Константин Александрович откликнулся очень скоро и душевно. В этот период им уже были завязаны добрые отношения с сотрудником музея С. И. Быстровым, знатоком старого Саратова, был написан роман «Братья», создавался «Старик», начинали укрепляться революционные творческие связи с родным городом.

Письма печатаются не полностью: в них опущено то, что не имеет отношения к Н. Г. Чернышевскому. Воспоминания А. Е. Федина публикуются впервые. Извлечения из них были сделаны автором этих строк в докладе на конференции Саратовского университета, посвященной творчеству К. А. Федина, в 1959 году.

1

*Ленинград,  
28.II.1926*

Г-же Н. Чернышевской-Быстровой, Саратов

К сожалению моему, не могу в настоящее время исполнить Вашей просьбы: прислать для музея Чернышевского письмо моего отца, в котором он вспоминал о Вашем деде—Н.Г. Чернышевском [1]. Письмо это относится к 1919 или 1920 году, и, перерыв все ящики своего стола, я не мог его отыскать. Не думаю, чтобы оно затерялось и, вероятно, удастся его найти, но—при всем желании—сделать это сейчас не умею. Кроме того, письмо моего отца едва ли представляет собою какой-нибудь существенный интерес для предполагаемого Вами юбилейного сборника [2]. Его можно было бы включить в архив музея, как свидетельство современника о необычайно высоком моральном авторитете Н. Г. Чернышевского среди людей, столь далеких от революционной общественности, к каким принадлежал в 80-х годах мой отец. Он вспоминает о своих де-

ловых и очень коротких встречах с Н. Г. Чернышевским, как об исключительном событии в своей жизни, а о знакомстве с ним говорит с гордостью.

Если я отыщу письмо отца—не премину прислать Вам копию с него. Вашему мужу—С. И. Быстрову—я обещал так же прислать № журнала «Звезда», в котором была опубликована статья П. Щеголева—«Чернышевский в равелине» и напечатаны неизвестные до сих пор рассказы Н. Г. [3]. Обещание это я выполняю на днях —(...)

Уважающий Вас  
Конст. Федин

Р. С. Посылаю Вам небольшую свою книжку—«Анна Тимофевна» [4].

2

Ленинград, 2 января, 1929

### Н. М. Чернышевской, Саратов

Глубокоуважаемая Нина Михайловна, если бы у меня был текст моих слов, которые я сказал на вечере памяти Н. Г. Чернышевского, я, конечно, послал бы Вам его. Но говорил я даже без конспекта, и мне невозможно восстановить сказанного. По первоначальным предположениям я должен был прочесть свой рассказ «Старик» (по сюжету «Покражи» Н. Г. Чернышевского), но не успел окончить рассказа, поэтому пришлось говорить. Постараюсь хотя бы кратко изложить тему, которой я коснулся.

В какой-то момент человек испытывает «покоренность» литературой, заболевает «литературным тифом». Литературное произведение кажется ему каким-то «чудом», потому что все в этом произведении—«как в жизни» и в то же время все «выше жизни». Человек «влюбляется» в литературу. Следом за этим приходит или наступает «влюбленность» в автора, т. е. в человека, сотворившего «чудо». Читатель начинает поиски некой идеальной писательской биографии, писательской жизни, могущей объяснить «чудо». И вот биография Чернышевского приближается к идеальной писательской биографии в России, т. е. наиболее полно обобщает русскую писательскую судьбу. По ней можно и должно учиться понимать роль писателя и место его в жизни России, учиться любить писательство, как призвание.

Вот, в сущности, все. Если слова мои произвели хорошее впечатление, то—вероятно—потому, что в них не было ни тени казенных тезисов, и я рад, что слушатели оказали мне такое внимание. (...) [1].

Желаю Вам всего хорошего.  
Уважающий Вас  
Конст. Федин

P. S. «Старик» еще не окончен. Будет напечатан, вероятно, в «Красной Нови» [2].

Москва. 7.XI.39.

### Н. М. Чернышевской, Саратов

Дорогая Нина Михайловна, посылаю Вам давно обещанные воспоминания моего отца о встречах с Чернышевским, записанные мною со слов воспоминателя. Отец мой родился в 1863—умер в 1923 г. На протяжении двадцати лет, примерно до 1900 г., он служил у саратовского купца Петра Григорьевича Бестужева, впоследствии—гласного городской думы, пройдя обычный путь от ученической должности «мальчика» до старшего приказчика. Когда он увидел Чернышевского, ему было около 26-ти лет. Рассказ о Чернышевском мне доводилось слышать от отца в разные годы, всегда без каких-либо отклонений. Поэтому записываю его с точностью.

Однажды летом 1889 г. в писчебумажный магазин П. Г. Бестужева, в Саратове, зашел пожилой человек строгого и сосредоточенного вида, с длинными волосами, в очках. Он попросил писчей бумаги. Приказчик подал ему один за другим два-три сорта бумаги, но не мог угодить. Покупатель был недоволен, собрался уйти, но к нему подошел другой приказчик, переспросил, в чем именно состоит желание, и сразу подал тот сорт бумаги, который требовался. Покупатель был удовлетворен, признательно поблагодарил и простился.

Едва он вышел из магазина, как приказчика, отпустившего бумагу, спросили:

— А ты знаешь, кто это был?

— Нет.

— Ведь это—Чернышевский...

И вот, любивший вспоминать этот случай былой бестужевский приказчик—мой отец, Александр Ерофеевич Федин, слегка растроганно и гордо добавлял:

— Я долго все не верил, что со мной разговаривал сам Чернышевский. Он был знаменит, о нем в городе все говорили...

И отец рассказывал, как потом, во время своих прогулок, Чернышевский продолжал заходить к Бестужеву (магазин помещался на Никольской, в Архиерейском корпусе) [1]. Войдя, Николай Гаврилович всматривался в приказчиков, находил отца, любезно здоровался, и тот уже знал—какую нужно доставать бумагу.

Один раз отец был занят с каким-то покупателем, и Чернышевскому предложил свои услуги другой приказчик. Николай Гаврилович, кивнув на моего отца, сказал, что подождет, пока он освободится.

Другой раз Чернышевский попросил прислать себе бумагу на дом. Отец не отправил покупку, как обычно, с «мальчиком», а вызвался сам отнести ее, и пошел на Соборную [2]. Его очень удивила и привлекла скромность домика, в котором жил писатель. Он вспоминал об испытанном во время посещения чувстве, я бы сказал, благоговейно, хотя ведь он был простым посыльным, доставившим покупку «на дом», и слишком мало мог заметить житейских особенностей этого дома.

Почему-то всегда свой рассказ отец заканчивал так:

— В то время Чернышевский переводил «Историю» немца Вебера... [3].

Откуда был известен отцу этот факт—не знаю. Несмотря на свою любовь к письменности (в юные годы отец украдкой сочинял стихи), он вряд ли мог осмелиться спросить у Чернышевского о его работе. Значит, интерес к ней, молва о ней доходили и до таких кругов, как торговые служащие. И отцу было лестно думать, что переводы из веберовской «Истории» делались именно на той бумаге, которую Чернышевский получил из его рук.

---

Вот и весь эпизод.

В жизни отца мимолетные встречи с Чернышевским, похожие друг на друга, как бы слившиеся в одну, необычайно выделялись из всех других. Чернышевский был в понятии отца существом единственным, рассказывал он о нем в том тоне, в каком говорят легенды.

Когда я, маленький, в конце 90-х—начале 900-х годов был с родителями на Воскресенском кладбище, отец и мать подвели меня к могиле Чернышевского. Сквозь стекла маленькой часовни мы рассматривали венки, отец прочитывал надписи на лентах. Этим кончались наши хождения по могилам, наши «родительские». Часовня со стеклышками была

надгробием особенного значения, особенной могилой особенного человека. Я, конечно, не понимал, что это был за человек, но, наверно, именно тут впервые услышал слово—Чернышевский—и отсюда запомнил его навечно.

Мне кажется, незначительные воспоминания моего отца подтверждают соображения М. Н. Пыпина, высказанные им в одном из писем, о том, что Чернышевский в последние месяцы жизни в Саратове «успел внушить к себе любовь» среди самых разных слоев населения и что имя писателя в те годы уже имело «какое-то внутреннее, хорошее содержание, являлось олицетворением какой-то идеи» [4]. Мне кажется, это верно. Подвиг жизни Чернышевского покорял и привлекал к его личности тысячи разнообразных людей. Среди этих тысяч был и мой отец.

(...).

Уважающий Вас Конст. Федин.

Москва, 17, Лаврушинский пер., 17/19, кв. 38.

Для Вашего архива прилагаю билеты московских юбилейных заседаний [5].

## ПРИМЕЧАНИЯ

### 1

1. Письмо является ответом на просьбу о присылке воспоминаний отца К. А. Федина Александра Ерофеевича о Н. Г. Чернышевском. Эта просьба была вызвана разговорами в книжной лавке В. З. Яксанова, где с К. А. Фединым встречались саратовские писатели, поэты, журналисты и книголюбы вообще. После приезда Константина Александровича в Саратов в 1925 г. мне было передано его упоминание о мемуарах отца, впервые прозвучавшее именно здесь. В письменном виде, как видно из письма от 7 ноября 1939 г., мемуары не были найдены К. А. Фединым, и он заметил их своим рассказом со слов отца.

2. Общество Краеведения, вокруг которого группировались научные силы Саратовского университета, предполагало издать сборник о Н. Г. Чернышевском к 100-летию со дня его рождения в 1928 году и поручило автору этих строк обратиться к К. А. Федину с запросом относительно мемуаров его отца. В свое время мемуары не были присланы и не вошли в сборник «Николай Гаврилович Чернышевский», вышедший в Саратове в 1928 г.

3. Речь идет о третьем номере журнала «Звезда» за 1924 г., где были опубликованы рассказы Н. Г. Чернышевского «Из рассказов доктора Беневоленского», «Чингис-хан» и «На правом боку», с предисловием П. Е. Щеголева «Чернышевский в равелине». Книжка журнала была прислана Дому-музею и хранится в его библиотеке.

4. Речь идет об издании повести «Анна Тимофевна» (Госиздат, Л., 1925 г.). Книжка была прислана с дарственной надписью и сохраняется в семье Чернышевских.



1. Письмо адресовано в Ленинград на квартиру В. А. Пыпиной (Надеждинская ул. 3, кв. 1), где автор этих строк останавливался, находясь в командировке.

2. Рассказ «Старик» был первоначально опубликован в первом номере журнала «Красная Новь» за 1930 год. Отдельное издание вышло в том же году и было прислано К. А. Фединым с дарственной надписью в музей и автору этих строк.

1. ...на Никольской, в Архиерейском корпусе...—здесь К. А. Федин вносит существенную поправку в перечень саратовских мест, где развертываются действия его романов, этот перечень дан в книге «Русские писатели Саратовского Поволжья» (Саратов, 1964). Авторы статьи «К. А. Федин» Н. А. Яковлев и Ю. М. Никитин разъясняют, что архиерейский корпус—«ныне детская больница против сада имени Горького» (стр. 253). На самом деле, как это подтверждает и сам Федин, и его отец, это не так: архиерейский корпус выходил на б. Никольскую (ныне Радищевскую) улицу. В этом корпусе, тянувшемся от часовни (ныне планетария) за угол на Радищевскую ул., во втором этаже помещалась духовная консистория, где служил отец Н. Г. Чернышевского, а первый этаж был занят магазинами, в том числе пшечубумажным магазином Бестужева в 80-х годах. Детская больница в то время называлась «Архиерейский дом», в нем жил архиерей. Это совершенно отдельное здание в глубине двора против «Липок», по Волжской улице.

2. Соборная ул., где в доме почтового чиновника А. М. Никольского проживал Н. Г. Чернышевский в 1889 году, ныне — Коммунарная ул. д. 22. Дом не сохранился. На его месте находится здание областной больницы № 1, отмеченное памятной доской.

3. Н. Г. Чернышевский действительно был занят переводом с немецкого капитального труда Георга Вебера «Всеобщая история». Жизнь Чернышевского оборвалась над переводом двенадцатого тома.

4. Речь идет о письме двоюродного брата Чернышевского—Михаила Николаевича Пыпина, от 24 октября—6 ноября 1889 г., приведенном в статье М. Н. Чернышевского «Последние дни жизни Н. Г. Чернышевского» (см. журнал «Былое», 1907, № 8, стр. 149).

5. К письму приложены два пригласительных билета на торжественные заседания, посвященные 50-летию со дня смерти Н. Г. Чернышевского: 1) от Союза советских писателей СССР и Академии наук СССР в Колонном зале Дома Союзов 28 октября 1939 г. (трибуна) и 2) от Института мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР в Клубе писателей 26 октября 1939 г. (трибуна). К. А. Федин не присутствовал на этих заседаниях, так как прочел юбилейные дни в Саратове, где выступал на торжественном заседании в театре имени Н. Г. Чернышевского и на открытии его надробного памятника на кладбище.

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН\*

- Авдеева А. В. 152  
 Азнауров А. А. 130  
 Аксаков И. С. 93, 95  
 Аксаков С. Т. 32, 119  
 Аксаков К. С. 70  
 Александров Н. 186  
 Александр II, 181, 191, 194  
 Алексеев Н. А. 6, 187  
 Альманов Д. 170, 171  
 Амосов П. А. 102  
 Ангерманн Э. Х. 164, 167  
 Анненков П. В. 32, 33, 43, 44  
 Антонов Н. 170  
 Антонова Г. Н. 60, 62  
 Антонович М. А. 73, 177, 178, 121  
 Антропов И. Т. 165, 167  
 Ариосто 56  
 Аристотель 60  
 Арнольди А. А. 155  
 Аскоченский В. И. 76  
 Баевский В. С. 67  
 Бажин Н. Ф. 154, 155, 157  
 Байрон Джордж-Гордон 68  
 Бакунин М. А. 62  
 Бальзак Оноре де 32  
 Басистов П. 13, 17  
 Батый 203  
 Бауер К. В. 165, 166  
 Бахметев 118, 122  
 Бахметев П., 170, 171  
 Бекетов В. Н. 55, 181, 184  
 Белагин И. М. 165  
 Белинский В. Г. 9, 10, 36, 37, 51,  
 52, 55, 60, 64, 69, 86, 87  
 Белов Е. А. 169  
 Бельчиков Н. Ф. 147  
 Берви-Флеровский В. В. 155  
 Бестужев П. Г. 208, 211  
 Благосветлов Г. Е. 177, 178  
 Ближневская М. 34  
 Богданов П. И. 169  
 Богословский Н. В. 118  
 Боков П. И. 118  
 Бокова-Сеченова М. А. 118  
 Борщевский С. С.—72, 73, 77, 78,  
 80, 81, 87, 89, 92  
 Босвелль 48  
 Боткин В. П. 34, 35, 56, 57  
 Бугаенко П. А. 173  
 Булатов Н. 170, 171  
 Булгарин Ф. В. 86  
 Буренин В. П. 90  
 Бурсов Б. И. 7, 143  
 Бухштаб Б. Я. 137  
 Бушканец Е. Г. 163, 165  
 Быков П. В. 90  
 Быстров С. И. 206, 207  
 Бялый Г. Я. 145, 148  
 Валуев П. А. 181, 182  
 Вакуров В. 170, 171  
 Васильев С. Е. 172  
 Ващев П. А. 181, 182  
 Введенский А. И. 153  
 Вебер Георг 209, 211  
 Вердеревская Н. А. 117  
 Веселаго 185  
 Виноградов И. В. 165  
 Волков Н. Я. 170  
 Вольтер Франсуа Мари 35, 67  
 Воронов И. В. 166  
 Вульфорт Н. 165  
 Вызинский Г. 48  
 Вяземский П. А. 32, 37  
 Гааг К. А. 165  
 Гакстгаузен А. 204  
 Галицкий-Чечелов В. 170, 171  
 Ганелин Ш. И. 163  
 Гаркави А. М. 51  
 Гегель Г. В. Ф. 60  
 Гервинус Г. Г. 38  
 Герцен А. И. 12, 66, 69, 116, 122,  
 142, 143, 194—200  
 Гете Иоганн-Вольфганг 49, 56  
 Гиллельсон И. 18  
 Гин М. М. 54, 176  
 Гирс Д. 135, 136, 155

\* Указатель составлен М. В. Денисенко.

- Глинка С. Н. 37  
 Гоголь Н. В. 32, 38, 41, 43, 45, 55,  
 56  
 Годин А. С. 165  
 Головин А. В. 182, 184  
 Гончаров И. А. 127  
 Готорн Н. 71  
 Горский П. 92  
 Грановский Г. Н. 47, 87, 90  
 Греч Н. И. 86  
 Григорьев А. П. 15, 34, 35, 43  
 Григорович Д. В. 152  
 Громека С. С. 96  
 Гроссман Л. П. 72, 92  
 Данте Алигьери 35, 38  
 Демченко А. А. 32, 163  
 Державин Г. Р. 56  
 Дидро Дени 35  
 Диккенс Чарльз 40, 41  
 Джонсон 48  
 Добролюбов Н. А. 5, 7—10, 16,  
 18—32, 39, 74, 79—81, 90,  
 104, 121—123, 127, 141, 143,  
 150  
 Долгомостьев И. Г. 93  
 Долгоруков В. А. 193  
 Дорватовская-Любимова 72, 75, 77  
 Достоевский М. М. 76, 90  
 Достоевский М. Ф. 72—89, 92—  
 100, 103, 157  
 Дудышкин С. С. 42, 43, 71, 70,  
 176  
 Духовников Ф. В. 163, 166, 167  
 Дюдewan К. 46  
 Дюканж 200  
 Дрыжакова Е. Н. 18  
 Дружинин А. В. 32, 34—36, 40, 41,  
 47—49, 58, 59, 70, 71  
 Евгеньев-Максимов В. Е. 51, 52  
 Егоров Б. Ф. 35, 38  
 Елисеев Г. З. 77, 90  
 Елисеева Е. П. 121  
 Ермаков Н. Д. 165, 166, 169  
 Ефремов П. Я. 165, 166  
 Жук А. А. 72  
 Засодимский П. В. 141, 156  
 Зельдович М. Г. 7, 57, 59  
 Зернов С. А. 171  
 Зиновьева М. Д. 151, 155  
 Златовратский Н. Н. 150, 153—155  
 Иванов Г. В. 7  
 Имменицкий М. Г. 169, 170  
 Итенберг Б. С. 129, 142  
 Кайсаров Ю. М. 164  
 Каплинский В. Я. 36—39, 40  
 Капнист В. 27  
 Каракозов Д. В. 180  
 Карамзин Н. М. 56  
 Карл I 198  
 Карлейль Т. 34—36, 48  
 Каронин С. (Петропавловский  
 Н. Е.) 150—153  
 Катков М. Н. 86, 93—95, 97  
 Карякина А. В. 129, 157  
 Кинглек Александр Уильям 180  
 Кирпотин В. Я. 72, 74, 84, 93, 94,  
 96  
 Клаус А. 170, 171  
 Козьмин Б. П. 6, 98, 129, 143, 187  
 Козловский Ф. 170  
 Колесников С. А. 165, 166  
 Комарович В. 72  
 Короленко В. Г. 141  
 Костомаров А. 189  
 Костомаров В. 187, 190, 191, 192,  
 194—196, 199, 200  
 Крабб Джордж 35, 36, 39, 40  
 Краевский А. А. 86, 96, 97  
 Краснов Г. В. 20  
 Кронберг 199, 200  
 Кружная Н. К. 118  
 Кудрявцев П. Н. 38  
 Кулиш П. 38, 42—45  
 Курочкин В. С. 79, 89  
 Лаврецкий А. 37, 42, 57  
 Лавров П. Л. 129—135, 144—  
 146, 148  
 Лакомте М. А. 164, 166, 167, 170.  
 Ламартин А. 45  
 Ланге Ф. А. 39  
 Лебедев А. А. 119, 120, 130, 137,  
 140, 163  
 Левин М. М. 129  
 Лейкин Н. А. 89, 91  
 Лемке М. К. 6, 59, 72, 187, 192,  
 196, 198  
 Ленин В. И. 10, 133, 142, 145, 179.  
 Леонтьев П. 49  
 Лермонтов М. Ю. 61, 69, 111, 112  
 124  
 Лессинг Готхольд Эфраим 32, 34,  
 38, 39, 40, 50, 60, 68  
 Ломоносов М. В. 56  
 Ломтев Е. И. 165, 167, 168.  
 Лубкин В. А. 166, 168  
 Луначарский А. В. 101, 117, 130,  
 132, 133, 140  
 Людовик XVI 198  
 Ляцкий Е. А. 51, 163, 174  
 Льюиз 49  
 Маколей Томас 48, 49  
 Малаховский А. Д. 165, 169  
 Масанов И. Ф. 90  
 Матушевский 180  
 Мейер А. А. 164, 166—168, 171—  
 174  
 Милуков А. П. 76  
 Минаев Д. Д. 76  
 Михайлов М. Л. 121, 164, 165,  
 168, 188, 190—193, 199

- Михайловский П. К. 129, 131, 134,  
 135, 141, 144, 145—150.  
 Милль Д. С. 179  
 Мордовцев Д. Л. 133, 134, 135,  
 141  
 Морозов Б. 118, 126,  
 Мотольская Д. К. 33  
 Муравский 157  
 Муравьев Н. В. 192  
 Наумов П. (Н) 153  
 Наполеон Луи 203  
 Некрасов Н. А. 32, 33, 51—59, 72,  
 77, 78, 86, 88, 116, 138, 142,  
 152, 155, 176—178  
 Немолтышев Н. 165, 167  
 Нечкина М. В. 6, 187, 189, 192  
 Никитин Ю. М. 211  
 Николай I 191, 201  
 Николаев 196  
 Никольский А. М. 211  
 Новикова Н. Н. 118, 119  
 Норов А. С. 59  
 Обручев В. 118—123  
 Обручев Н. Н. 192, 193  
 Огарев Н. П. 116, 194  
 Озерова А. А. 118  
 Омуревский И. В. 135, 136, 141,  
 154, 155, 157  
 Павличенко В. Д. 33  
 Павлов Н. Ф. 86, 93, 95, 97  
 Павловский Г. Т. 163  
 Панкратова А. М. 6  
 Перкаль М. К. 18  
 Пирожков М. В. 59  
 Писемский А. Ф. 76, 151  
 Плеханов Г. В. 36, 60, 101, 106,  
 155.  
 Плещеев А. Н. 191, 196  
 Познанский Н. Ф. 163  
 Покровский М. Н. 6  
 Покусаев Е. И. 7, 33, 57, 37, 42,  
 102  
 Полиновский А. М. 169, 170  
 Потапов А. Л. 183, 184  
 Прокшин В. Г. 101  
 Протопопов М. А. 144  
 Пруцков Н. И. 130, 136, 143, 144.  
 Пулинец А. 118, 121  
 Пушкин А. С. 32, 33, 36, 37, 42,  
 47, 48, 56, 57, 179  
 Пыпин А. Н. 78, 138, 180, 168  
 Пыпин М. Н. 210, 211  
 Пыпина В. А. 205, 211  
 Панаев И. 66, 67  
 Пыпина Е. Н. 78  
 Растопчина 20  
 Размустов Б. А. 130  
 Рахманинов Ф. И. 184  
 Рейсер С. А. 6, 118  
 Рыжов А. И. 38, 43  
 Рылеев К. Ф. 56  
 Рюриков Б. 102  
 Санд Жорж 32, 45, 46, 102.  
 Салтовский В. Ф. 165  
 Салтыков-Щедрин М. Е. 5, 8—12,  
 14—18, 21—26, 28—30, 61, 69,  
 72, 73, 78, 82—89, 91—94,  
 96—101, 116, 119, 141, 142,  
 150—152, 155, 156  
 Самочатова О. Я. 64  
 Селивестров М. Л. 42  
 Сенкевич В. М. 147  
 Семенов В. Г. 171  
 Сераковский С. 192  
 Сеченов И. М. 104, 105, 118  
 Синайский И. Ф. 165, 169  
 Скабичевский А. М. 144, 152, 158  
 Скарягин 93, 97, 98  
 Скафтымов А. П. 34, 46, 102, 118  
 Скотт Вальтер 40  
 Славницкий И. 170, 171  
 Славутинский С. (Т.) 150  
 Слепцов В. А. 135, 136, 168,  
 Слепцов А. А. 192, 193  
 Смирнов В. Б. 142, 156  
 Смирнов П. Н. 164, 169  
 Смирнова 155  
 Соколов Н. И. 147  
 Соколова М. А. 33  
 Соколовский Н. 92  
 Соллогуб В. 20  
 Сорокин И. 170, 171  
 Сороко 196  
 Спиридонов В. 72  
 Стахевич С. Г. 193, 196  
 Стеклов Ю. М. 6, 118, 178, 187,  
 190, 195  
 Степанов Н. А. 6, 56, 91  
 Степняк-Кравчинский С. М. 136,  
 137, 154, 155  
 Страхов Н. Н. 35, 73, 76, 78, 90,  
 93, 94, 98  
 Суворов А. А. 193, 194  
 Сумароков А. П. 27, 37  
 Сулин 198, 199  
 Талейран 199  
 Тамарченко 137  
 Теккерей 40, 42, 47  
 Теплинский М. В. 179  
 Ткачев П. Н. 83, 144, 147, 152  
 Толстой Л. Н. 10, 20, 101, 119  
 Томашевский Б. В. 37  
 Троицкий Ю. Н. 42  
 Трепов 185  
 Трубецкой Б. А. 147  
 Тур Е. 46  
 Турбин В. Н. 102  
 Тургенев И. С. 9, 55, 61, 63—67,  
 70, 71, 88, 119, 152  
 Тюрин Н. 196, 197

Усакина Т. И. 61, 102, 103  
Усов П. 182, 183, 184  
Успенский Г. И. 143, 144, 150,  
152—154, 156, 157, 158, 159.  
Успенский Н. В. 134  
Ушинский К. Д. 47  
Федин А. Е. 6, 205, 206, 209, 210  
Федин К. А. 205, 208, 210, 211  
Федотов П. А. 40, 47  
Фонвизин Д. И. 32, 37  
Фохт К. 143  
Цепелев Н. 175  
Цез В. А. 182, 184  
Чаадаев П. Я. 202  
Чернов С. Н. 163  
Чернышевская Н. М. 163, 173,  
205, 206—208  
Чешихин-Ветринский В. Е. 6  
Чернышевская О. С. 172  
Шабловский А. Я. 165, 169  
Шаганов 196  
Шатобриан Ф. 45  
Шекспир Вильям 35, 38, 56, 68  
Шелунов Н. В. 133, 138, 144, 147,  
150, 151, 152, 188—193, 200  
Шеллер-Михайлов А. К. 157

Шерр 49  
Шефер 49  
Шиллер Фридрих 49, 68  
Шишкин А. Ф. 130  
Шпаковская Е. 155  
Шопен Фридерик 46  
Штейн 39  
Штерн И. 170  
Штраух С. 118  
Шапов А. П. 192  
Щеглов П. Е. 207, 210  
Эдельсон Е. 13, 14, 15  
Эльсберг Я. С. 72, 99  
Энгельгардт Г. 150  
Эргин В. 170, 171  
Эртель А. И. 153  
Юрковский Ф. 155  
Юркевич 85  
Яковенко В. И. 35  
Яковлев Н. Я. 211  
Яковлев 196  
Яксанов В. З. 211  
Ямпольский И. Г. 76

---

## I. ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ

М. Г. Зельдович. Статьи Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова о Шедрине и вопросы теории критики	7
А. А. Демченко. Проблемы научной биографии писателя в трудах Н. Г. Чернышевского	32
А. М. Гаржави. Чернышевский и стихотворение Некрасова «Поэт и гражданин»	51
Г. Н. Антонова. Чернышевский о художественно-философской прозе в русской литературе сороковых-пятидесятых годов XIX века	60
А. А. Жук. Из истории журнальной полемики 1860-х годов	72
В. Г. Прокшин. О своеобразии психологического анализа в романах Н. Г. Чернышевского	101
Н. А. Вердеревская. О «прототипической версии» в изучении художественных произведений Чернышевского	117
А. В. Карякина. Этические проблемы в демократической литературе второй половины 1860-х — начала 1870-х годов и в романе Чернышевского «Пролог»	129
В. Б. Смирнов. Н. Г. Чернышевский и литературное народничество	142

## II. ПУБЛИКАЦИИ И МАТЕРИАЛЫ

А. А. Демченко. Новые материалы о Н. Г. Чернышевском — учителе Саратовской гимназии	163
М. М. Гин. Современники об идейной близости Некрасова и Чернышевского	176
М. В. Теплинский. Н. Г. Чернышевский и цензура. (По новым материалам)	179
Н. А. Алексеев. Был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам»? (Материалы к постановке вопроса)	187
Н. М. Чернышевская. Федин о Чернышевском (Из переписки 1926—1939)	205
Указатель имен	212

## Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

## Статьи, исследования и материалы

5

Редактор М. П. Ларина

Технический редактор В. В. Зенин.

Корректоры А. Д. Черноцкая, Л. В. Аброськина

НГ95242	Сдано в набор 4.I.68 г.	Подписано к печати 22.IV.68 г.
	Формат 60×90 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	Печ. л. 13,5.
	Тираж 1000 экз.	Уч.-изд. л. 14.
		Заказ 1741.
		Цена 1 руб.

Издательство Саратовского университета, Университетская, 42.  
 Типография издательства «Коммунист», пр. Ленина, 94.



### Замеченные опечатки

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
199	3 сверху	Шутиловым	Путиловым
215	II сверху первый столбик	Фохт К.	Фохт У.
215	13 сверху второй столбик	Эльсберг Я. С.	Эльсберг Я. Е.

Заказ 1741

